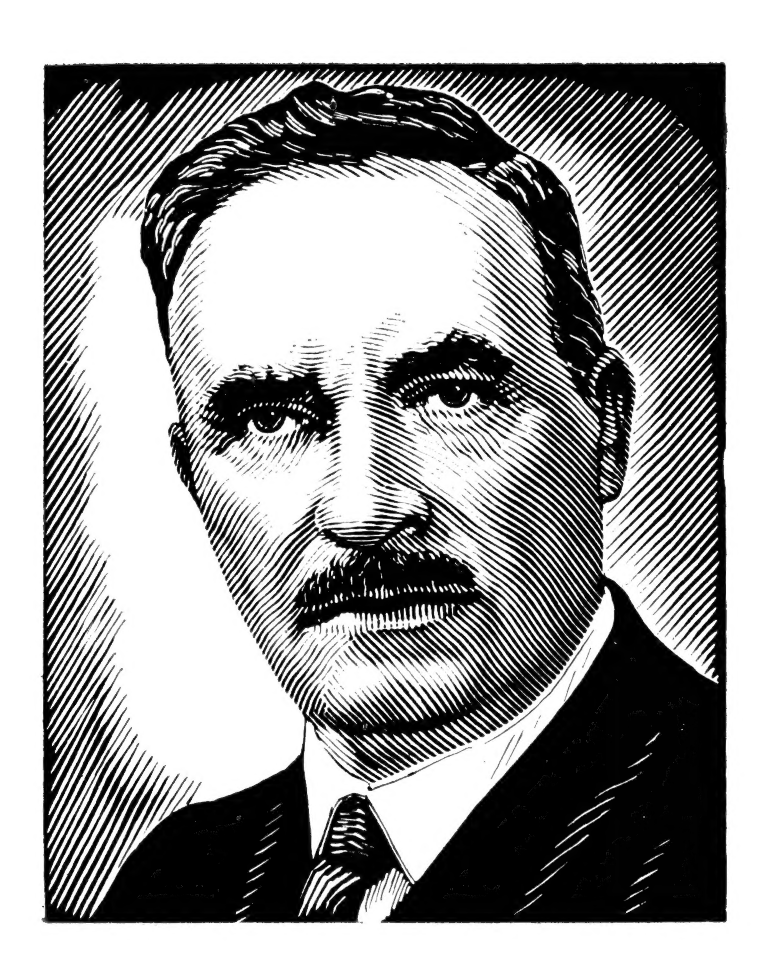
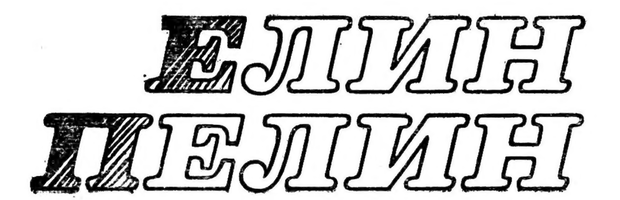
ЕЛИН ПЕЛИН

Избранное





Избранное

ПЕРЕВОД
С БОЛГАРСКОГО

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1986

И(Болг)
Е51

Предисловие
Д. Маркова

Оформление художника
А. Ременника

Иллюстрации художника
О. Пархаева

Е $\frac{4703000000\text{-}204}{028\,(01)\text{-}86}$ 115-86

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПИСАТЕЛЬ-РЕАЛИСТ

Елин Пелин — один из самых популярных в Болгарии писателей. Он вошел в историю болгарской литературы как замечательный мастер рассказа. Его творчество широко известно в нашей стране. Художник большого национального значения, Елин Пелин занимает видное место в мировой реалистической литературе XX века.

Елин Пелин (Димитр Иванов) родился 18/30 июля 1878 года в селе Байлове, недалеко от Софии, в крестьянской семье. Его отцу, по свидетельству писателя, «единственному грамотному из своего поколения в селе», были близки передовые идеи славной эпохи болгарского возрождения. Он прилагал все усилия, чтобы дать образование своим детям, воспитать их честными и трудолюбивыми.

Будущий писатель рано пристрастился к чтению. У отца была своя библиотека, постоянно пополнявшаяся. Три старших брата Елина Пелина работали народными учителями. Один из них, Велко, сорок лет учивший крестьянских ребятишек, проявлял живой интерес к литературе, к фольклору. В тогдашних изданиях публиковались записанные им народные песни. «У нас в доме,— рассказывает Елин Пелин,— я рос среди образованных людей, какие в то время были большой редкостью. Моих братьев отличала любознательность, страсть к учению. В нашем доме получали различные журналы и книги». Эта атмосфера, несомненно, способствовала духовному развитию ребенка и юноши.

Начальное образование Елин Пелин получил в родном Байлове. Затем, при материальной поддержке братьев, он учился в Софии и других городах, но окончить гимназию ему так и не удалось. Некоторое время учительствовал в Байлове (1896—1897), жил там и следующие два года, когда, ввиду отсутствия диплома об окончании гимназии, его лишили права преподавания.

Елин Пелин с детства рос в среде сельских тружеников. В Байлове он объединял вокруг себя молодежь, любил беседовать с крестьянами, изучал их жизнь. Все это откладывалось в сознании писателя, чтобы отлиться впоследствии в живые, волнующие художественные образы. Идейно-творческий облик его формировался в обстановке тех общественных изменений, которые наступили в Болгарии в конце XIX — начале XX века. Известно, что в результате русско-турецкой войны 1877—1878 годов Болгария была освобождена от пятивекового османского ига. Объективно эта война

сыграла роль буржуазно-демократической революции. В стране началось быстрое развитие капитализма. Шел интенсивный процесс глубокой социальной дифференциации болгарской деревни. Молодой Елин Пелин видел, как ничтожная кучка кулаков сосредоточивала в своих руках все богатства, а многочисленная масса мелких собственников разорялась. Писатель был непосредственным свидетелем страшной нищеты крестьянства, и он занял сторону народных масс против сельских мироедов. Близость к крестьянству, личные наблюдения Елина Пелина послужили основой его демократических взглядов.

Известное влияние оказало на Елина Пелина распространявшееся тогда социалистическое учение. Исследователи творчества писателя рассказывают, что еще в гимназии он был участником литературного кружка, члены которого увлекались социалистическими идеями. Елин Пелин был лично связан со многими деятелями рабочего и прогрессивного учительского движения, с интересом читал социалистическую литературу, печатался в социалистических изданиях.

Влияние идей социализма самым благотворным образом отразилось на взглядах и творчестве Елина Пелина. В 1902—1903 годах он издает журнал «Селска разговорка», в котором выступает как прямой и смелый защитник интересов трудящихся. В статье «Кому мать, кому мачеха», опубликованной в этом журнале, он гневно осуждает буржуазное государство. «И теперь, когда произносят слово «государство»,— пишет Елин Пелин,— следует подразумевать царство богатых, которые во имя законов, ими же созданных, вырывают кусок хлеба из рук подавляющего большинства — простого, невежественного, бедного и трудолюбивого народа». И хотя позже, после 1905 года, Елин Пелин отходит от социалистических идей, воздействие их продолжало сказываться в его творчестве и в последующие годы. Это проявлялось в трезвом взгляде писателя на социальное устройство общества, в ясно выраженном демократическом пафосе его произведений, в его гуманизме.

С общественно-политической позицией Елина Пелина связаны и его эстетические воззрения, которые складывались под влиянием ряда факторов. Он превосходно знал болгарское народное творчество, восхищался художественным гением народа. С волнением вспоминая о первых прочитанных им книгах, открывавших ему чудесный мир искусства, писатель называл среди других книг сборник народных песен, в подражание которым он начал писать стихи. В своих очерках и рассказах он не раз говорил о богатстве народных сказок, об их поразительной силе, которая быстро и целиком захватывает читателя. Сказки многому научили Елина Пелина — простоте, ясности, мастерству сюжета.

Елин Пелин наследовал лучшие традиции отечественной литературы. «...Вазов, Ботев и Каравелов были первыми моими учителями»,— рассказывал художник. Ему были близки писатели-народники Т. Влайков и М. Георгиев, во многом правдиво изобразившие жизнь села — бедственное положение крестьянства. Но Елин Пелин видел вместе с тем и ограниченность народников. Положительный герой их произведений не удовлетворял Елина Пелина, потому что это был пассивный мечтатель, призывавший к возрождению патриархальной старины, а Елин Пелин чувствовал необходимость активного сопротивления социальному злу.

Огромную роль в творческом развитии болгарского писателя сыграла и передовая русская литература. Елин Пелин не раз с благоговением говорил о реалистической русской литературе, имевшей для него значение высокого образца. Особенно близки ему были Чехов и Горький. Чехов пленял его как изумительный мастер короткого рассказа, и Елин Пелин, по его собственным признаниям, вдумчиво изучал его опыт.

Глубоким и многосторонним было влияние Горького на Елина Пелина. Еще в 1898 году, как только вышли из печати два тома горьковских рассказов, Елин Пелин выписал их и с увлечением читал и перечитывал. Впоследствии он вспоминал: «Что-то новое, что-то особенное, что-то незнакомое до тех пор, открывавшееся мне с каждой страницей, увлекало меня и опьяняло. Оригинальные сюжеты, идейность, любовь к человеку, к отверженным, художественная сила его описаний и характеристик поражали меня новизной и смелостью. Гений его дышал какой-то первозданной силой, волновавшей и удивлявшей меня. Я чувствовал, что прошел некую великую школу и обогатился множеством знаний» [1].

Горьковский гуманизм, для которого характерно не только сочувствие трудовому человеку, но и стремление пробудить в нем социальное сознание, поднять для протеста и борьбы против рабства, сыграл очень важную роль в развитии эстетических взглядов и реалистического метода Елина Пелина.

Елин Пелин начал печататься в 90-х годах прошлого столетия. В период до первой мировой войны он создал лучшие свои произведения. Написанные им в это время рассказы, повесть «Гераковы» дали ему возможность быстро занять почетное место в ряду самых крупных представителей болгарской художественной прозы.

Следует отметить, что, в то время как демократическая общественность приветствовала выход каждого нового произведения Елина Пелина, быстро завоевавшего широкую популярность, буржуазно-эстетская критика, недовольная демократической направленностью творчества писателя, относилась к нему отрицательно,

[1] Из письма Елина Пелина С. Каракостову (Каракостов С. Максим Горки и българската литература. София, 1947, с. 38).

старалась помешать публикации его рассказов, грубо нападала на него в статьях и рецензиях.

Впоследствии, изменив тактику, эта критика долгие годы занималась фальсификацией творчества Елина Пелина. Она стремилась представить его эпикурейцем, певцом беззаботного веселья, сельской идиллии, писателем, в произведениях которого социальная проблематика якобы является случайным элементом.

Между тем сила Елина Пелина в его народности и гуманизме. Жизнь трудового крестьянства, трагедия его нищеты и разорения широко отражались в болгарской демократической литературе на рубеже веков — в произведениях передовых писателей эпохи И. Вазова, А. Страшимирова, П. Яворова и других. Елин Пелин явился одним из самых ярких выразителей этого направления в литературе того периода.

Его темы разнообразны: отношение крестьянина к земле; крестьянский труд, быт; жизнь в семье; любовь. В основе многих его произведений — общественные конфликты. Крестьянину-труженику противостоят кулак, ростовщик, сборщик податей, поп, представитель государственного буржуазного аппарата. Это чужой писателю мир — жестокий, пошлый, духовно и нравственно убогий.

Кулаки-чорбаджии и их сынки выступают в рассказах Елина Пелина носителями черт бесчеловечной морали: они эгоистичны, лицемерны, одержимы хищнической страстью к наживе. Таков чорбаджия в рассказе «Преступление». Он держит крестьян в страхе, в тисках кабалы, нещадно их эксплуатирует. Таков его сын Нено, надругавшийся над бедной крестьянской девушкой Ивкой. Грубая животная страсть, необузданное своеволие движут поступками хозяйского сынка в рассказе «Несжатая полоса»; лихорадочное стремление к наживе, убивающее в человеке душу, характерно для кулака-учителя Добряна Горева («Селза Младенова»).

Иногда в своем творчестве Елин Пелин поднимается до раскрытия антинародной сущности буржуазного государства, стоявшего на страже интересов эксплуататорских классов. Разоренный кулаком бедный крестьянин вынужден сносить любые издевательства, нигде не находя управы: «Нет на таких суда, сынок. Подавай в суд, что хочешь делай — все он прав окажется» («Преступление»). В рассказе «Андрешко» создан яркий образ судебного исполнителя. «Толстый господин в огромной волчьей шубе» — представитель власти; он ограничен и жесток, он люто ненавидит крестьян, и эти его черты имеют широкое обобщающее значение.

Елин Пелин часто писал о религии, раскрывая несуразность, противоестественность и лживость ее догм. Многие из его рассказов на эту тему проникнуты юмором, основу которого составляют не внешние эффекты, не чисто бытовые детали сами по себе, а ситуации морально-общественного плана. Таков веселый рассказ

о монахе Игнатии, который, подвыпив, оказался во власти плотских вожделений («Весенний соблазн»). В юмористическом ключе написан рассказ «На том свете». Попавший в рай дед Матейко меряет все своими земными представлениями: рай для него благодать потому, что там не оказалось сборщиков податей.

В некоторых рассказах Елина Пелина юмор перерастает в сатиру, обнажающую подлинный облик духовенства, скрытый под маской благочестивости. Так, в самом названии рассказа «Братья» заключена ирония. Монахи Онуфрий и Игнатий читают псалтырь над умирающим братом Кириллом, нетерпеливо ожидая конца. А пока они «время от времени наливают себе по стаканчику водки из стоящей перед ними большой черной бутыли», азартно играют в карты. Сами эти развлечения монахов в такие минуты выглядят кощунственно. Однако автор не останавливается на этом описании. Обличение стремительно нарастает, достигая особой силы в концовке рассказа. Когда больной перестал дышать, «братья, бросив карты, встали, как по команде, и принялись шарить под подушкой, под тюфяком, на котором лежал мертвец». Разделив «добычу», они вновь вернулись к картежной игре.

В других рассказах ясно выражены общественные противоречия, противоположность интересов духовенства и народа. Конфликт в рассказе «Напасть божья» — это не просто бытовой конфликт. Описывая зараженный колодец попа — источник болезней и смерти,— автор раскрывает социальную сущность религии. Поп разжигает суеверия, сеет невежество, потому что этим облегчает себе путь к ограблению народа. Горе тружеников — его прибыль. Он «освящает» колодец, а когда случилась засуха, «ожиревший поп» не преминул воспользоваться и этим несчастием села. Отдавая последнее, люди совершали молебствия, но не было «ни помощи, ни надежды... Несчастные бедняки потеряли голову. Поп, довольный доходами с отпеваний да водосвятий и победой над учителем, спокойно сидел в корчме за рюмкой водки, ворча:

— Эх, люди, мало вам еще досталось...»

Сумрачная фигура попа в рассказе — это социальный тип реакционера, под оболочкой «божественных» слов которого скрывается волчья алчность паразита.

Совсем по-иному относится Елин Пелин к угнетенным. Он смотрит на жизнь и изображает ее с позиций честного трудового крестьянства, отдает все свои симпатии народу.

Елин Пелин воспроизводит картины страшной нищеты сельских тружеников. Рассказ «Летний день» открывается описанием деревни Горно Ровинище,— ее убогий и печальный вид «навевает тоску и гонит вон из села». «Село Горькое» — так называется один из рассказов писателя, и это название имеет широкое значение социального символа.

Писатель воспевает труд, с которым связывает достоинство человека. Многие страницы его рассказов посвящены изображению работы в поле. С глубоким знанием рисует Елин Пелин быт и психологию крестьян — их горестные переживания во время засухи, их привязанность к земле, к рабочему скоту. Необычайно трогательно разговаривает с выбившейся из сил Сивушкой крестьянин Боне («На борозде»); рассказ «Старый вол» — это настоящая поэма о четвероногом помощнике крестьян, который «долгие годы безропотно, в великом безмолвии своей воловьей души, тянул соху».

Крестьяне-бедняки, сельские батраки — центральные образы произведений Елина Пелина. Несмотря на тяжкие условия жизни, они сохранили замечательные человеческие черты. Это люди высоких моральных качеств, светлых помыслов, духовной одаренности. У Дыбака — золотые руки мастера («Ветряная мельница»); у Скворца и Пелинко — чарующий талант музыкантов («Скворец», «Летний день»); честны и добры в отношениях друг к другу Стоян и Пена, в их поступках — благородство и красота человеческих чувств («Бедняцкое счастье»).

Реализм Елина Пелина в изображении села намного глубже реализма писателей-народников Т. Влайкова, М. Георгиева. Правдиво показав процесс разорения огромной массы крестьянства в условиях капитализма, Елин Пелин первым в болгарской литературе создал образ сельского пролетария. Многие его герои работают по найму у кулаков или скитаются как поденщики в поисках заработка. Всем им присуще сознание социального неравенства, в нем они видят источник бед и несчастий. Интимно-личный конфликт в рассказах переплетается с социальным. Молодой батрак Свилен, отказавшийся от женитьбы на любимой девушке Милене, объясняет ей: «Бедность виновата! Я ведь говорил тебе... У чужих людей живу... Все в батраках, батраках, совсем закабалили. И ты бы со мной горе мыкала... Как же мне было молодость твою калечить, жизнь тебе отравлять» («У мельницы»).

Положительному герою Елина Пелина чужда пассивность. Гордый и непокорный, исполненный чувства собственного достоинства, он протестует и борется. Его протест выливается в индивидуальный бунт, в личную месть. Но в его действиях — дух непримиримой классовой ненависти. Дойно убивает богача, не дававшего проходу его жене («Несжатая полоса»); Липо мстит кулаку Нено за поруганную честь сестры.

«— Слезай,— повторил Липо, весь дрожа.

Нено покорно соскочил с коня. Решив, что на него напал грабитель, он достал длинный кожаный кошелек и бросил его на землю. Кошелек тяжело брякнул, и шнурок от него ужом протянулся по дороге. Липо, нагнувшись, схватил его за конец, потом взмах-

нул и с силой ударил ошеломленного Нено по лицу. Тот упал. Тогда Липо стал колотить его палкой по голове быстрыми сильными ударами, словно торопясь убить змею» («Преступление»).

Что породило ярость Липо? Только ли жажда мести за оскорбленную честь? Из содержания рассказа ясно, что последний поступок кулацкого сынка, переполнивший чашу терпения бедняков, это лишь одно из звеньев длинной цепи его преступлений. Липо видит в Нено своего заклятого врага, который разорил их семью, который привык грабить, своевольничать, опираясь на власть денег. Личные отношения и конфликты, таким образом, накрепко сплетены с отношениями социальными.

В образе Андрешко из одноименного рассказа Елин Пелин ярко показал чувство классового сознания крестьянства. Узнав, что пассажир, которого он везет в деревню,— судебный исполнитель, намеревавшийся конфисковать хлеб у бедного крестьянина, Андрешко завозит исполнителя в болото и оставляет его там на всю ночь, а сам спешит предупредить односельчан об опасности. Поступок Андрешко — это и акт солидарности с тружениками села, и выражение протеста против грабительской налоговой политики буржуазного государства.

В болгарской литературе начала XX века Елин Пелин был одним из самых крупных представителей критического реализма. Ему присущи и значительность тематики, и глубина социальных конфликтов, и общая демократическая направленность их освещения, и высокое художественное мастерство.

Рассказы Елина Пелина просты и увлекательны, как народные сказки. Они не обременены излишними описаниями — все в них строго подчинено изображаемому событию, развитию конфликтов и выявлению характеров; сюжет отличается необычайной стройностью и цельностью, перед читателем как бы проходит живой поток событий, сама жизнь.

Елин Пелин — тонкий наблюдатель природы. Он умел почувствовать и передать ее живой трепет, сливая ее описания с переживаниями героев. Вспомним, например, картину чудной летней ночи, спустившейся на просторы фракийской равнины, и мечтательные глаза косцов, слушающих у горящего костра сказки старого Благолажа («Косцы»); с красотой юной Первоцветки гармонирует весенняя, залитая солнцем цветущая поляна («Первоцветка»). Природа усиливает светлое или гнетущее чувство, она всегда служит действенным компонентом изображения. Включая ее в общий эмоциональный строй рассказов, писатель достигает высокого лиризма повествования.

Одним из наиболее значительных произведений писателя является его повесть «Гераковы», отдельные главы которой появились в печати в 1904 году. Полностью же она была опубликована

в 1911 году. В ней дана широкая картина быта и нравов болгарского села, показан распад патриархальных устоев в условиях первоначального накопления капитала.

Старый Йордан Герак, глава большой крестьянской семьи, еще стремится сохранить дружную семью, добрые отношения и взаимную любовь в доме. Сам он — человек трудолюбивый, жизнерадостный, сердечный. Но незаметно для самого себя, как бы исподволь, Йордан Герак оказывается втянутым в водоворот накопительства. Он держит корчму, копит и прячет деньги, эксплуатирует труд наемных рабочих. Страсть к наживе, словно страшная болезнь, заражает души его сыновей, и патриархальная святость семейных отношений рушится. «В дом вползли, словно змеи, неизвестно откуда взявшиеся вспышки гнева, недоразумения, ссоры, отравившие милый домашний уют, столько лет ласково согревавшийся отрадным теплом семейного очага».

Повесть представляет собой обвинительный акт — капитализму, буржуазной морали, опустошающей человека, убивающей все живое и светлое в его душе. Перед нами ярко очерченные социальные типы, поступками которых всевластно движет собственническая страсть.

Старший сын Йордана Герака Божан наиболее полно воплощает в себе отвратительные черты психологии кулачества. В целях наживы Божан не останавливается ни перед чем — притворяясь сердечным и добрым, он обманывает и обкрадывает отца, скупает земли у разоряющихся крестьян, с ненасытной жадностью копит богатство. Он ненавидит людей, считает и самых близких родных своими врагами.

Другой сын старого Герака — Павел, находясь на сверхсрочной службе в городе, вымогает деньги у отца, развратничает. Средний сын Петр, у которого нет такой хватки, как у братьев, спивается, теряет человеческий облик.

Атмосфера, где властвуют божаны, отравляет все честное и красивое. В семье Гераковых гибнет нежная и любящая Элка, жена Павла. Писатель с величайшим сочувствием описывает ее жизненную драму.

В повести есть удивительно меткая характеристика мира хищников,— старый Герак сравнивает их души с лавками, торгующими добром и злом. В беспощадном осуждении этого мира и состоит основной пафос произведения.

В годы первой мировой войны Елин Пелин был военным корреспондентом. Писал он в это время мало, ибо многое из того, что происходило вокруг, не только не вдохновляло, но скорее тяготило его. Порой бывали у него серьезные заблуждения, когда он, как и некоторые другие писатели, поддался влиянию ложнопатриотической, шовинистической пропаганды. Это нашло отражение в его

сборнике рассказов «Венок герою» (1917). Характеризуя эти годы, Елин Пелин заявил в одной из своих статей в 1921 году, что писатели вынуждены были тогда писать «со связанными руками и запечатанным мозгом».

В 1922 году Елин Пелин создает повесть «Земля», идейно и тематически близкую повести «Гераковы».

Центральный образ «Земли» — образ Энё Кунчина. Это крупный кулак в новой исторической обстановке. В его характере проявляются типичные черты собственника — алчность, жестокость, бесчеловечность. Он говорит о себе: «У меня нет друзей, нет братьев, нет близких; все мне враги, все село меня ненавидит, но я не боюсь! Всех поставлю на место». Из жадности к богатству он отказывается от любимой им бедной девушки Цветы и женится на горбунье Станке; из-за земли покушается на жизнь родного брата.

Образ Энё Кунчина раскрывается по контрасту с другими образами. Следует заметить, что в этой повести Елин Пелин не делает упора на социальные противоречия и борьбу. Отношения героев часто имеют этическую подоплеку. Брат Энё Иван — добрый, уступчивый, трудолюбивый человек, и именно в плане моральном его образ выполняет важную обличительную функцию как антипод образу Энё. Чертами народной добродетели наделена Цвета — девушка из бедной крестьянской семьи. Ее образ — воплощение красоты, честности и сердечного уважения к людям. Возникающее по ходу повествования контрастное сопоставление Энё и Цветы, данное крупным планом, обнажает отвратительный облик Энё, его душу, обезображенную страстью к наживе.

Тяга к морально-абстрактному у Елина Пелина связана с общим ослаблением социальной остроты в его творчестве во время первой мировой войны и после нее. Писатель был далек от непосредственного участия в революционных событиях эпохи. Он не понял исторического смысла Октябрьской революции и Сентябрьского восстания 1923 года в Болгарии. Ему трудно было ориентироваться в сложных условиях новой обстановки. Однако он сохранял позиции демократа.

Длительный период после установления фашистской диктатуры в Болгарии в 1923 году Елин Пелин не берется за художественную разработку больших социальных тем. Но гуманистическая линия его творчества, пусть иногда в отвлеченно-символических формах, не прерывалась и тогда. В сборнике стихотворений в прозе «Черные розы» (1928) звучат мотивы грусти и вместе с тем — мечты о возвышенном, прекрасном, о свободе и счастье.

Основное место в творчестве Елина Пелина 30-х годов занимают его сборники «Под монастырскими лозами» (1934) и «Я, ты, он» (1938). В сборнике легенд «Под монастырскими лозами» повествование ведется от имени монаха отца Сысоя, и это служит

Елину Пелину приемом раскрытия несостоятельности религиозной морали как бы изнутри.

В поэтических легендах, воспевающих радость любви, красоту жизни, показана пропасть между религиозной моралью и естественной жизнью человека. Отрицание догм религии, ее проповеди аскетизма заключено в изображении реального поведения самих «святых отцов», которым вовсе не чужды «грешные земные дела».

В тяжелых условиях фашистской реакции Елин Пелин оставался демократически настроенным художником. Сборник фельетонов «Я, ты, он» передает и гражданскую скорбь писателя в связи с нищенскими условиями жизни народных масс, и его отрицательное отношение к буржуазным партиям. В фельетонах зло высмеяны карьеристы и демагоги, политические спекулянты и тупицы, обладающие властью. Хотя сборник в целом и не достигает той глубины реализма, какая была присуща более ранним произведениям Елина Пелина, он представляет собою серьезный вклад в прогрессивную литературу эпохи.

Писатель-демократ, Елин Пелин во всем своем творчестве осуждал капиталистический строй, всегда желал народу лучшей участи. Поэтому он с открытой душой принял народно-демократическую революцию 9 сентября 1944 года и внимательно следил за ходом социалистических преобразований в стране. Естественно, особенно интересовала его жизнь болгарского крестьянина в новых общественных условиях.

Писатель собирал материал о трудовых земледельческих кооперативах, вынашивал идею написания повести или романа. Большой знаток детской психологии, автор интересных произведений для детей в прошлом, он и после 1944 года продолжал работать в этой области. Им была задумана книга «Знаю и могу», для которой написано лишь несколько рассказов.

Елин Пелин встретил новое на закате своей жизни. У него было много планов, но исполнить их ему не довелось. 3 декабря 1949 года писатель скончался.

Наследие Елина Пелина принадлежит народу.

Георгий Димитров, приветствуя писателя по случаю его семидесятилетия, говорил о самой искренней признательности болгарских трудящихся Елину Пелину за его «прогрессивное, полезное народу художественное творчество» [1]. Выдающийся писатель-реалист, классик болгарской литературы, Елин Пелин известен сегодня далеко за пределами своей страны. Советский читатель высоко ценит талант художника-гуманиста, его вклад в демократическую литературу мира.

Д. Марков

[1] Димитров Г. Съчинения, т. 14. София, 1955, с. 190.

ГЕРАКОВЫ

ПОВЕСТЬ

I

Богаче всех на селе был дед Йордан Герак. Деятельный и трудолюбивый, он работал всю жизнь и добился того, что удвоил, а то и утроил оставшееся от отца наследство. Наделенный практическим умом и коммерческими способностями, он сумел и капитал приобрести, и первым на селе человеком стать. Сердце у него было мягкое, доброе. При всей своей скуповатости он не прижимал народ, а даже помогал ему, интересовался общественными делами. За это все его любили и почитали.

Большой белый дом, где жило все его многочисленное семейство, стоял посреди села на самом видном месте. Заметный издали, он всем своим обликом показывал, что принадлежит богатею. Среди широкого двора, по размерам своим равного целому кварталу и окруженного со всех сторон, словно крепость, белыми стенами, вздымалась стройная, прямая как стрела, одинокая развесистая сосна — единственная во всей округе. В незапамятные времена, еще маленькой сосенкой, ее принесли со святых Рильских гор и посадили здесь прадеды Гераковых. Это было их семейное знамя, которым они гордились. Под ее святой сенью выросло несколько поколений. Немало стариков в этом роду провело под ней свои последние дни.

У деда Йордана было три сына, все трое погодки: старший — Божан, средний — Петр, младший — Павел. У каждого — жена, дети. Все жили вместе, в одном доме со стариками, большом, красивом и достаточно просторном, чтобы вместить еще столько же народу.

Сыновья и снохи Герака, под его верховным надзором, вели домашнее хозяйство и работали в поле; им помогали два молодых батрака да Матей Маргалак — старый бобыль, которого дед Йордан взял к себе в дом из милости. А сам Герак держал корчму в низком и длинном старом здании у дороги, выделявшемся, как крупный камень, в кольце из стен, окружающих двор.

Дед Йордан не допускал сыновей к работе в корчме, управляясь с нею один. Они уже привыкли к этому и, когда им все же случалось заменять в корчме отца или просто зайти туда по какому-нибудь делу, чувствовали себя там не хозяевами, а слугами. Зато в поле, на пашне, на лугу они были сами себе господа, особенно старший — Божан. Работа в поле была его стихией. Все его помыслы и заботы были связаны с ней. Даже лицо его было цвета перегоревшей пшеницы, а душа взирала на небо, тучи и солнце, испытывая те же надежды и тревоги, что и плодородная земля.

С началом жатвы в доме Гераковых закипала работа. Рано утром, еще до рассвета, на дворе уже громко раздавался бодрый голос старого Герака, заглядывавшего в конюшню и под навес, где спали батраки:

— Вставайте, ребята! На работу пора.

Рядом с ним, радостно махая хвостом и весело прыгая у его колен, бежала большая желтая собака. Стая белых гусей, лежавших на дворе, разбегалась, испуганно гогоча. С крыши сарая подымалась туча голубей и летела на жнивье. Молодые воробышки дрались в ветвях сосны. Работники — мужчины, женщины, дети,— окончив сборы, группами шли в поле. Дед Йордан провожал их до ворот и, поглядев на восток, уже светлый, побледневший в ожидании зари, восхищенно говорил:

— И денек же нынче погожий будет! Опять умоется земля-матушка человеческим потом...

Потом он ненадолго отпирал корчму, сам поливал и подметал пол, варил себе кофе и садился у двери пить его на чистом воздухе.

Проходившие по дороге крестьяне и крестьянки почтительно кланялись ему. Он всем приветливо отвечал, всем говорил: «Бог в помощь!» — и желал хорошего урожая. А когда время подходило к обеду, садился на свою лошадку и ехал, как выражались крестьяне, погонять по полю, то есть навестить работников.

Главным и единственным помощником Герака по корчме была жена его, бабушка Марга,— крупная, рослая женщина, хорошо сохранившаяся, здоровая и энергичная, отличавшаяся веселым нравом и коммерческой сметкой. Если дедушка Йордан был главой, то бабушка Марга была душой корчмы. Она заботилась обо всем, неустанно налаживала свое хозяйство: чистила и мыла посуду, убирала обе горницы, предназначенные для ночлега проезжающих, поддерживала огонь в очаге, проветривала погреб, выпа-

ривала бочки и прислуживала посетителям вместо сидельца.

Целых сорок лет — и молодой женщиной и старухой — хлопотала она в корчме среди мужиков, улыбающаяся, жизнерадостная, то с прялкой и веретеном, то с ребенком на руках, и никто не мог сказать о ней ничего дурного. Она не допускала в корчме ни ссор, ни сквернословия и тотчас выгоняла пьяниц. Все ее уважали, крестьяне не смели отпускать при ней своих любимых крепких словечек.

Герак ценил ее способности, доверял ей во всем, полагаясь на ее ум и предусмотрительность, гордился ею. Они жили душа в душу, помогали друг другу и думали только о том, чтоб оставить детям доброе имя и хорошее наследство.

Бабушка Марга и в доме была полной хозяйкой. Она любила снох и внучат, но обращалась со всеми строго и требовала, чтобы каждое ее приказание было непременно исполнено. Когда она за что-нибудь бранила сыновей или делала им выговор, они, уже взрослые, стояли перед ней опустив голову и не возражали ни слова. Целый день бегала она из корчмы в дом и обратно, ходила по двору, проверяя, все ли в порядке, кормила кур, свиней, гусей, разговаривала с ними, точно с людьми, и, когда сзывала их, голос ее раздавался на весь околоток. Она говорила громко и смеялась звонко, как девушка.

Но весной бабушка Марга вдруг померла. С нею из дома Гераковых ушел добрый и строгий гений, поддерживавший во всем порядок. Волосы Йордана скоро посеребрились, сильная хозяйская рука его ослабела, отпустила поводья, и домашняя колесница, до тех пор катившаяся так ровно и спокойно, выбилась из колеи и затряслась по каменистому целику.

В дом вползли, словно змеи, неизвестно откуда взявшиеся вспышки гнева, недоразумения, ссоры, отравившие милый домашний уют, столько лет ласково согревавшийся отрадным теплом семейного очага.

Никто не знал, как это произошло, отчего возникли зависть между снохами и недоверие между братьями, порождавшие взаимную подозрительность. Дедушка Йордан пробовал положить этому конец своим строгим словом, но оно потеряло прежний вес. Он выговаривал энергично и сердито, но чувствовал, что слова плачут в душе его, и делал неимоверное усилие скрыть эту слабость. Он знал, что и добро и зло вырастают из малого зерна, но не мог понять, почему именно зло должно было взойти в душах его

детей. Почему? Он долго думал об этом. От этих-то мыслей у него побелели волосы и пропал сон.

Чуть не каждый день слышал он резкие пререкания и свары между снохами, полные грубой, непристойной брани. Возникали эти свары всегда по самым нелепым, ничтожным поводам. Как-то раз один из ребят Петровицы обрызгал грязью ребенка Божаницы; та кинулась и ударила его. Петровица, обиженная, заступилась за плачущего сына:

— Пойди, милый, пойди ко мне; эта гадюка съест тебя!

— Тебе бы впору змей рожать! — ответила Божаница.

Петровица была мягче Божаницы и, в сущности, даже добра, но в то же время чрезвычайно самолюбива; вспыхнув, она уже не могла сдержаться.

— Чтоб тебе змеи глаза высосали! — крикнула она в ответ.

Божаница держала большую миску с отрубями. Она запустила туда руку и кинула полную горсть отрубей в лицо Петровице. Обе вцепились друг другу в волосы, и двор огласился нечеловеческими воплями и проклятиями. Дедушка Йордан выбежал из корчмы. При виде того, как снохи его, растрепанные, окровавленные, наскакивают друг на друга, словно две разъяренные курицы, он почувствовал, что вся его гордость главы дома возмутилась. Он подошел к ним, поднял свою тяжелую руку и изо всей силы влепил каждой по оплеухе.

— Коли не меня, хоть детей постыдились бы! — сказал он.

Петровица, сконфуженная, скрылась в погребе, но Божаница встала перед ним с видом наседки, у которой отняли цыплят, и крикнула злобно:

— Не суйся не в свое дело, старый хрен!

Потом, схватив миску, из которой высыпалась половина отрубей, удалилась походкой волчицы, оторвавшей кусок мяса от живой жертвы.

После этого происшествия обе невестки целый месяц друг с другом не разговаривали. Ходили по дому хмурые и шипели, как змеи. Срывали свою злобу на детях, а больше всего на жене Павла, младшего сына дедушки Йордана,— тихой, нежной, доброй, мечтательной Элке. Теперь на нее свалилась вся работа по дому. И она работала усердно, молчаливо, безропотно. Она никому не желала зла. Она хотела, чтобы в дом вернулись мир и согласие, чтобы ее невестки помирились. А они ворчали на нее, при-

дирались к ней из-за всяких пустяков, бранили ее ребенка — маленького Захаринчо — и вечно на нее дулись.

Дедушка Йордан ходил задумчивый, встревоженный. Ему уже не сиделось в корчме. Он попробовал продолжать дело вместе с сыновьями, но из этого ничего не вышло. Божан, которому было уже под сорок, страшно любил деньги, дрожал над ними, был жаден и хитер. Он утаивал часть выручки, делал неправильные записи в торговых книгах, устраивал мошеннические сделки, обманывая бедных крестьян. Средний сын дедушки Йордана, Петр, был совсем другой. Легкомысленный и беспечный, широкая натура, он вечно пропадал на охоте, пил и отпускал направо и налево в кредит. На его маленьком лице всегда сияла беззаботная, веселая улыбка, делавшая его необычайно привлекательным. Он был наивен, доверчив и способен душу отдать каждому, кто сумеет ловко к нему подольститься и провести его.

Дед Йордан увидел, что так дальше продолжаться не может, и вскоре закрыл корчму. Это ему было нелегко. Он держал корчму сорок лет, благодаря ей нажил деньги, в ней чувствовал себя хозяином, сильным человеком, в ней наслаждался уважением и страхом, которые внушал крестьянам.

«Будь дома Павел,— думал старый Герак,— тогда другое дело, но кто знает...»

II

Младший сын дедушки Йордана, Павел, был человек энергичный, смекалистый, хваткий. Отец когда-то возлагал на него большие надежды. Он послал его учиться, и тот дошел до седьмого класса; поэтому, говоря о младшем сыне при посторонних, старик никогда не упускал случая напомнить:

— Как-никак Павел получил образование...

Чтоб он не сбился с пути, отец женил его восемнадцати лет на самой красивой девушке в селе. На Элке. Она была из бедной семьи, но Павел страстно влюбился в нее. Эта стройная, изящная девушка с маленьким смуглым личиком и большими печальными глазами, полными ласки и доброты, отличалась живым, веселым нравом; когда она пела в поле, голос ее разносился далеко вокруг, и люди прерывали жатву, чтобы послушать.

Вскоре после свадьбы Павла взяли в солдаты. В казармах все его полюбили: он был веселый, красивый, а глав-

ное — имел деньги и угощал каждого встречного и поперечного. Там он избаловался, запил. Военная служба пришлась ему по вкусу, он не пожелал увольняться и остался сверх срока.

Этот поступок огорчил отца и озлобил братьев. Снохи стали коситься на его жену, жившую с ними и покорно, молчаливо работавшую. Но тогда еще жива была бабушка Марга. Она любила Элку, как родную дочь, жалела ее и покровительствовала ей. А после смерти свекрови молодая женщина осталась беззащитной.

Первые годы Павел часто приезжал в отпуск. Он все время пил с крестьянами, нанимал цыган увеселять его, бился об заклад на большие суммы, пел какие-то похабные русские песни и во время хоровода при всех щипал молодую жену за щеки, так что та не знала, куда деваться от стыда. Ее угасшие черные глаза не поднимались от земли, и взгляд их был полон тоски и какой-то глубокой тайной думы. Она никогда не смеялась громко, как другие женщины на селе, а только сдержанно улыбалась своим маленьким ртом. При этом сверкали ее красивые острые белые зубки и она еще больше хорошела.

Потом Павел стал приезжать все реже, только по большим праздникам, да и то на два-три дня.

— На дольше не отпускают,— важно заявлял он.— Ничего не поделаешь: служба.

Отец то и дело получал от него отчаянные письма, в которых он жаловался на свое положение, просил выслать денег и грозил, что иначе покончит с собой.

Старик спешил исполнить его просьбу и целые дни проводил в тревоге.

В конце концов снохи и братья стали завидовать Павлу и жестоко возненавидели его. Они постоянно толковали о долгах отца, увеличившихся за последние годы, сердились, что им приходится нести всю тяжесть хозяйства на своих плечах, укоряли брата в том, что кормят его жену и ребенка, а он знать ничего не хочет.

Старик всегда встречал Павла с отцовской нежностью и лаской, забывал о домашних раздорах, прощал ему все и не расставался с ним. Это еще больше сердило старших сыновей, но он делал вид, будто ничего не замечает. Только утром, уйдя по старой привычке в покинутую корчму, затянутую паутиной, тихую, пустую и темную, он, скрывшись от всех, долго слонялся там, понурив голову, раздумывая и вздыхая. Павел понимал, что братья злы на него, догадывался о страданьях отца и чувствовал себя чужим в

доме, где родился и вырос, тяготился пребыванием в нем и старался поскорей уехать. Жизнь братьев, отца, крестьян и всех здешних жителей представлялась ему грубой и глупой. Он охладел к Элке. Она стала казаться ему некрасивой, непривлекательной; он сам удивлялся, как мог жениться на ней, и слезы, которые она молча лила перед ним по ночам, раздражали и бесили его.

В одну из зим он вызвал было Элку к себе в город — жить, но скоро отослал обратно. После этого невестки из зависти прозвали ее «горожанкой» и при всякой ссоре язвили:

— Что ж, мы люди простые, в городе не жили!

В конце концов Павел совсем перестал ездить домой. К тому же его перевели в другой полк, стоявший в одном из дальних придунайских городов, и с тех пор о нем не было никаких вестей. Только время от времени в село доходили темные слухи, будто он совсем сбился с пути, спился, завел содержанку и ударился в разврат. Откуда шли эти слухи, неизвестно, но они упорно держались, росли, и народ верил им. Когда в праздник Элка шла в церковь, все глядели на нее с сожалением и говорили у нее за спиной:

— Бедная, видно, так уж на роду ей написано. Что только терпеть, как мучиться-то приходится!

Элка делала вид, будто не слышит, и шла со своим Захаринчо, не глядя по сторонам. Но эти соболезнования причиняли ей страдание, раздирали сердце, как шипы.

Нередко невестки злобно накидывались на нее и твердили с ненавистью:

— Мы не нанимались к твоему мужу на жену его работать. Пускай берет тебя к себе — и живите как знаете. Он там и в ус себе не дует, а завтра, глядишь, явится — долю его подавай. Нет уж, дудки! Он до этой земли и не касался. А мы на ней здоровье свое губим. Так давайте-ка лучше разделимся заранее: пусть каждый свое знает!

Дедушка Йордан, которого нарочно изводили такими разговорами, говорил глухим голосом:

— Пока жив, не дам делиться, а помру — тогда делите хоть барахло мое.

И долго в душе его проклятия боролись с просьбами, и он умолкал, бледный, полный горечи и обиды, едва находя в себе силы произнести:

— Дети, дети, чего вы ссоритесь? Всем хватит, на всех я припас. Почему не живете по-родственному, зачем мучаете меня на старости лет?

Старик брал на колени маленького Захаринчо и долго ласкал его. Мальчику было около трех лет. Это был тихий, болезненный ребенок; от матери он унаследовал печальные глаза, а от отца — смело вздернутый нос. Двоюродные братья и сестры, науськиваемые своими матерями, часто колотили его. Тетки гнали прочь, ненавидели. Когда он, как все ребята, начинал хныкать, прося хлеба, они кричали:

— Ну, этого обжору никогда не накормишь!

И, если не было матери, замахивались на него и шлепали. Тогда ребенок бежал к дедушке, заливаясь слезами, и никак не мог успокоиться.

— Молчи, внучек,— говорил старик, утирая ему слезы.— Они скоро и дедушку твоего бить станут!

Ласковые утешения дедушки Йордана, исходившие из глубины обиженного стариковского сердца, еще больше злили снох. Божаница, не выдержав, угрюмо говорила:

— Тебя, папаша, никто не трогает — и помалкивай!

Захаринчо не понимал того, что происходит в доме, но чувствовал, что его мать страдает, и когда тетки бранили и обижали ее, он, положив ручку ей на колени, ласково говорил:

— Мама, мама, не плачь!

Злее всех в доме была Божаница — худая, высокая, с длинным, грубым, скуластым лицом, усеянным крупными жирными бородавками и украшенным, как у мужчины, усами. Она ругалась со всеми и всех ненавидела, даже своего мужа. Он часто жестоко избивал ее из-за пустяков. Тогда она тайком напивалась водки, которую держала в шкафу, запиралась у себя в комнате и, прикидываясь больной, не выходила целую неделю. Все знали, что она назло не встает, и не жалели ее. Только ее старшая дочь, Йовка, ухаживала за ней, подолгу сидела у ее постели и спрашивала:

— Ну как ты, мама? Не надо ли тебе чего? Хочешь еще водки? На, выпей!

Божаница жадно осушала графинчик. Щеки ее начинали пылать, как в лихорадке, глаза становились красными; противно причмокивая, она говорила дочери:

— Спрячь графинчик, а то как бы эти злодеи не увидали!

Йовка была такая же высокая и некрасивая, как мать, но сердце у нее было мягкое, доброе. Худое лицо ее отличалось почти прозрачной бледностью. Она постоянно болела. Какая-то непонятная немочь подтачивала здоровье этого нежного, милого подростка, и она чахла, увядала

день ото дня, как цветок, в чьих корнях поселился червяк. Она всех любила, всем старалась угодить. Домашние ссоры терзали ее. Ей было жаль тетю Элку. Ее она любила больше, чем остальных в доме,— всем своим бесконечно привязчивым сердцем. Часто она спала у нее в комнате, прижавшись к маленькому Захаринчо, и ей снились странные, страшные сны. Она любила сидеть по вечерам на высоком крыльце перед домом и глядеть, как солнце заходит за далекие незнакомые горы, оставляя на небе горящий пожаром кровавый след. Взгляд ее был задумчив, и лицо походило на лик святой. Бедная девочка о чем-то мечтала — никто не знал о чем: она никогда не говорила о себе. Чаще всего Йовка думала о тете Элке. Их души понимали и любили друг друга без слов. Когда Божаница в бешенстве накидывалась на Элку, яростно осыпая ее бранью и попреками, Йовка, бледная, с широко раскрытыми от ужаса глазами, протянув руки, кричала не своим голосом: «Мама, мама!» — и замертво падала на землю.

III

Смерть бабушки Марги, поведение Павла и домашние ссоры совсем сломили старого Герака. Эти жизненные невзгоды избороздили доброе круглое лицо его глубокими морщинами. Поседевшая голова склонилась на грудь и словно вросла в плечи. Поступь стала медленной, тяжелой; в глазах появилось виноватое выражение; нрав, когда-то веселый, резко изменился, сердцем овладела тоска, лицо помрачнело.

Теперь он равнодушно встречал жатву — самое радостное для него время, когда он обычно оживал, молодел, рвался к работе, становился сильным, веселым и непоседливым, как ребенок. Он по-прежнему вставал раньше всех и звал на работу остальных, но голос его уже не звучал так бодро: в нем не чувствовалось былой силы. Сыновья и снохи уже не слушались его беспрекословно, а поступали так, как считали нужным. Это глубоко обижало старика, но он молчал, не зная, на кого сердиться. Утром, встав с постели и по старой привычке поглядев на небо, он уже не говорил: «Ну и денек нынче погожий будет! Опять омоется земля-матушка человеческим потом», а, вздыхая, медленно произносил:

— Не поймешь, какая нынче будет погода. Того и гляди еще дождь пойдет. Не всякому утру верь.

В доме дедушка Йордан теперь редко бывал. Дом казался ему страшным, проклятым. Там, где он с такой радостью и любовью растил детей, теперь не было ни радости, ни любви. Ничто уже не могло привлечь его туда и удержать там, кроме неотступных старых воспоминаний да маленьких внучат, которых он любил ласкать и о которых говорил, что у них белые крылатые душеньки.

«Что ждет их? Что ждет их, бедненьких?» — думал он, с тоской глядя на них долгим, ласковым взглядом, словно никогда раньше их не видел.

Иногда какое-нибудь дело заставляло старика дольше задержаться в доме. Тогда его охватывало беспокойство; ему казалось, что его что-то душит. Войдет в одну комнату, войдет в другую, словно чего-то ищет и нигде не может найти. Порой замечали, что он разговаривает сам с собой улыбаясь. Так как сыновья нарушили старинный обычай обедать всем вместе за общим столом и приходили каждый когда ему вздумается, а то и вовсе не являлись, то и старик обедал в разное время. Иной раз, когда он был занят поблизости во дворе какой-нибудь работой, одна из снох кричала ему с порога:

— Иди обедать, папаша. Мы тебя ждем. Похлебка остынет!

Но дедушка Йордан всегда улавливал какую-то насмешку в этих словах и продолжал работать, погруженный в безрадостные думы. Тогда у него за спиной слышалось недовольное, сердитое ворчанье:

— Не хочешь — твое дело. Старый человек, а капризничает, словно дитя малое. Кто голоден, тот без зова придет.

В праздник или когда не было работы дедушка Йордан проводил большую часть времени в брошенной корчме, ключ от которой всегда держал при себе. Он и ночевал там. В этой корчме, угрюмой, мрачной, неприветливой и печальной, как его душа, было тихо и пусто; сюда не доходило никакого шума — ни с улицы, ни из дома, и он мог спокойно отдаваться здесь своим мыслям.

«Чем я был и чем стал!» — вздыхая, думал он, часами неподвижно сидя на своей постели.

Сквозь щели в закрытых ставнях проникали веселые солнечные лучи, озаряя пыльные предметы и медленно-медленно передвигаясь, пока не исчезали совсем и в корчме не становилось темно. Старик поднимал голову, озирался, словно ища этих лучей, и тер лоб рукой, как человек, обманутый сновиденьем.

В доме Гераковых, да и во всем селе, знали — и передавали из уст в уста, как таинственную волшебную сказку,— что у старого Герака припрятаны деньги. Молва исчисляла его богатство в несколько тысяч золотых. Сыновья его не верили этому,— во-первых, потому что это было неправдоподобно, а во-вторых, потому что у отца были долги. Но этот слух дразнил их воображение. Божаница и Петровица украдкой друг от друга подсматривали за стариком, стараясь обнаружить его тайник. Напившись, Петр говорил в корчме при всех:

— Правильно делает старик! Пускай прячет их, окаянных. Придет время, я же на них и погуляю.

Наоборот, Божан, человек хитрый и скрытный, уверял всех, что это ложь, что у отца его нет ни гроша наличного, что все деньги ушли на покупку земли и домашнего имущества. Так он говорил, но на душе у него было неспокойно. Ему хотелось наложить руку на эти деньги, и в уме его роились всевозможные планы.

Так как старик держал ключ от корчмы при себе и сам отпирал и запирал ее, когда кому-нибудь из домашних нужно было туда войти, Божан заподозрил, что отец именно там прячет деньги, и стал за ним следить. Он часто заходил к отцу без всякой надобности. Придет, побродит вокруг, как в полусне, будто чего-то ищет, побормочет себе под нос и опять уйдет. Старик не допускал дурных мыслей и сомнений насчет сына, но эти маневры раздражали его. Божан это почувствовал и принял хитрые меры предосторожности: он окружил отца особенной заботой. Когда старик, чем-нибудь обиженный или огорченный, долго не появлялся за общим столом, Божан шел к нему и, нежно глядя на него, говорил ласковым голосом:

— Пойдем, папаша... Хоть для меня. Обидно мне, папаша. Мы твои дети, а ты нас чураешься. Все — люди, все — человеки!.. Ну, согрешили мы. А ты нас прости!

С таким же притворством Божан защищал отца от нападок Петровицы и своей злоречивой жены.

Стоило одной из них сказать в его присутствии старику что-нибудь грубое и резкое, как Божан накидывался на нее, и острый нос его белел от гнева. Не раз он поднимал даже руку, чтобы ударить обидчицу, но старик дрожащим голосом останавливал его:

— Не надо, сынок. Не ссорься из-за меня!

Божан искал случая побыть с отцом наедине и, когда это ему удавалось, говорил старику с притворным участием:

— Не тревожься и не кручинься, папаша. Все уладится. Мама, царство ей небесное, ушла от нас,— видно, так уж суждено было... Но мы ведь живы и тебя не оставим. Ты баб не слушай. Да и насчет Павла не беспокойся. Он тоже образумится, вернется. Вон пичужка малая и та гнезда своего не забывает... Не печалься, папаша! Будь опять таким, как прежде. Помнишь — когда мы еще махонькими были? Когда ты веселый,— и в доме весело!

Мягкое сердце дедушки Йордана таяло от этих слов. Он качал головой, как бы желая сказать: «Нет, все миновало! Все кончилось!»

Но только вздыхал тяжело, и глаза его наполнялись слезами.

IV

Летом, вскоре после Петрова дня, вдруг явился Павел.

Было ясное, солнечное утро, еще сохранявшее следы ночной прохлады. Село уже проснулось, и по улицам торопливо шли крестьяне, направляясь в поле.

Дед Йордан сидел без шапки у дверей корчмы и чинил разорвавшийся недоуздок, беседуя с Матеем Маргалаком, который стоял перед ним с вилами на плече.

Павел подошел к ним, поздоровался. Рослый, широкоплечий солдат в белой полотняной рубахе, с саблей на боку... Отец поднял голову и стал вглядываться в него, не узнавая. Лицо у Павла было бледное, худое, болезненное. Под глазами — большие темные круги. Он наклонился, поцеловал отцу руку, но тот все глядел с недоумением, не зная, что сказать.

— Как живешь, папаша? Как себя чувствуешь? — спросил Павел, отирая пот с лица.

— А, Павелчо?! Здравствуй, сынок! — воскликнул старик, подымаясь, и стал целовать сына в лоб.— Как же это ты, милый? Я уж думал, ты нас совсем забыл... Весточки не пришлешь. Худой-то какой... Садись, садись — отдохни. Так, сыночек, приехал, значит... Вспомнил отцовский очаг!

— Птичка, Йордан, и та — где вылупилась, туда и летит,— промолвил дедушка Маргалак тонким, хриплым голосом, бессильно качая белой как снег головой.— Порадовал ты отца, Павелчо, и жене-то радость какая, и Захаринчо, и... Он то и дело вечером заберется на орешину: «Папа, папа, кричит, иди посмотри, как я вырос!»

Павел сел на порог, а отец стал перед ним с разорван-

ным недоуздком в руках, не зная, как лучше выразить свою радость и нежность. Он только повторял:

— Смотри-ка, смотри-ка! Приехал, а?

Глаза его были полны слез, голос дрожал.

Дедушка Матей, низенький старичок с почерневшим, изможденным лицом, с бородой, как у святого, свалявшейся и такой же белой, как волосы, снял с плеча вилы и принялся тереть себе глаза. Он остался на старости лет без жены, без детей, без родных. Была у него дочь, но ее еще девочкой отвезли в город, в прислуги. Там она выросла и куда-то исчезла. Никто не знал, что с нею сталось. Говорили, что она сбилась с пути. Глаза у нее были синие-синие, как монисты, какие привязывают к конским недоуздкам. Йордан купил у дедушки Матея двор — они были соседи — и одну-две полоски земли, которыми тот владел, а самого его взял к себе, чтоб помогал, сколько может, по хозяйству и не помер с голоду. Это была душа, привыкшая покоряться судьбе, мягкая, ласковая, полная веры, надежды на то, что всякому злу бывает конец, что мир не останется таким, каков он есть, а в один прекрасный день исправится.

— Я всегда говорил отцу твоему,— промолвил сквозь слезы дедушка Матей,— и жене твоей говорил: «Сердце не камень — приедет Павел». А она, Элка-то, от горя просто великомученица стала, сынок. Никто никогда жалобы от нее не слыхал. Чистое сердце...

Павел опустил голову и промолчал. Этот разговор был ему неприятен. Он выставил ноги и, подтянув повыше к коленям собравшиеся в складки сапоги, грубым, сиплым голосом сказал:

— Экая пылища! На станции ни одной телеги не было, пришлось пешком шагать. Ну, а ты, дедушка Матей, как живешь?

— Слава богу, сынок. Как все, так и я. Вот пошел в логу сено ворошить, да с отцом твоим заговорился и опоздал. Прощай, сынок. Пойду: пока дойдешь ведь... Постарел я, прежней-то силы нету...

И дедушка Матей, опять вскинув вилы на плечо и пошатываясь на своих слабых ногах, скрылся за углом.

Из-за лесистых горных вершин на востоке показалось солнце. Большие тени от холмов и маленькие, лежащие в долинах, пришли в движение. Потоки света хлынули на поля, затопили долины, залили землю. Широкие ворота возле корчмы медленно растворились. Оттуда, возбужденно о чем-то разговаривая, вышли снохи дедушки Герака.

Босые, в белых платках на голове, с серпами в руках, они спешили в поле. Элка, выйдя последней, закрыла ворота.

Увидев Павла, все три остановились в изумлении.

— Батюшки, да ведь это братец Павел! — воскликнула Петровица, толкнув локтем Божаницу.— У нас гость, а мы-то ничего не знали!

И обе весело подошли здороваться.

Элка осталась в стороне, смущенная, растерянная, бледная от волнения. К ее хорошенькому личику очень шел белый платок со свободно висящими концами. Большие печальные глаза ее наполнились слезами и глядели испуганно. Словно неопытная девушка, она не знала, что делать в присутствии этого человека, чей образ, хранимый в душе, стал для нее образом умершего, в воскресение которого она не верила. Она была похожа на горлинку, которая, укрывшись в густой листве, следит оттуда за медленным парением сокола.

— Элка, Элка, что ж ты стоишь столбом? Пойди сюда, скажи ему: «Добро пожаловать!» — шутливо крикнула ей Петровица, которая в хорошие минуты бывала по-настоящему добра.

Элка, от стыда неуверенно переступая босыми ногами, подошла, словно тень, и, не в силах проронить ни слова, молча подала Павлу руку. Павел сжал эту руку резким, сухим пожатием, поглядев на жену с холодным любопытством. Элка отошла в сторону, еще более смущенная, и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Рано поднялись,— заметил Павел, обращаясь к невесткам, которые стояли перед ним, расспрашивая о разных разностях.

Элка глядела на мужа со стороны, прежним взглядом испуганной горлицы, с удивлением, исподлобья, сама себе не веря. Ей казалось, что это сон, уже столько раз ее обманывавший.

Дед Йордан, опустив руки с недоуздком, глядел и никак не мог наглядеться на сына. Ласковость снох и радость их, в эту минуту как будто непритворная, растопили ему сердце; он забыл в душе прошлые обиды, все простил.

«Уладится,— думал он.— Не век длиться злу. Добро — вот хозяин человеческого сердца».

— Ну, пока прощай, братец Павел! Мы пойдем, время не ждет,— промолвила Петровица.— Наши жнецы уже в поле. Пора и нам туда. Петр с Божаном на верхнюю ниву пошли, снопы вязать. Вы тут с папашей угощайтесь чем бог послал, а мы вечером вернемся пораньше.

— Ступайте, ступайте, сестрица! — ответил Павел.

— Элка лучше пускай дома останется, голубушка,— сказал старик, обращаясь к Божанице.

— Пускай останется, коль хочет. Что с ней, что без нее — разницы нет; толку от нее мало,— злобно ответила Божаница и, притворно засмеявшись, сердито прибавила: — Идем, идем, опоздаем!

Обе невестки, обернувшись словно по уговору, кинули на Элку полный насмешки и зависти взгляд и пошли.

Элка постояла, смущенная, глядя то на Павла, то на отца; но те ничего не сказали, и она, потупившись, молча пошла за невестками, убыстряя шаг. Концы ее белого платка реяли позади, словно голубиные крылья.

Старик, удивленный внезапной злобой своих снох, печально сел на порог и в молчанье опять принялся за недоуздок.

Павел проводил глазами Элку, пока она не скрылась в переулке за рекой, потом встал и, расправив плечи, устремил взгляд в поле.

Отсюда была видна большая часть села — та, где протекала речка, где Павел ребенком так любил играть и где он юношей встречался с Элкой.

Теперь там было безлюдно, тихо. Откуда-то доносились по временам только сонные детские голоса да стук телег. Широкая песчаная дорога посреди села, неогороженные грязные дворы, красные черепичные крыши, высокие вербы и орешник у реки — все вокруг, только что пробужденное приходом нового дня, дышало свежестью, радостью, спокойствием, во всем чувствовалось довольство этим прекрасным утром.

За селом, широко раскинувшись, уходили вдаль созревшие нивы, позолоченные солнцем, украшенные темными ветвистыми грушевыми и сливовыми деревьями, зелеными кустами и травянистыми межами, полные жнецов и жниц. По полю вилась дорога. Павел видел, как невестки его и жена шли по этой дороге. Петровица и Божаница шли вместе впереди, а далеко позади, совсем одна, шагала, опустив голову, Элка. В руке у нее блестел серп, концы платка по-прежнему трепетали, как крылышки.

Павел долго-долго глядел на нее, пока она не скрылась за хлебами. Глядел и не испытывал ничего — ни жалости, ни боли, ни радости, ни любви. Глядел как на что-то чужое, далекое и с равнодушным любопытством думал: «Как живет эта женщина?»

За полем, разбросанные по огромному пространству,

загромождая горизонт, неподвижно синели далекие горные вершины. Над ними, отливая на солнце серебром, повисло белое, как вата, облачко.

Павел смотрел на эту широкую картину. Душа его раскрывалась перед ней, как книга, страница за страницей, и он невольно читал далекие, неясные и милые, навевающие грусть воспоминания.

Старый Герак видел, с какой злой насмешкой поглядели его снохи на Элку и как она пошла за ними, одинокая, вся в слезах. Ей, видно, хотелось остаться, но после стольких лет унижений и оскорблений она не посмела. Ни глаза, ни сердце Павла не позвали, не удержали ее. Слова старика прозвучали напрасно. Он заплакал. Склонившись над работой, он не решался поднять глаза на сына, боялся, что тот заметит его слезы, и не решался заговорить, боясь разрыдаться.

«Ничего не поделаешь,— думал он.— Видно, плетью обуха не перешибешь. Нет любви в сердцах человеческих, перестали люди быть братьями».

Отец с сыном долго молчали. Отец не мог вымолвить ни слова из-за душивших его слез, а сын томился скукой, не знал, о чем завести речь.

Наконец измученная душа старика не выдержала: из груди его вырвалось рыдание. Он откинул недоуздок и, протянув дрожащие руки к сыну, который стоял перед ним, прерывающимся от слез голосом заговорил:

— Видишь, как ее обижают, сынок? И некому заступиться. Ты пропал, меня больше не слушают, а она молчит и молчит. На нашей душе грех будет. Человек ведь! Наша семья загубила ее молодость.

Слова старика не тронули Павла. Наоборот, они пробудили в душе его какое-то мутное, мерзкое чувство, словно в нее плюнули. И его охватило трусливое тупое раскаяние в том, что он сюда приехал.

— Не любят они ее... Видно, мешает она им, коли не любят,— сухо ответил он, не желая продолжать разговор.

— Ничем она им не мешает, сынок, чем же она может помешать? — примирительно промолвил старик.— Работает, как все... А они ее поедом едят, бога забыли, смирения в душе нет. Каждый о себе только думает, а о других и знать не хочет. Каждый разинул пасть, норовит схватить, утащить, припрятать, словно целый век жить на земле собирается. Кажись, всего вдоволь. На всех хватит и еще столько же останется, а они из-за крошек воробьиных свары заводят. Захаринчо — дитя малое, кроткое, ми-

лое — любит их, а они его в капле воды утопить готовы. Просто жить в доме нельзя стало. И братья и снохи — все делиться хотят, вынь да положь. Чтоб каждому свое выдать и он только бы свое знал. А почему не жить по-братски, друг другу помогать, друг дружку любить? Не тут-то было! Зависть мешает, своекорыстие, злоба. Дьявол — вот главная причина: он их в руках держит. Лавку в душе у них открыл, добром и злом торгует.

Старик задыхался от волнения. Наконец он умолк, подперев голову рукой.

— Думай о своих делах, папаша. На всякую болезнь лекарство найдется,— сухо, равнодушно промолвил Павел, которому надоели рассуждения отца.

Он принялся нетерпеливо расхаживать взад и вперед, покручивая свои длинные серповидные усы и бродя рассеянным взглядом по селу.

Излив перед сыном всю накопившуюся за долгие годы боль и не найдя у него ни сочувствия, ни утешения, дед Йордан снова почувствовал себя обиженным, одиноким, покинутым. Он устремил взгляд в ту сторону, где между четырьмя высокими стройными тополями синела сельская церковь с красной черепичной крышей, над которой как звезда высоко блестел крест, и долго, не отрываясь, глядел туда. Потом опять наклонился над недоуздком, и нельзя было понять, плачет он или просто задумался.

V

Неожиданный приезд Павла ничего не изменил в доме и никому не принес радости. Оскорбленная, выжженная, как безводный сад, душа Элки не получила удовлетворения. Элка страдала теперь еще глубже, так как ее унизил тот, кого она любила, о ком постоянно думала, кого день и ночь ждала. Павел не приголубил ее, не приласкал. В первый вечер она переступила порог его комнаты с трепетом молодой невесты, впервые оставшейся наедине со своим избранником. Она жаждала объятий, томясь вечным желанием взаимности, ласки, излечивающей от мук одиночества. Задыхающаяся, смущенная, робеющая, припала она к нему, словно раненый, с мукой дотащившийся в жару до живительного источника. Но Павел спал или делал вид, что спит. От него веяло неодолимым холодом, как от мертвеца. Склонив свое бледное лицо над его лицом, она взяла его откинутую руку и сжала ее со всей силой владевшего ею любовного порыва. Павел открыл глаза и поглядел на нее

холодно, враждебно, как будто хотел сказать: поди прочь! Она поняла. Разбитое сердце ее закровоточило. Но она прижимала к груди свою мечту о счастье, свои грезы и надежды, единственное свое упование, и не хотела отпускать, хотела удержать все это, завладеть им. Она обняла мужа страстно и нежно, обвила его тонкими руками, покрыла своим телом, прижалась к нему грудью, впилась губами в его губы. Сильные руки Павла грубо оттолкнули ее.

— Отстань! Чего лезешь,— резко промолвил он.

Элка почувствовала весь пронизывающий холод этих слов, все равнодушие этого человека. Она молча встала, погасила свечу и легла возле Захаринчо, спокойно и сладко спавшего в углу под иконостасом. Она почувствовала себя всеми оставленной, покинутой, никому не нужной, словно сброшенной в пропасть, где не услышишь ни одного ласкового слова, не встретишь ни одного сердечного взгляда. Только вот это маленькое существо, чье невинное нежное дыханье овевает ей лицо, только оно одно — близкое ей, родное. Она обняла сына, как единственное свое спасение, и всю ночь проплакала возле него.

Павел был холоден и к ребенку. Он несколько раз брал его к себе на колени, разговаривал с ним, но мальчик смотрел на него, как на чужого, и никак не мог к нему привыкнуть. Этот странный усатый человек, которого он видел впервые, был занятен: сабля, пуговицы, золотые галуны на рукавах привлекали детское любопытство; но слова приезжего были не похожи на отцовские и не доходили до сердца.

Божаница и Петровица видели, что Элка страдает, догадывались о причинах ее тоски и печали и втайне злорадствовали. Они относились к ней с уничтожающим сожалением, которое она чувствовала на каждом шагу. Они не заставляли ее работать, не звали с собой по утрам, когда шли в поле жать. Говорили с ней осторожно, мягко, хитря, как с безнадежно больной, и этим еще больше огорчали ее. Только Йовка со своей обостренной чуткостью понимала, до какой степени тетя Элка нуждается в ласке и участии. Она была постоянно с ней, помогала ей по дому и занимала Захаринчо, когда тот начинал капризничать и не слушался матери.

Братья встретили Павла тоже холодно, особенно Божан, знавший отцовскую слабость к младшему сыну. Приезд Павла показался Божану подозрительным. Зачем это он явился в рабочую пору и так неожиданно, после того как пропадал целые годы? Божан стал чаще думать о

скрытом богатстве отца, начал следить за отцом и Павлом, когда им случалось беседовать вдвоем.

Петру подозрительность была чужда. Ненависть к Павлу, которая все усиливалась в доме, не пустила корней в его широком, открытом сердце. Он встретил брата добродушной улыбкой и долго расспрашивал его, как тот живет. А в ближайшее воскресенье повел его по корчмам — на людей посмотреть и себя показать; при этом он всюду требовал вина и угощал брата, радуясь, что вот довелось им снова встретиться.

— Ты, Паля, брось свою дурацкую службу,— заговорил он, уже сильно выпивши.— Довольно тебе по городам рыскать. Возвращайся-ка сюда — и давай жить вместе, как господь велит! Ты вот трехаршинные усы себе отпустил, а все никак не поймешь, что эта проклятая служба — не для тебя. Ну, будь мы нищие, не имей гроша за душой, тогда ступай, броди по белу свету. А то ведь что получается? Разве мы не первые богачи на селе? Чем слугой всюду шататься, не лучше ли здесь хозяином быть? Как выйдешь в поле, да снимешь шапку, словно в церкви, да поглядишь кругом, да обведешь рукой: «Все мое!» И денежки есть у отца, Паля. Пускай себе прячет их, чтоб солнце не сожгло,— все равно наши будут!

Петр говорил это, стоя посреди корчмы со стаканом в руке, делая широкие, плавные жесты, как оратор, полностью овладевший своей вдохновенной мыслью. Присутствующие слушали, недоверчиво улыбаясь. Посыпались насмешливые замечания:

— Божан, Божан — вот кто ухватит золотого черта за хвост, как пить дать!

— Божан мне — брат родной... Пускай пользуется, коли сумеет. На бога надейся, а сам не плошай.

Петр опьянялся не только вином, поглощаемым стакан за стаканом, но и собственными словами, которые он разбрасывал перед присутствующими, как художник,— яркие, пышные, словно большие цветы.

Павел старался уклониться и от разговоров и от выпивки. Всякий раз, как Петр совал ему под нос новый стакан, он говорил:

— Довольно, брат. Я неважно себя чувствую... Больше не хочется.

Но Петр не отставал:

— Пей, Паля! Сухая ложка рот дерет. В кои-то веки встретились, давай хоть выпьем как следует!

И Павел не мог отказаться.

Домой они вернулись поздно, пьяные. Домашние успели поужинать и лечь спать: надо было выспаться за короткую летнюю ночь и чуть свет идти в поле жать. Элка не ложилась. Она ждала мужа и деверя, чтоб подать им ужин. Так как утром она ходила в церковь, то одета была по-праздничному. Она забегала, засуетилась по дому. Ее ножки в зеленых чулках и легких узорчатых туфельках тихонько затопали по затихшим комнатам. Где-то тонким голосом настойчиво трещал сверчок. Тень Элки быстро скользила по стенам, озаренным ласковым огнем очага. Молодая женщина накрывала на стол, нагибалась и выпрямлялась, уходила и приходила опять. Павел, разгоряченный вином, следил за ней глазами, и трепет ее молодой груди, угадываемой под рубашкой, пробуждал в нем желание. Но это не было святое желание, внушаемое любовью: это был умысел развратника.

После ужина, когда они ушли вдвоем к себе в комнату, он протянул к Элке руку, попробовал обнять ее. Она тихо отстранила его с улыбкой прощающей, печальной и растерянной.

— Чего тебе надо от женщины, которую ты не любишь?

Он засмеялся и опять полез к ней. На лице его была отвратительная, циничная улыбка. Элка отшатнулась, возмущенная таким грубым обращением. Но, сильный, крепкий, он схватил ее и стал целовать мокрыми, пьяными губами, бормоча скверные слова, которых она никогда не слыхала, унизительные, заставлявшие ее задыхаться от стыда. Она плакала, умоляла оставить ее, билась, как пойманная рыба, чувствуя себя не в объятиях мужа, а в когтях какого-то кошмарного чудовища, оскверненной, обесчещенной. Но он душил ее рыдания могучими объятиями, безумно наслаждаясь своим победоносным насилием.

VI

Зачем Павел приехал? Отпуск он имел только двухнедельный. Непохоже было на то, что его привело сюда желание видеть родное гнездо, близких, жену, ребенка. Он страшно скучал, не зная, как убить время. День казался ему бесконечно длинным. Дома ему не сиделось, домашние разговоры раздражали его,— он их не выносил. Днем все уходили на работу, и село пустело. Только дряхлые и больные старухи в лохмотьях дремали в придорожной тени или ползли к источнику. Даже дети и собаки убегали в поле.

Над селом дрожало нестерпимо душное марево. Павел сидел на галерее перед домом, вялый, разомлевший, и лениво глядел на сверкающее зрелыми хлебами поле, постегивая себя по сапогам тонким ивовым прутиком и безостановочно покачиваясь на стуле, как дервиш. Потом медленно спускался с лестницы, бродил по двору, поглядывая на солнце, чтоб определить, который час, глазел с равнодушным любопытством на усеянную воробьями большую сосну, выходил на дорогу, опять глядел на солнце и лениво шел искать по корчмам, с кем бы перекинуться словом. Там всегда находился какой-нибудь прохожий либо кто из крестьян, удравший с поля, чтобы пропустить чарку или купить табаку.

Иногда, ближе к вечеру, когда жара немного спадала, Павел шел гулять в поле и навещал жнецов. Там были его отец, братья, жена и невестки со всеми ребятишками. Была и хворая Йовка. Она не работала, а, усевшись где-нибудь под деревом, плела венки из колосьев и смотрела за детьми.

— Бог в помощь! — говорил Павел, останавливаясь в небрежной позе на жнивье и играя тонким прутиком, который он всегда вертел в руках.

Десяток молодых батрачек из Загорья громко и весело отвечали на приветствие. Петр тоже сердечно отвечал ему, прерывая работу, чтобы скрутить папироску. Рубаха его была мокра от пота. По покрытому пылью лицу текли черные ручейки. Он снимал соломенную шляпу, вытирал лицо, поправлял узорчатый платок на шее, садился в тень, распахивал рубаху, чтобы охладиться, и начинал жадно и шумно курить, сильно затягиваясь.

— Ну и жара! Плачет нива, просто плачет. Зерно, будто слезы, роняет,— говорил он, окидывая взглядом окрестность, полную жнецов, то поднимающих, то низко склоняющих головы, словно кладя молитвенные поклоны благословенной матери-земле.

Невестки Павла жали вместе с загорскими. Элка — тоже, но в стороне, особняком, будто изгнанная из пестрого ряда, не принимая участия ни в разговоре, ни в смехе девушек, который время от времени вдруг раздавался, звучный, звонкий и сильный, и сразу смолкал, словно вспыхнув и сгорев в зное.

При появлении Павла у Элки захватывало дыхание, сердце начинало сильно и часто биться,— ей казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди и пропадет во ржи, как куропатка. В глазах рябило от мелких искр, сыпавшихся, буд-

то звезды. Она выпрямлялась, чтобы отдохнуть и перевести дух, но не глядела на мужа. Чувствовала, что все глаза устремлены на нее, и в этот момент готова была провалиться сквозь землю.

Две маленькие девочки и старуха собирали колосья, а Божан с Петром вязали снопы свяслами, которые быстро вил дедушка Йордан, выдергивая из связываемого снопа самые длинные стебли.

Божан был теперь в своей стихии. В расстегнутой рубахе, в огромной, как стол, соломенной шляпе он кидался вязать снопы, будто драгоценную добычу. Работал быстро, неутомимо, словно наперегонки. Поднимал каждый связанный сноп, как скряга поднимает мешок с золотом, и крестцы складывал, священнодействуя, словно сооружал жертвенник.

Павел садился в тень, рядом с Йовкой. Снимал фуражку и растягивался на боку, полулежа, опираясь на локоть. При этом он болезненно морщился, словно бередил какую-то рану, и щурился от досады и от блеска золотых хлебов. Йовка с детским простодушием радовалась ему и наивно спрашивала:

— Скажи, дядечка, а где ты живешь, женщины там — барыни или крестьянки?

— Барыни,— нехотя отвечал Павел.

— И с зонтиками ходят, да?

— Конечно.

— А мы тут на солнце жаримся!

Павел молчал.

— А правда — есть люди, которые лягушек едят?

— Немцы, итальянцы.

— Фу! — возмущалась Йовка с гримасой отвращения.

Малыши, прислушивавшиеся с любопытством, вытаращив глаза, к разговору старших, разбегались, крича и отплевываясь, словно в них запустили лягушкой.

Павлу не хотелось разговаривать. Это был не прежний веселый, жизнерадостный, общительный Павел. Так как дети продолжали его расспрашивать, он вставал и, бесцельно потоптавшись на месте, рассеянно, полусонно брел через жнивье в скошенные, опустевшие луга.

Он не ходил по дорогам и тропинкам, а пробирался по межам, за кустами, избегая встреч с людьми. Когда кто-нибудь из знакомых или сверстников осведомлялся, как он живет, когда приехал,— ему чудилось, что это неспроста, и он отвечал виноватым тоном, запинаясь и не глядя в глаза собеседнику.

Как-то раз, навестив жнецов и побродив вокруг них, Павел спустился в соседнюю долину и сел там в тени возле холодного родника, выбивавшегося из-под старых корней трех дубов-братьев. Здесь было тихо, спокойно, сонно, прохладно. Павел долго лежал на спине в отупении, без единой мысли в голове. Вокруг непрерывно, однообразно свистели коростели. Павел слушал, и ему казалось, что весь он разбегается тонкими металлическими кругами, словно в стоячую воду кинули камень, а по краям этих кругов уселись кузнечики и быстро, равномерно дергают, расширяют их, увеличивают их число, и круги вращаются и звенят, звенят.

Рядом в кустах что-то зашуршало. Павел поднял голову. Возле родника остановился, сняв шапку, его отец. Вечерело. Громадные тени дубов протянулись через долину на прилегающее жнивье. Где-то поблизости горлинка настойчиво и нежно звала друга.

— Ты здесь? — промолвил дедушка Йордан, и в голосе его была отцовская ласка.— А я думал, уж на село ушел.

— Тут так хорошо: не захотелось уходить,— ответил Павел.— Да, верно, я и задремал слегка.

— У тебя плохой вид. Ты не болен?

— Так... пустяки...

Павел стал молча вертеть кольцо на пальце. Он заметно смутился.

— Ты приехал какой-то невеселый. Всех сторонишься, будто мы чужие.

Герак произнес это непринужденно, шутливо, но в голосе его звучала боль. Он сел рядом на траву. Впервые после приезда Павла отец и сын оказались наедине.

— Ну, как ты там живешь, Павел? Отчего не вернешься и не примешься за дело? Я уже стар. Скоро уйду, куда ушла твоя мать... А ты на чужбине... Служишь... Что это за служба, не знаю. Зачем она тебе?

Солнце склонялось к закату. Тихо спускался вечер. И свет, и тени, и воздух приобрели мягкие тона. Колючее жнивье, поле, скошенные луга, река, нивы — все на земле стало как-то нежней, словно обласканное чьей-то невидимой рукой.

Так же мягка и нежна была в эту минуту душа старого Герака.

— Что делать! Уж я пошел по этому пути и не могу вернуться,— печально ответил Павел.

— А какое добро ты нашел на этом пути? Ничего. Ни

денег не заработал, ни пользы никакой для жизни не получил. Живешь далеко от нас, бог знает как, по разным городам скитаешься... Остыл сердцем ко всему, оторвался от земли, которая родила тебя и вскормила. Погляди! Эти луга и нивы перед тобой — все наши. Для вас я все это собирал, вам думал оставить. Земля хорошая, плодородная, мягкая, родит сторицей. Каково?.. А твои руки сохой брезгуют...

Герак говорил мягко, тоном нежной, ласковой, сердечной укоризны. За его словами угадывалось затаенное страстное желание убедить сына.

Павел ничего не ответил. Он не глядел отцу в глаза, а, потупившись, быстро и нервно рвал травинки возле себя.

— Ты не думаешь вернуться? — спросил отец после долгого молчания.

— Нет! — твердо ответил Павел.— У меня другое в голове.

— Что?

— Хочу торговлей заняться в городе.

— Это куда умней, чем киснуть на твоей службе дурацкой. Только ведь для торговли нужен капитал.

— Я затем и приехал,— оживившись, сказал Павел.— Ты мне поможешь, папаша. Я хочу открыть магазин — вроде бакалейной лавки, только покрупнее.

— Опоздал, сынок,— со вздохом ответил старик, покачав белоснежной головой.— У твоего отца больше нет денег.

Павел побледнел. По спине его пробежал озноб. Отец не заметил его волнения. Просьба Павла изумила и обидела его. Задумчиво глядел он в землю, покачивая головой, словно старался удержать рвавшиеся наружу горькие слова.

— Ты же видишь, папаша, служба и мне опостылела. Она избаловала меня, сам понимаю. Я очень виноват и перед вами, и перед самим собой. Хочу теперь исправить свою ошибку, и вся моя надежда на тебя. Думал: он мне отец, он поможет. А ты вон что говоришь...

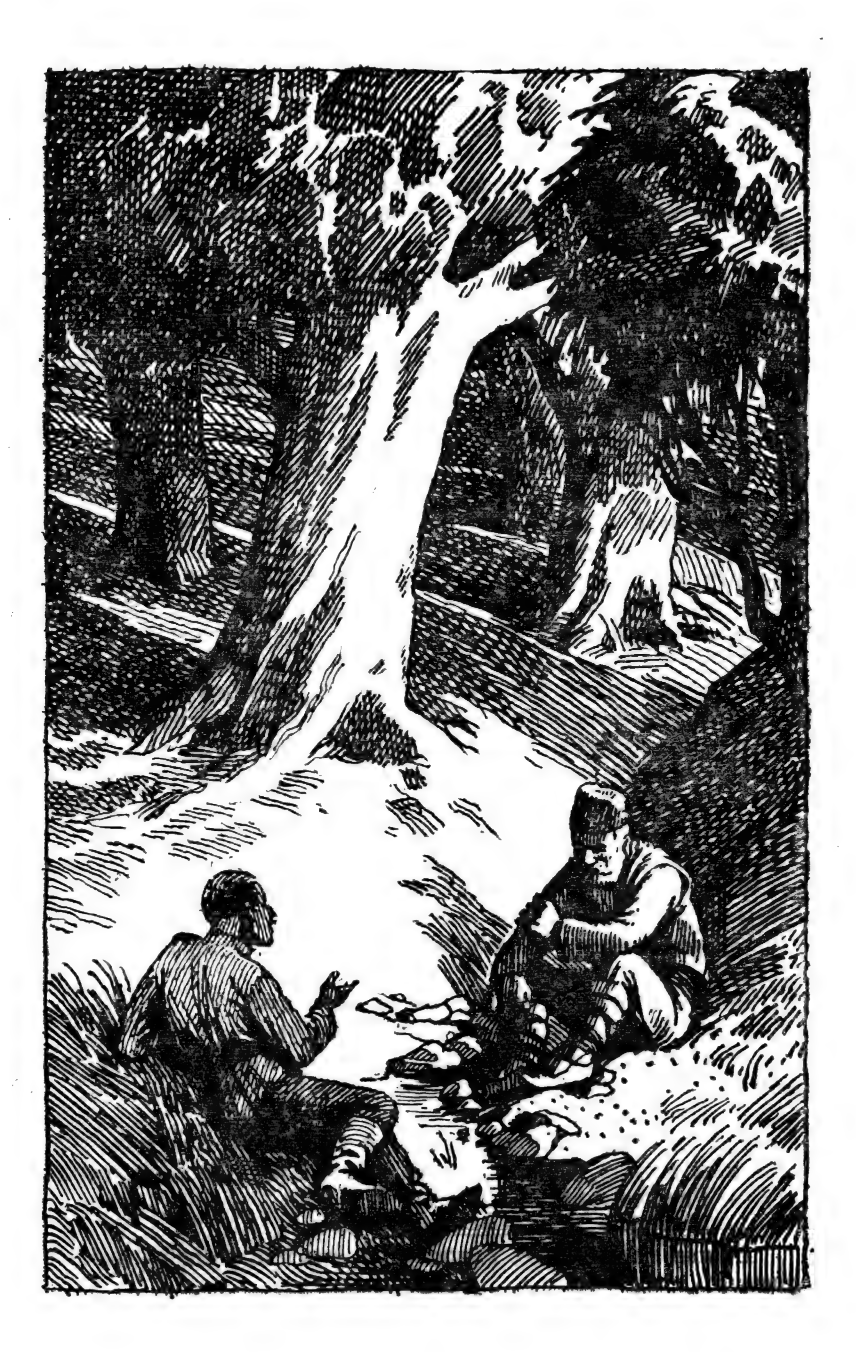
Старик почувствовал жалость.

— Сколько тебе надо? — спросил он.

— Пять тысяч левов...

— Пять тысяч левов! — удивился Герак.— Да ты знаешь, что такое пять тысяч левов?

Старика задело за живое. Он тщательно скрывал от всех, что у него есть деньги. И теперь ему показалось, что сын изобличает его, прося такую сумму.



— Пять тысяч левов! Пять тысяч левов! — повторял он.— Вы что? За миллионера меня принимаете? Откуда у меня может быть пять тысяч левов? Я в глаза не видел таких денег.

— Коли нету, заложи часть имущества и возьми из земледельческого банка. Только ты можешь помочь мне, папаша!

— Как? — перебил отец, вставая.— А что скажут твои братья? Нешто они допустят? Ты сам не знаешь, что говоришь, сынок!

— А нельзя,— твердо сказал Павел и тоже встал,— а нельзя, так я опять поеду в полк и пропаду на этой службе. Без твоей помощи я не могу сделать такого шага.

Отец с сыном сами не заметили, как тронулись в обратный путь, вышли из долины и направились через жнивье к селу.

Огромное огненное солнце наполовину уже скрылось за горным хребтом.

Они шли рядом, плечом к плечу, и молчали. Павел видел, что отец, не глядя по сторонам, курит и нервно покусывает кончик уса.

В село со всех сторон возвращались жнецы, усталые, измученные работой и зноем. Впереди, широко шагая, шли мужчины, а позади, далеко отстав от них, тащились женщины, обожженные солнцем, подурневшие, с разной поклажей или с маленькими детьми на руках. Тут и там девушки запевали песню, но тотчас с громким смехом обрывали ее. Поля погружались в сон; несжатые полосы, освеженные вечерней прохладой, подымали колосья к небу, как бы вздыхая с облегчением. Запоздалые голуби парами быстро улетали в лес, сытые и довольные.

Павел с отцом вошли в село. Вдруг старик остановился.

— Ты хорошо обдумал это дело, Павел?

— Кабы не обдумал, не заговорил бы.

— Ладно. Я дам тебе эти деньги, но ты дай мне слово, что никому не скажешь об этом. Даже братьям!

— Не скажу никому!

Тут их нагнал Божан верхом. Кинув на них подозрительный взгляд, он придержал лошадь и сердито спросил:

— Где это вы пропадали?

— Заболтались у родника...

Божан недовольно хмыкнул и, стегнув лошадь, поехал вперед.

VII

Лил дождь. Уже два дня, как прекратились все работы. Мокрое поле отдыхало; осиротевшее жнивье, утратив свой золотистый оттенок, потемнело. Дороги развезло; мужики, словно мухи, набивались в корчмы, пили и толковали о ненастье да о преющих в поле снопах и гниющих крестцах.

Божан прилег у себя в горнице. Он жаловался на простуду. Жена его месила тесто, Петровица стирала под навесом, а Элка хлопотала по дому. От скверной погоды Божаница с Петровицей стали еще злее; они поругались из-за какого-то пустяка и не разговаривали друг с другом. Йовка сидела на галерее; облокотившись на перила и подперев голову рукой, она глядела, как моросит дождик, и уносилась на крыльях мечты в свое таинственное, неземное, счастливое царство. Вокруг нее играла детвора, забавляясь белыми камешками с речного берега.

На сухом месте, под стрехой, Петр чинил колесо. Он был без шапки и весь ушел в работу. Павел сидел на ступеньке лестницы и в десятый раз перечитывал только что полученное письмо. Подписанное какой-то Любицей, оно начиналось нежными излияниями не то на сербском, не то на болгарском языке, а кончалось угрозой: «Ты, болгарская свинья, не воображай, что, коли без денег явишься, я тебя приму». Всякий раз, дойдя до этой фразы, Павел скрежетал зубами, так что видно было, как у него двигаются челюсти. И все же он, казалось, был доволен и никак не мог начитаться.

Вдруг из маленькой двери корчмы вышел отец. Остановился на пороге и страшным голосом закричал:

— Вот... теперь... и до этого дошло! И до этого, да?

Лицо его было мертвенно-бледно, глаза широко раскрыты, волосы всклокочены. Сильно взмахивая руками, он в отчаянии стал бить себя по лбу и в грудь.

— Будь он проклят! Будь проклята душа его! — дико стонал он, уже не в силах кричать, словно его душила какая-то неодолимая сила.

Йовка, вырванная из мира грез, увидев деда в таком состоянии, с воплем ужаса вскочила и убежала. Павел и Петр кинулись к старику через двор, подхватили его под руки.

— Прочь, прочь от меня! — закричал он, стараясь вырваться.— Вы мне больше не дети! Обворовать отца! Будьте прокляты, будьте прокляты!

Братья переглянулись. Поняв, чем вызвано отчаяние отца, они остолбенели, не зная, что ему сказать. Старик повис у них на руках, потом рухнул на порог, как свалившийся со старой стены камень.

— Обокрали, обокрали! — опять застонал он, схватившись за голову.

Тут к нему подбежали в слезах Петровица, Божаница, Элка. Дети, уцепившись за материнские юбки, тоже заревели. Маленький Захаринчо и хворая Йовка, обхватив колени деда, рыдали навзрыд. Они не знали, что случилось, но страдание дедушки потрясло их.

Пришел и Божан.

— Что такое? В чем дело? — испуганно спросил он.

— Кто-то обокрал папашу,— плача, ответила ему жена.

— Известно, кто! — многозначительно промолвил Божан, бледный, дрожащий.

— Кто? — крикнули Павел и Петр в один голос.

Старик сразу выпрямился. На это у него еще хватило сил, хотя он весь дрожал.

— Слушайте, вы! Это ваша работа,— обратился он к сыновьям.— Верните мне деньги! В церкви вас прокляну. Вы у меня пятьсот золотых взяли. Верните, слышите? Кто взял, пусть вернет. Я прощу. А не то — в церкви прокляну за обедней...

— Кто взял, должен вернуть,— сказал Божан, глядя на Павла злобным взглядом Каина.

— Ты что? Меня обвиняешь? — гневно воскликнул тот и, задрожав от обиды, замахнулся на Божана. Элка, взвизгнув, обхватила мужа:

— Павел, Павел, не надо... Ради бога!

Павел оттолкнул ее. Петр встал между братьями.

— Ты не с добром сюда приехал! — кричал Божан.— Да еще руку подымаешь? Разбойник, грабитель!

— Нет, Божан,— обернулся к нему Петр,— не Павел, а ты, хитрая лисица! С каких пор подстерегаешь! Неужели ты думаешь, мы не видим?

Петр размахнулся и изо всех сил ударил Божана по голове. Женщины подняли визг на все село. Отовсюду начал сбегаться народ. Из-за ограды стали высовываться головы любопытных. Павел и Петр повалили Божана в грязь, и на него посыпался град ударов. Вокруг вопили женщины и дети. Элка рыдала над Йовкой, лежавшей без чувств. А дед Йордан, вырываясь из рук удерживавших его соседей, кричал:

— Деритесь, собаки! Перебейте друг друга! Лучше б вам на свет не родиться!

По улице в тревоге бежали люди.

— Что случилось? Что за крик?

— Гераковы друг друга колотят!

— Старика обокрали!

— Это Божанова работа, Павлу и Петру такого дела не поднять.

Некоторые громко смеялись.

Появились староста и полевой сторож с небритой щетинистой физиономией и с тяжелой «крымкой» за плечом. Они увели Герака в корчму и стали его допрашивать. Рядом стоял дедушка Матей Маргалак; по белой бороде его текли слезы. В корчме было темно и душно. С потолка свешивались длинные, тяжелые от пыли нити паутины. Герак подвел старосту к своей постели, сдернул пестрое одеяло и отодвинул одну из плит, которыми был выстлан весь пол. Под нею оказалось узкое углубление — такое, чтоб можно было руку всунуть, тщательно оштукатуренное и пустое.

— Вот,— промолвил в отчаянье Герак.— Тут я держал свое богатство: пятьсот золотых. Монетку за монеткой сорок лет собирал. А теперь... Будь они прокляты!

— Кто же, по-твоему, мог это сделать, дедушка Йордан? — спросил староста.

— Кто! Почем я знаю? Верно, Божан, убей его бог! Он тут все вертелся. А вчера больным прикинулся. Надо у него обыскать.

Староста, сторож и дед Йордан, взяв с собой Павла и Петра, пошли обыскивать горницу, в которой жил Божан. Все там раскидали, взломали два сундука, открыли шкафы, лазили на чердак, но ничего не нашли.

Божан сидел под навесом, на дышле одноколки, с окровавленной повязкой на голове и молчал. Рядом сидела его жена с плачущим ребенком на руках и сыпала проклятьями. Глаза у нее покраснели от слез. И без того некрасивое лицо ее в волосатых бородавках было искажено гримасой, которая делала его еще безобразней. Ее хриплый, плаксивый голос раздавался на все село:

— Чего вы у нас ищете, чума вас задави? Что мы, разбойники, что ли? Коли были деньги, берег бы! А этот вот, с саблей, не с добром приехал!

В толпе у ворот посмеивались. Все были убеждены, что отца обокрал Божан. Глядя на то, как он сидит под навесом, понурившись, с повязанной головой, народ толковал:

— Ишь лисица! Святым прикидывается!

Староста и Герак пошли в управление и долго беседовали там с глазу на глаз. После этого дедушка Йордан вернулся домой, опустив голову. Все уступали ему дорогу и провожали его соболезнующими взглядами. Но он ни на кого не смотрел.

Мало-помалу крестьяне разошлись по домам. У ворот дома Гераковых осталась только кучка испуганных и любопытных ребят.

Петр и Павел вошли в корчму. Вид у них был подавленный, печальный, словно они возвращались с похорон. Петр, сжимая кулаки в карманах, говорил обступившим его с сочувствующим любопытством крестьянам:

— Мне не денег, а старика жаль. Разорили его! Да и то сказать: ну кто нынче деньги в земле держит?

— Они ведь там упырями становятся! — насмешливо вставил один пьяница.

— Оттого-то я своих никогда в земле не держу,— заметил щуплый Ило Тырсиопашка, последний бедняк на селе. Он был до того оборван, что даже уши у него смахивали на лохмотья.

Слова его всех рассмешили. Он сам улыбнулся и отошел, продолжая отпускать шуточки.

Павел облокотился на стойку и завел длинный таинственный разговор со старостой. Позади них толпилась беднота, почесываясь, друг друга подталкивая и стараясь хоть что-нибудь да услышать.

Вечером дождь перестал. Тучи стали расходиться; выплыла луна — чистая, красивая, сияющая, будто прямо из бани. Скоро все попряталось по домам и затихло. Слышались только пьяные выкрики Ило Тырсиопашки, вопившего на пороге своего дома:

— Караул, обокрали! Плакали мои денежки!

При этом он громко смеялся зловещим, ехидным смехом, раздиравшим ночную тишину, словно крик филина.

VIII

Павел уехал, не дождавшись конца отпуска. Жизнь в родном доме стала для него нестерпимой. Перед отъездом он пошел проститься с отцом, который лежал в темной корчме и стонал, как раненый.

— Прощай, папаша, не убивайся так,— сказал Павел, прослезившись.— Мы тебя не оставим. Я подам об увольнении и вернусь.

Старик недоверчиво покачал головой и ничего не ответил. Отвернувшись к стене, он опять застонал.

Петр с женой и детьми проводили Павла за ворота; Элка и Захаринчо шли сзади. Когда Павел, попрощавшись, подошел к лошади, Элка заплакала; слезы ручьем полились у нее по щекам.

— Ну, ну, не плачь,— сухо промолвил Павел, которому это было, видимо, неприятно.

Он ущипнул сына за щечку, сел на лошадь, еще раз сказал: «Прощайте»,— и тронулся в путь. Следом за ним заковылял на своих слабых ногах дедушка Маргалак. Он пошел пешком на станцию, чтобы привести обратно лошадь.

Какая-то тяжесть навалилась на всех в доме Гераковых. Словно украдены были не деньги старика, а честь и достоинство семьи. Божан подал на братьев в суд за побои. Ему не так уж сильно досталось, но он не вставал с постели и притворялся жестоко избитым. Петр вел все дела один. Старик целый день безвыходно сидел в пустой корчме. Его больше ничто не интересовало. Он или стонал, лежа в постели, или молча ходил взад и вперед по горнице, в глубокой задумчивости, удрученный горем. И звук его медленных, тяжелых, мерных шагов раздавался глухо, таинственно в этой маленькой пустыне. Ему все казалось, что кто-то, крадучись, ходит за ним, и он то и дело быстро оборачивался в испуге. Он ни с кем не разговаривал. По вечерам и в обеденную пору в корчму приходила Элка и приносила ему еду, как заключенному. Она всем сердцем жалела старика и все хотела заговорить с ним, но он упорно молчал. Как-то раз она послала к нему Захаринчо. Ребенок никак не мог открыть дверь и позвал:

— Дедушка, дедушка, открой мне!

Старик впустил внучонка, взял его на руки и долго гладил по головке, смотря полными слез глазами.

Чем больше думал Герак, тем сильней убеждался, что деньги украл Божан. Зная жестокосердие сына, он не надеялся, чтоб тот их вернул.

Он решил проклясть вора в церкви, но, когда наступил момент сказать об этом священнику, отцовское сердце сжалось от боли, и он промолчал.

Обстановка в доме стала невыносимой. Подозрению и преступлению не ужиться под одной кровлей. Вражда и обида, воцарившиеся в семье, тяготили всех. Божаница и Петровица, связанные между собой работой по дому, глядели друг на друга, как заклятые враги. Они даже детям

не позволяли играть вместе. Между ними легкой тенью, странным, бесплотным призраком безмолвно мелькала Элка. Она молча, глубоко страдала. По вечерам, дождавшись, когда все лягут, она шла в горницу к Йовке. Больная сидела на постели, худая, бледная; казалось, под одеждой ее совсем уже нет хрупкого тела. В горнице царил таинственный полумрак, было чисто, тихо. У изголовья стоял зеленый глиняный кувшин. Больше ничего. Перед иконостасом теплилась лампадка, и дрожащая кружевная тень отворенной резной дверцы перед иконой покрывала чуть не полгорницы. В открытое окно был виден освещенный луной двор. Все предметы, вместе с их неподвижными тенями, там как будто спали: пустая телега с торчащим из боковой решетки стрекалом, прислоненная к крыше навеса лестница, веялка, кол посреди гумна, большая сосна с лежащей под ней и жующей жвачку буйволицей...

Элка тихо садилась у постели больной, нежно гладила ее по бледному лицу.

— Нынче ты лучше выглядишь, сестрица...

Йовка улыбалась так, словно перед ней было святое видение, и устремляла неподвижный взгляд в темное окно.

— Мама опять ругала тебя,— с виноватым видом говорила она.

— Ничего, ничего, я на нее не сержусь,— отвечала Элка.

— Что слышно, тетя? Правда — это папа взял дедушкины деньги? — спрашивала Йовка, искоса кидая на Элку тревожный взгляд.

Душа ее была полна смутного страха.

— Болтают люди, бога не боятся.

Обе долго молчали, уйдя каждая в свои одинокие, печальные мысли. Потом сидели, обнявшись, и плакали. Плакали тихо, горючими слезами, облегчающими, сладкими.

Старый Герак видел, что совместная жизнь семьи стала невозможной, и решил разделить сыновей.

После жатвы он созвал видных жителей села и прежде всего разделил снопы поровну на четыре части: одну для Божана, другую для Петра, третью для Павла, а четвертую оставил себе. Таким же образом разделил он и двор. О пахотных участках и лугах метали жребий. Дом, просторный, с двумя отдельными лестницами по обе стороны, он разгородил пополам и одну половину отдал Божану, другую Петру. А себе старик взял корчму с прилегающей к ней частью двора, к которой присоединил и часть, предназначенную для Павла. Элку и Захаринчо он взял к себе.

Дележ был справедливый и ни у кого не вызвал недовольства. Божан на другой день отгородил свой двор плетнем, быстро устроил гумно и нанял батрака. Он был доволен и счастлив. Все его желания осуществились. Целый день ходил он без шапки по двору, измерял, отдавал распоряжения и громко кричал на жену и детей. Прохожие останавливались на дороге и, заглянув за ограду, говорили:

— Теперь он будет царствовать, а другие станут его рабами.

Божан молотил и ссыпал зерно в амбар с лихорадочной, ненасытной жадностью. Он собирал колосья, застрявшие в плетне, и зерна, осыпавшиеся на землю. С бранью прогонял воробьев, пугливо отстаивавших свою крохотную долю. Крича и ругаясь, обрушивался на монахов и нищих, просивших подаяние в виде горстки зерна, которого бог послал ему полное гумно, и долго не мог успокоиться, как будто на него напали разбойники.

По вечерам он сидел дома один и при свете очага, с помощью большого плотничьего карандаша, делал бесконечные подсчеты, озираясь по сторонам: не видит ли кто?

Он никуда не ходил: боялся лишний грош потратить. Собирал яйца по насестам и в праздники сиднем сидел дома, как в засаде, ожидая, когда послышится крик Моше-куровода и можно будет продать эти яйца ему. Он долго с ним торговался, спорил, сердился и, получив деньги, дрожащими руками по три, по четыре раза пересчитывал их: все опасался, как бы тот не надул.

Алчность его вошла в поговорку. Среди крестьян о ней стали ходить целые истории. Ило Тырсиопашка клялся, что видел, как Божан подобрал несколько валявшихся на дороге арбузных корок и, смакуя, съел то, что ему удалось соскоблить с них ножичком.

У Петра было тяжело на душе.

На свой собственный новый очаг он смотрел без радости. Сердце его наполняла бессильная зависть к Божану. Прежде, когда Петр надеялся, что и ему перепадет кое-что из сказочных сокровищ отца, широкая натура его не знала забот,— он был спокоен.

Но теперь!

Теперь у него была только земля, просторная и неуступчивая,— земля, с которой надо бороться. Труд — и ничего больше. А легкий птичий нрав его жаждал привольного, бездумного существования. Труд пугал его. Петр глядел на эту обширную, поросшую бурьяном землю, взы-

вающую к небу о благодати, и мысли его носились над ней, черные и безрадостные, словно воронья стая.

Он начал задумываться, сильно запил. Мечты окончательно убили в нем всякое желание работать. А пьянство сделало совсем безвольным.

Жена ходила разыскивать его по корчмам, тащила домой, сердилась, жестоко бранила. Люди смеялись и шутили над ее бедой, а она оправдывалась, как виноватая, размахивала руками и, обращаясь ко всем, громко говорила:

— Да что ж это такое? Все на меня одну свалил. И никто мне не поможет. Дети еще малы, ни к какой работе не пригодны.

IX

Вскоре после отъезда Павла Элка страшно изменилась, исхудала. Поблекшее лицо ее приобрело желтый, болезненный оттенок. Вокруг глаз появились большие темно-коричневые круги. Работала она с утра до ночи, но было видно, что через силу. Ее красивое, гибкое тело изнемогало, снедаемое каким-то недугом, ноги подкашивались на ходу, и она клонилась, словно вот-вот готовая упасть. У нее пропал аппетит,— она ничего не ела: проглотит два-три куска и встает из-за стола.

Это была уже не Элка, а ее странная блуждающая тень, с каждым днем бледнеющая, тающая.

Первое время она крепилась и никому не жаловалась. Когда ей говорили, что она похудела, спрашивали, что с ней, она, стараясь улыбнуться, отвечала, что чувствует себя хорошо. Но на сердце у нее был камень. Сожаление, с которым на нее глядели и близкие и чужие, сокрушало ее.

Наконец силы совсем ее оставили. Она еле могла донести ведра с водой от источника до дому: ей необходимо было отдыхать по дороге. Часто она падала где-нибудь в углу — в доме или под стрехой, свертывалась клубком и долго лежала, болезненно, страшно подвывая, словно побитая собака. А иногда затворялась у себя в горнице и лежала там, беспомощная, раздавленная, плача и с невыразимой горечью повторяя:

— Господи боже, господи боже, прибери меня поскорей!

Эти глухие стоны наполняли мрачную тишину корчмы. Словно глубоко в ее фундаменте был зарыт живой человек.

Старый Герак медленно выходил из своей темной, печальной горницы, уже покинутой золотым духом его сокровища, осторожно отворял дверь в ту, где плакала больная, и, остановившись на пороге, спрашивал убитым, бессильным голосом:

— Что с тобой, милая? Ты больна? Все плачешь да стонешь... Почему не скажешь, что́ болит?

— Плохо мне, плохо! Умру я! — с растерзанным сердцем, заливаясь слезами, глухо отвечала Элка и умолкала.

Всю работу по дому пришлось взять в свои слабые руки дедушке Маргалаку. Он таскал воду, подметал двор, встречал и провожал скотину, доил коров, иной раз даже месил тесто. С нежностью ангела-хранителя заботился он и об Элке, и о хозяине, и о Захаринчо, оплакивая их несчастья. Время от времени Петровица приходила помочь ему, навестить Элку и свекра, чем-нибудь их попотчевать. Йовка лежала дома, все время думая о тете Элке и о дедушке. Ей тоже хотелось навестить их, но мать не пускала, и она скорбела и по целым дням молилась перед иконостасом, обращая к кроткой матери божьей просьбы о ниспослании всем мира и выздоровления.

Относительно болезни Элки сперва ходили разные слухи. Говорили, что она порченая, что это Божаница ее околдовала, что ее отравил муж, Павел, чтобы жениться на другой. Но потом кое-кто догадался, в чем дело: Павел заразил жену дурной болезнью, которую она скрывала. И женщины в ужасе шепотом передавали друг другу это, жалея больную, но не имея смелости и стыдясь ее посещать.

Элка совсем перестала выходить из дому. Съежившись на постели, в углу у окна, повесив голову и скрестив руки на груди, она сидела молча и неподвижно, как каменная.

К ней ходили только две-три старушки — близкие родственницы, приносившие ей гостинцы. Засунув руку в широкие рукава грязных рубах, они переступали порог медленно, осторожно, будто пришли к умирающей, садились с унылым видом прямо на пол у ее постели и, опершись морщинистым подбородком на согнутые колени, только охали да с зловещей безнадежностью качали головой, словно богини судьбы.

— Бедная Элка, красавица наша, на кого ты стала похожа!

Эти посещения терзали Элку. Она стыдилась своих доброжелательниц и ненавидела их. Ей хотелось быть одной, исчезнуть, умереть в одиночестве.

Она непрестанно думала о Павле. Но в ее воображении был не тот Павел, не грубый муж, исковеркавший ее молодость, опозоривший ее и погубивший. Она думала о другом Павле, любящем, далеком и желанном, которого она, кажется, на самом деле и не видала, который только промелькнул когда-то в ее чудных девических сновидениях. И, уйдя в воспоминания, так похожие на мечты, она забывала на миг свои мученья и приветливо улыбалась далекому милому образу. Эта мимолетная улыбка на мгновенье озаряла ее лицо, как последний луч солнца озаряет вершину одинокой березы в лесу. Элка замирала, стараясь подольше удержать этот образ в своем воображении, и пересохшие губы ее шептали:

— Павел, Павел! Милый Паля!..

Наступила осень. Ветер время от времени закидывал в горницу Элки горсть желтых листьев. Дети и девушки украшали себя жесткими осенними цветами, болезненно-яркими и печальными. Старая сосна жалобно шумела, а по ночам шипела, словно в ветвях ее боролись змеи.

Элка следила со своей постели за тем, как вдали вокруг горных вершин собираются темные тучи и угрюмо глядят на поля. Душу ее терзала невыносимая мука. Она стала быстро таять и угасать.

Как-то раз к ней пришел Петр. Он был небрит, оброс щетиной до самых глаз; усы у него обвисли и на концах побелели, словно колосья. От него даже издали пахло водкой. Войдя, он, сам не зная почему, снял шапку. Элку это испугало. Она знала, что шапку снимают не при больном, а при покойнике.

— Элка,— взволнованно сказал Петр,— так нельзя. Я завтра запрягу волов и отвезу тебя в город, в больницу. Зачем мучиться?

— Нет, нет, не надо! Я не хочу! — застонала Элка.

Самое слово «больница» подействовало на нее устрашающе.

— Да нельзя же так. У докторов есть лекарства на всякие болезни. Ты нам не чужая. Разве мы можем тебя бросить, чтоб ты погибла?

— Не хочу, не хочу! — в ужасе воскликнула Элка, с мольбой подняв на Петра свои лихорадочно горящие прекрасные глаза.

Она забилась в угол, словно спасаясь от опасности.

— Ну чего ты?.. Почему не хочешь? Там ведь не зарежут, а лечить будут...

— Не хочу, не хочу! Ни за что!

Петр потоптался, помял в руке шапку, почесал затылок и ушел, промолвив:

— Я тебе добра хотел... Как знаешь...

X

Наступили последние дни осени. Из-за нахмуренного горизонта выплывали серые тучи; целые дни лежали они на горах и с тяжелой думой глядели в поле. На обнаженных ветвях деревьев трепетали умирающие последние листья и падали с сухим вздохом. По ночам подымался ветер и, бешено воя, мчался во мраке по пустым сельским переулкам, пел и плясал вихрем на площади, на неогороженных бедняцких дворах, колотил в ставни и двери, бегал домовым по крышам, завывал, как безумный, в печных трубах и безжалостно грозил бедноте.

Элка безвыходно сидела у себя в горнице, сжавшись в комок у окна, сложив руки на коленях, в низко надвинутом на лоб, как у вдовы, черном платке. Полузакрыв глаза, она глядела в окно — тоскливо, безнадежно. Мысли ее носились, как разорванные тучи; в них не было ни одного проблеска, ни кусочка радостной небесной лазури. В доме тихо, как в пропасти. Даже висящие на крючьях ведра позванивают от напряжения, не в силах выдержать этой тягостной тишины. Время от времени слух Элки улавливал мышиный шорох на чердаке и легкие шаги кошки по черепичной крыше. Герак не выходил из дому. Захаринчо играл на улице с ребятишками. Только дедушка Маргалак бродил, как отшельник, по этому мрачному дому, который казался необитаемым.

Днем было все-таки легче. Но по ночам Элка испытывала страшные мучения. Как только на улице исчезала тень от крыш и горницу наполнял мрак, душу молодой женщины охватывала смертельная тревога. До рассвета лежала она на спине, не в силах уснуть, глядя широко открытыми глазами во тьму, чуть озаренную тусклой лампадкой, и думы одна другой печальней томили ее. Ночь тянулась долго. Снаружи ни малейшего шума. Только иногда хлопнет ставня. Беспокойно зашуршат оголенные ветви деревьев. Собака взвизгнет спросонок. Вот и все. Элке казалось, что ее живой закопали в могилу, и она начинала глухо стонать.

А из соседней горницы слышатся то тяжелый вздох

старика, то его медленные, размеренные шаги. Долго ходит он взад и вперед, словно зверь в клетке.

В одну из таких ночей дедушка Маргалак, спавший у очага, вдруг проснулся. Ему показалось, что кто-то вышел из дома, хлопнув дверью. За окном рыдала встревоженная ночь. Старик встал, зажег свечу. Грозно ревела буря, стены дрожали под напором ветра. Старик тронул рукой дверь. Она была отперта. Он поспешно открыл ее. Вихрь ворвался в дом, взъерошил его седые волосы, погасил свечу. Дедушка Матей выглянул наружу. Во мраке мелькнули белые рукава! Женщина шла к воротам. Он кинулся обратно, заглянул в горницу Элки: в тени иконостаса сладко спал Захаринчо; постель Элки была пуста. Страшная догадка смутно промелькнула в уме старика, наполнив его сердце ужасом и жалостью. Забыв даже взять шапку, он выбежал во двор, оттуда — на улицу. Всюду тьма. Буря неистовствовала; холодный ветер сбивал старика с ног, трепал ему волосы, бороду. Глаза его заволокло слезами, он ничего не видел. Деревья вокруг шумели, пригибаясь чуть не до земли. По небу страшными демонами неслись черные тучи. На мгновенье в прорыве между ними показался мертвенно-бледный, холодный лик луны, осветивший безмолвное село. Далеко впереди старик снова увидел белые рукава женщины, мучительно рвущейся вперед, наперекор ветру.

— Молодка! — что было силы крикнул дедушка Маргалак.

Буря заглушила его старческий голос.

— Молодка! — повторил он, но даже сам себя не услышал.

Тогда он побежал за ней. Ветер в бешеном порыве бросился ему навстречу, осилил, остановил его, заставил повернуть назад. Черные демоны опять заслонили луну. Старик собрался с силами и пустился дальше. Он бежал на своих слабых ногах, наклонившись вперед, словно хотел прорвать головой стихию и взлететь. Глаза, вперившись во мрак, ничего не видели. Он задыхался, и старое сердце его страшно билось в изнеможении. Но Маргалак не падал. Он бежал против ветра, спотыкаясь на неровной каменистой дороге и делая нечеловеческие усилия, чтобы закричать, послать спасительный зов одинокой сиротинке, стремящейся в ночном мраке к своей погибели.

— Молодка!.. Элка!

Но напрасно раскрывались его губы: с них не слетало ни звука.

Темные тучи снова зареяли в небе, словно большие черные знамена, изорванные в боях. Из-за них выглянула бледная луна, и глазам дедушки Маргалака открылось взметенное бурей пустое поле.

Старик был уже за околицей. Он остановился, глядя вперед на дорогу. Где-то там, словно призрак, мелькала фигура Элки, с трудом шагающей против ветра. Вот она свернула в сторону, к мельнице. Сквозь вой ветра издали доносился шум воды у плотины. Жалость и отчаяние душили старика. К кому обратиться за помощью? Кого позвать? Подняв свою седую голову и воздев в отчаянии костлявые руки к мрачному небу, он воскликнул:

— Боже милостивый, спаси невинную душу!

В небе совершает свой путь холодная безучастная луна. На земле таинственно и безумно пляшут тени придорожных деревьев. В поле неукротимо бушует ветер, и где-то во мраке хохочут бешеные вихри.

Старик видел, как Элка быстро побежала под гору и пропала за темными деревьями.

— Молодка! — еще раз крикнул он и со всех ног кинулся вдогонку.

Ветер немного ослаб, и бежать стало легче. Но старик изнемогал, у него подкашивались ноги.

Шум мельничной запруды раздавался теперь близко. Старик уже видел огромные вязы у плотины. И среди них — самодиву с белыми рукавами, которая, скрестив руки и наклонив голову, смотрит в воду.

— Молодка!

Старик бежал, обезумев от отчаяния, махая руками, словно для того, чтобы рассеять мрак. Ценой нечеловеческих усилий, хватаясь за кусты терновника и ежевики, он поднялся на небольшой холм и наконец очутился среди вязов. Там, скрестив руки и пристально глядя в неподвижную темную воду, стояла как вкопанная Элка.

— Молодка! — крикнул Маргалак и, обессиленный, сел на землю.

Элка, вздрогнув, обернулась. Старик из последних сил протянул к ней руки, стараясь что-то сказать.

— Дедушка! — вскрикнула она, кидаясь к нему.

— Молодка, дитятко! Что ты тут делаешь? — Он схватил ее за руку.— Сядь, дитятко, сядь. Уморился я. Никак дух не переведу.

— Я хочу умереть, дедушка! Сил нет жить больше... Нет мне места на белом свете.

— Не говори так, милая, не греши, дитятко,— промолвил дедушка Маргалак, погладив ее по голове, как ребенка.

Из глаз Элки брызнули слезы. Эта родственная, сердечная ласка тронула ее больную, исстрадавшуюся душу; теплое участие старика дало ей почувствовать, что она не одинока. Она заплакала от умиления.

— Хочу умереть, дедушка Матей, хочу умереть!

— Слушай, Элка, не говори так. Подумай о ребенке. На кого ты его оставишь? Как он будет жить без матери? Уповай на всевышнего, он пошлет тебе исцеление.

— Никто не поможет мне, дедушка.

— Неправда, дитятко. Послушай меня. Я свожу тебя в Сеславский монастырь,— ты помолишься там чудотворной иконе пресвятой богородицы. Она, заступница наша милостивая, вылечит тебя, исцелит.

— Спасибо, дедушка Матей, спасибо. Жизнь моя кончена... Кому я нужна? Кто обо мне пожалеет? — промолвила Элка, заливаясь слезами.

Босая, с непокрытой головой, она села возле дедушки Матея, дрожа от холода. Он накрыл ее своим зипуном.

— Поплачь, голубушка, поплачь — тебе легче станет...

Ветер бушевал с прежней силой. Старые вязы, печально шумя, махали голыми сучьями. Листья и сухие ветки падали на покрытую рябью поверхность запруды, отражавшую мертвенный лик луны.

— Ну как я буду жить, дедушка? Мне людей стыдно,— всхлипывая, промолвила Элка, посиневшая и дрожащая от холода, истерзанная душевной мукой.

— Не думай об этом, дитятко. Все мы грешны, у каждого свое горе. Бог милостив. Выздоровеешь и про все свои страдания забудешь. Вырастишь сыночка, будешь на него радоваться. Только не отчаивайся, не теряй надежды...

— Спасибо, дедушка, спасибо...

— А теперь вставай, пойдем домой. Смотри, ты совсем замерзла. Вставай, дитятко!

Старик встал и помог больной подняться. Потом, взяв ее за талию и нежно поддерживая, ласково, отечески промолвил:

— Пойдем, милая, пойдем.

И они побрели обратно, словно два призрака — милосердия и страдания. Буря бесилась, трепала им волосы. Падающая с плотины вода дико бурлила. Тучи опять закрыли луну.

XI

Элка совсем слегла. Последняя надежда ее — приложиться к чудотворной иконе — не сбылась. Вскоре она умерла. Она лежала в простом деревянном гробу, навеки успокоенная, но страдание и в последний час не сняло своей печати с ее милого лица. Хоронили ее зимним днем, в распутицу. Земля тонула в грязи. Дед Матей, без шапки, вел лошадь. Белые, как снег, волосы его были всклокочены. На телеге, возле гроба, повязанная до глаз, сидела Йовка; она громко плакала, называя покойную самыми ласковыми именами. За телегой шли несколько старух да дедушка Йордан, подавленный горем. Его давно никто не видал, и теперь все удивлялись, какой он стал дряхлый, седой, слабый, как сморщилось его лицо. Он вел за руку Захаринчо. Ребенок шел медленно, утирая слезки рукой. Он не представлял себе отчетливо, что произошло, но общая скорбь и вопли тети Йовки, потрясли его до глубины души. Петр плакал, не сдерживая слез. Божана на похоронах не было. Он в это время огораживал свою полосу в поле. Когда похоронная процессия проходила мимо него, он снял шапку, как посторонний, и только она прошла — тотчас опять принялся за работу.

Герак остался теперь с одним Захаринчо да дедушкой Маргалаком. Он жил в полном уединении, никуда не ходил. Силы его таяли с каждым днем. Слух и зрение ослабели. Ноги не держали его. Зимой он целый день сидел дома, прижавшись к печке, и невозможно было понять, спит он или бодрствует. Весной, когда припекало, и летом он выходил во двор, ложился на горячие каменные плиты и целый день грелся на солнце. Петровица приносила ему еду, но сам он есть не мог — все проливал, прежде чем подносил ложку ко рту. Если его спрашивали, как он себя чувствует, отвечал не сразу, как бы не поняв вопроса, потом говорил, но так, будто речь шла о ком-то постороннем:

— Здоров... На солнце греюсь.

Глаза его ввалились, сузились и стали слезиться. Он как будто все время плакал.

Все им тяготились. Никто его не жалел. Только Захаринчо, который быстро рос, часто заходил к нему, спрашивал о том о сем, помогал ему встать.

— Спасибо, внучек, спасибо, мой милый,— говорил старик, гладя его по головке.

Как-то зимой Петр позвал Захаринчо, обвязал ему голову платком и сказал:

— Пойдем!

Захаринчо пошел за ним, не зная куда. Ему было восемь лет.

За околицей им повстречались крестьяне.

— Куда это вы? — спросили они.

— В город веду его, места искать,— ответил Петр, не останавливаясь. И прибавил: — За ним смотреть некому.

У мальчика сжалось сердце. Он молча заплакал. Слезы замерзали у него на щеках. Дорога извивалась по безбрежной снежной пустыне. Они шагали дальше. Дядя шел впереди; он спешил. Захаринчо плелся за ним, стараясь не отстать. На сердце у него был камень. Что-то душило его. Он шел как во сне, все более удаляясь от села, где оставались его сверстники, дедушка, тетки, большая сосна. Увидит ли он их еще когда-нибудь?

Через год от обширного двора Гераковых ничего не осталось. Он был поделен, разгорожен; на нем в беспорядке теснились недостроенные сеновалы, навесы, стога сена. Всюду лужи и кучи мусора. У самой лестницы, где Петровица устроила помойку, копались свиньи.

Петр срубил большую сосну: она мешала ему расширить гумно. Это священное дерево, чтимое прадедами, рухнуло под топором внуков и долго лежало в грязи.

Божан скупал чужие участки. Жадность его не знала границ. Йовка поправилась и стала девушкой на выданье, но выглядела еще слабой и хилой.

Павел сгинул. Никто не знал, где он, что делает.

А старый Герак совсем одряхлел. Он уже с трудом выползал наружу и, греясь на солнце, как старая змея, все жаловался, что холодно.

Как-то раз в теплый, ясный весенний день дед Йордан выполз из корчмы и улегся ничком на припеке. Маргалак, проходя мимо него, остановился о чем-то спросить. Старик лежал неподвижно. Над головой его жужжал целый рой мух.

— Йордан, Йордан! — позвал дед Матей, тряся его за плечо.

Дед Йордан не шевельнулся.

Маргалак наклонился, взял его за руку и, постояв, промолвил:

— Да он помер! Остыл совсем.

1904—1911

РАССКАЗЫ

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

КОСЦЫ

Спустилась чудная летняя ночь, прохладная, свежая. Бескрайняя фракийская равнина потонула во мраке, словно исчезла и погрузилась в глубокий сон под монотонный напев лягушек и цикад. Миром и покоем повеяло с высокого звездного неба. Земля обнажила жаркую грудь свою и замерла в истоме.

Марица тихо плескала свои мутные воды, скрывавшие утопленников, с ленивым спокойствием ширясь меж темных, поросших ивняком и ракитником берегов. Сыростью и холодом тянуло из ее таинственных глубин.

С прибрежных лугов донесся и потонул в тишине отчетливый мужской голос:

— Ан-дре-е-ей! Ан-дре-е-ей!

— Иду, и-дууу! — отозвался издалека другой.

Вскоре сверкнул огонь. Заплясали языки пламени. В их слабом, тающем во мраке свете замелькали человеческие фигуры. Это были пятеро крестьян, пришедших из-за гор с косой на плече искать работы в далекой Фракии, где травы созревают раньше.

Лазо, стройный, худощавый паренек, сидел на корточках у огня, подбрасывая сучья. Остальные, устав за день, лежали, закутавшись в бурки, у костра и молча наблюдали пляску огня. Старший, крестьянин лет пятидесяти, подперев голову обнаженной по локоть жилистой, с темным металлическим блеском рукой, задумчиво курил. Против него лежал Благолаж. Он все время шевелился, безуспешно стараясь укрыть короткой буркой ноги. Русые щетинистые усы его занимали пол-лица. Из-под густых, косматых бровей поблескивали умные, хитрые глаза.

— Что замолчал, Благолаж? Валяй дальше,— промолвил Лазо и, подложив в костер сучьев, тоже лег.

Благолаж погладил свернувшуюся возле него клубком белую собачонку, еще раз поправил на ногах бурку и начал:

— В некотором царстве, некотором государстве жила-была царевна. Писаная красавица, каких свет не видал! Волосы за ней тянулись, будто шелковая река, и горели, как золото. Глаза черные, как вот эта черная ночь. Каждый, на кого ни взглянет, прямо помирал от любви к ней.

— Эх! — вздохнул Лазо.

— Молчи! — прикрикнули на него.

— Все врет,— не унимался Лазо.

Благолаж посмотрел ему в глаза.

— Да ведь это сказка, парень.

— Враки... бабьи россказни! — сказал Лазо как-то робко, испуганно вглядываясь во мрак, где в нескольких шагах от них был виден в кустах ракитника черный силуэт осла.

— Это сказка, понимаешь? — твердо повторил Благолаж.— На что тебе правда-то? Может, рассказать о рваных портках деда Тодора либо о продавленной камилавке попа нашего? Или, к примеру, о нас, голи перекатной, что с косой на плече да кукурузной лепешкой в котомке целую неделю перли на сенокос во Фракию? Вот она, правда. А только на что она тебе, правда эта, будь она неладна?

— Ну, а небылицы, что ты тут нам рассказываешь, они мне на что? — возразил Лазо.

— Пущай небылицы, да любо-дорого послушать. Слушаешь, слушаешь — и позабылся... И начинает тебе небылица эта самая правдой казаться. Ушел весь в нее — и на сердце полегчало. Вот для чего нужны сказки нам. На то люди их и выдумали. И песни — на то самое... Чтоб позабыл ты о проклятой правде, чтоб понял, что ты — человек!

И Благолаж продолжал:

— Царевна эта была, прямо сказать, огонь. Три раза замуж выходила за трех царских сыновей, и все трое в первую же ночь умирали на руках у нее... волпами ее волос задушенные. Она самодивскими поцелуями своими, ровно змея подколодная, высасывала из губ кровь их алую — и пила!

Последние слова Благолаж произнес отрывисто, стиснув зубы, будто ножом пырнул. Послышались страстные

возгласы, протяжные и тяжелые вздохи. Лазо, ударив кулаком в землю, простонал:

— Ишь ведьма!

Зачарованные сказкой, косцы махнули ему рукой, чтоб молчал.

— А дальше? — в волнении спросил он.

— Чего ж тебе еще? — спокойно отозвался Благолаж.

— Ведьма! — опять вздохнул Лазо.— А я, Благолаж, согласен на такую смерть, ей-богу согласен!

— Ты? На такую?.. Ой, не верится что-то,— заметил один из косцов, вороша угли, и засмеялся тонким, визгливым смехом.

— У Пенки твоей тоже волосы золотые. А ты жив еще!

— Моя Пенка — другое дело... Она...

— То-то ты ее бросил да сюда притащился! У тебя, брат, видать, сердце очерствело. Месяца не прошло, как поженились, а ты уж сыт по горло и бросил...— вмешался Стамо, до тех пор молча о чем-то размышлявший.

Взгляд его был суров; на неподвижном лице играли отблески костра, как на камне. Он говорил низким, хриплым голосом.

— Это мое дело,— глухо ответил Лазо и запнулся.

— А ее дело будет найти себе другого, коли еще не нашла,— возразил Стамо.

— Этому не бывать,— с каким-то испугом ответил Лазо, вдруг уколотый смутным подозрением.

Наступило продолжительное молчание. Над догоревшими головешками, угасая, торопливо и бессильно трепетали последние языки пламени. Откуда-то издалека донесся жалобный крик, будто предсмертный стон сраженного пулей, взвился вверх громко, зловеще и, словно ударившись о небосвод, упал в таинственные воды Марицы, заглох и умер. Косцы испуганно переглянулись. В глазах — недоумение. Благолаж многозначительно поднял палец, долго прислушивался, наконец сказал:

— Сова...

В ракитнике беспокойно забрякал глухой бубенчик испуганного осла. Собачонка вскочила и залаяла в темноту. Таинственная тишина ночи стала какой-то зловещей.

Лазо глубоко вздохнул.

— Вздыхай, парень,— тебе есть о чем!.. Молодку в селе оставил,— заметил ехидно Благолаж и снова заговорил языком своих сказок:

— Горяча молодая кровь, ребята! И не дивитесь, что неверны молодые бабы, оставленные своими соколиками...

Знаете, что сказал монах Мисаил, сбривши бороду и скинув камилавку? «Что на голове у меня, говорит, то можно снять, а что в сердце — того не вырвать!» Окаянное сердце, так уж неладно оно устроено.

— Пенке это нипочем: у ней старые ухажеры найдутся,— откликнулся Стамо, потягиваясь.

— Да и сама хороша,— заметил лукаво другой.

Лазо опять тревожно поглядел в темноту. Жестокие слова Стамо ударили его в самое сердце.

Костер погас. Стало совсем темно. Все замолчали. Звезда скатилась, прочертив по небу огненную черту.

— Видно, какой горемыка богу душу отдал,— промолвил Лазо.

— Али молодуха к другому сбежала,— медленно произнес Благолаж и спросил: — А слышал ты, Лазо, песню про неверную Стоянову жену? Это уж тебе не небылица, как в сказке... Хочешь, спою?

— Все равно. Коли вы дураки такие,— ответил Лазо.

И тотчас в ночи зазвенел густой, мягкий, трепетный голос, полилась печальная, проникающая в душу песня. Слова ее, словно душистые пестрые цветы, сплетались в венок, низались одно к другому и с болью сливались в поток звуков, повествующий историю неверной Стояновой жены.

Молодой Стоян, уходя на другой день после свадьбы в солдаты, наказывал красавице жене, чтоб, коли любит его, не ходила по воду к Гургулову ключу. Но не успел он скрыться из вида, вспомнила Стояница о молодом Гургуле, прежнем своем возлюбленном. Нарядилась, заткнула за ухо букетик и с ведрами на коромысле отправилась к заклятому ключу.

...Встретил ее там Гургул молодой,
Сердце его заиграло в груди,
Чёрные очи загорелись огнем...

Вдруг Благолаж оборвал и, приподнявшись, спросил:
— Нравится тебе эта песня, Лазо?
Лазо не ответил.
— Спит,— сказал Благолаж, облокотившись на землю.
— Не то спит, не то плачет,— отозвался Стамо.
— Я бы на его месте нынче же отсюда ушел, вот те крест,— продолжал подзадоривать Благолаж.

Лазо лежал и думал. Насмешки товарищей вонзались ему в сердце острыми иглами. Тоска перехватывала дыхание. Все, о чем они говорили в шутку, подтрунивая над

ним, вдруг показалось ему возможным. Конечно, Пенка любит его, но... с глаз долой — из сердца вон.

Скажет: вчера только женился, а уж меня одну оставил, в дальние края ушел... И вот... Печальная история, о которой пелось в песне, заставила его мысленно перенестись в родное село. Там тоже есть ключ. Он скрыт в чаще за селом. Пенка его ходит туда каждое утро и каждый вечер.

Мучительный вздох вырвался из груди Лазо.

Текли ночные часы, погружая все вокруг в глубокий сон. Осел уж не позвякивал своим глуховатым бубенчиком. Белая собачонка, свернувшись, мирно спала у догоревшего костра, над которым чуть вспыхивали, тотчас угасая, бессильные огоньки.

Марица тихо плескала темные воды свои меж сонных берегов, рассказывая невнятные сказки ночи.

Косцы один за другим уснули. Костер совсем погас.

Только Лазо не спал. Шутки товарищей растревожили его юную душу, воображение рисовало ему картины, одну мучительнее другой. Вот он уже в деревне, возле Пенки. Он видит ее — тонкую, стройную, белую как снег. Она стоит на пороге дома, печально глядит на пыльную дорогу, что вьется по полям, убегая в дальние края. По этой дороге ушел Лазо и оставил ее одну. Оставил ради этих проклятых заработков... Трудные наступили годы, ничего не поделаешь! Завтра чуть свет она подымется и, легкая, как серна, пойдет по воду к роднику...

И там, может, повстречает... ах, уж известно кого!.. Он и в хороводе все около нее увивался. Парень не промах... Да и Пенка... баба ведь... Разве ей можно верить?

Вот оно. Среди темной чащобы затерялся родник. В зелени кустов белеет красивое лицо Пенки, и его ласкает мужская рука... чужая...

Лазо вздрогнул, вскочил на ноги.

«Что ж я здесь медлю!» — подумал он и сбросил бурку.

Ночь молчала. Только тихо, монотонно стрекотали кузнечики: Пенка, Пенка, Пенка...

Рано утром, как только косцов разбудил рассвет, они увидели, что Лазо среди них нету.

1903

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Горно Ровиниште — маленькая убогая деревенька, с приземистыми, покосившимися домишками, неприглядными на вид, небелеными, беспорядочно разбросанными среди неогороженных, заваленных мусором дворов, где с утра до вечера возятся озорные чумазые ребятишки. Широкое каменистое русло безымянной мелководной речки, наполняющееся лишь после ливней, тянется через всю деревню, придавая ей еще более убогий и печальный вид. Летом, когда речка совсем пересохнет и усеянное валунами русло накалится и побелеет, эта голая, почти вовсе лишенная растительности деревенька выглядит особенно уныло. И старая церковь с позеленелой черепицей, и низкая колокольня с продавленной крышей, и покривившийся деревянный крест над нею, и полузасохший тополь рядом, и желтые лица зобатых женщин, и песчаные ухабы на улицах — все навевает тоску и гонит вон из села.

Нынешним летом я проезжал через эту деревню, может быть, двадцатый раз в жизни, и она показалась мне еще безобразнее, чем всегда. Была страда. Нигде ни души. Пустые запертые дома печально и глухо молчали. Несколько полуголых грязных ребят лениво барахтались на улице в горячем песке. Слепая старуха сидела неподвижно в тени на завалинке, поминутно покрикивая на них,— и это было похоже на лай собаки, когда ее ударят. Перед одним из домов неподвижно лежал больной. За оставленной мельницей мелькнула и скрылась длинная фигура полевого сторожа с ружьем через плечо. Словом — глушь. Глушь и тоска.

День был тяжкий, душный. Солнце, упрямо остановившись посреди синего небосвода, жарило в отвес. Все изнывало от зноя. Затерянные тут и там среди огородов одинокие вязы и фруктовые деревья стояли безмолвно, опустив листья, словно в ожидании, что палящие солнечные лучи вот-вот расплавят их.

Я поспешно вышел из душной деревни и направился к ближайшему постоялому двору на шоссе. Над широкой равниной, окаймленной венцом далеких синих гор, дрожало адское марево. Томительное, гнетущее безмолвие царило в раскаленном воздухе. На полях, среди высоких хлебов, белели группы жнецов и жниц. Ни перепелиного свиста, ни песни жаворонка. Где-то далеко-далеко дружные девичьи голоса медленно затянули жатвенную песню.

Трепетный напев тихими волнами колыхался над полем, и трогательный и печальный, печальный до слез:

Солнце жжет, палит колосья,
Ветер жито осыпает,
Очи черные льют слезы.
Смилуйся, господь, над нами!

Я вошел на постоялый двор. И здесь то же запустенье, та же тоска. Корчмой служит низкое и длинное, как амбар, здание с чем-то вроде палисадника перед ним, и хоть стоит оно у самой дороги, унылый его вид не привлекает путников, так что постоянные посетители корчмы одни только жители Горно Ровиниште.

Внутри было прохладно. Неровный кирпичный пол был подметен и полит водой. Широкая стреха не позволяла солнечным лучам проникнуть в окна, и здесь царил успокоительный для глаз и как бы освежающий полумрак. В углу против двери стояла старая, засиженная мухами стойка, напоминающая клетку. За деревянной решеткой ее, среди рюмок и стаканов, виднелась голова спящего корчмаря-цинцара. В стороне, за низким столиком, громко спорили пятеро пьяных крестьян.

При моем появлении они замолчали. Вдруг из-за стола поднялся низкорослый, тщедушный человечек с маленьким, как у ребенка, но старым, сморщенным лицом, без малейшего признака бороды и усов. Этого безбородого в грубой домотканой одёже звали Марко. Он пользовался большой популярностью в округе, хоть был простым портным. Когда-то, еще при турках, он учительствовал и после освобождения все время хлопотал о пенсии. Мы с ним были старые приятели.

Он весело запрыгал вокруг меня, как ребенок, пища своим тонким, смешным, женским голоском:

— Ах ты, бродяга, бродяга! Ну, здравствуй, голубчик!

Серые глазки его весело и живо поблескивали из-под бесцветных бровей.

Он начал хитро выспрашивать меня о том о сем, стараясь выказать себя человеком умным и солидным. Хриплый и пискливый смех его, вырываясь из раскрытого рта, то и дело обнажал зеленый кривой зуб, одиноко торчащий в нижней челюсти.

— А я, как видишь, все пью... Пускай дураки работают... Мне вина подавай и... баб, хи-хи-хи! — И он весело, от всей души расхохотался над своей неуместной шуткой.

На почетном месте за столом важно восседал староста Гавриил, светло-русый до белизны, синеглазый, костлявый и крепкий, как дуб, мужик. Медно-красное лицо его сияло от удовольствия. Он был в очень хорошем настроении.

Поздоровавшись со мной, он лукаво подмигнул в сторону жаждущего любовных утех безбородого и громко захохотал. Странный был человек этот Гавриил. Длинные, серповидно загнутые усы придавали всей его солидной фигуре молодцеватый вид и внушали уважение. После сербско-болгарской войны, на которой Гавриил был ранен, он долго служил полицейским урядником, но потом уволился и вернулся в деревню. Несмотря на свою бедность, он был не охотник до работы, любил строить из себя барина. А старостой избрали, так и пить начал. Имел слабость к женскому полу, и водились за ним разные истории.

Подле него, опустив голову на грудь, сидел совсем пьяный Иван Дядка. Он смиренно протянул мне руку, надвинул шапку на брови, вздохнул и постарался принять трезвый вид.

— Эй, Дядка, не спи. Лучше затяни-ка! Спой, Дядка! Назло нашей бедняцкой доле. Эх, пропади она пропадом! — стал трясти его за плечо Марко.

Дядка не отзывался. Умное лицо его выражало печаль. В трезвом состоянии он был добрый человек. Ему было сорок лет, и за свою грамотность, рассудительность, веселый нрав и пенье на клиросе он пользовался общим уваженьем односельчан. Но с тех пор как у него умерла жена, он изменился, затосковал и запил.

— Дядка, спой! — настаивал Марко.

— Ну-ка, Дядка! — поддержал Гавриил.

— Нет.

— Пой, Дядка, пой!

— Нет, не стану я больше петь!

Вздохнув, он печально покачал головой и задумался. Гавриил подал ему стакан.

— Выпей, Дядка!

— Вот выпить — выпью.

— Это дело. Не будь бабой! — крикнул староста.

— Покажи ему, Дядка! Чего раскис? Пей, этого никто не отнимет. Неужто ты для того родился, чтоб в церкви старухам петь? Запевай, а я подтяну. Эх! — сверкнув глазами, хватил кулаком по столу длинный, как шест, полевой сторож Пелинко. Смуглое сухое лицо

его нахмурилось, тонкие, бескровные губы нервно задрожали.

— Запой мою песню, Дядка. Песню о Пелинко! — воодушевившись, закричал он.— Пой, чтоб от сердца отлегло! Начинай:

Любил Пелинко Милену,
Милену, дочку хаджии,
Хаджии да чорбаджии...[1]

Но Иван Дядка остался непоколебимым. Пелинко со вздохом махнул рукой.

— Эх, какой от вас толк!

Это был парень лет двадцати двух — двадцати трех, ловкий, сильный, смелый. В жилах его текла горячая кровь, делавшая его неукротимым. В Горно Ровиниште долго еще будут рассказывать на хороводах и посиделках о его холостяцких проделках. Полюбила Пелинко чорбаджийская дочь Милена, красивая, ладная девушка. У чорбаджии не было сына, и он не прочь был принять Пелинко зятем, но тот отказался, хоть и был последний бедняк. Просто так, из упрямства.

— Я им не ко двору, и они не по мне...

И ушел из чорбаджийского дома, где жил в батраках. Но потом оказалось, что Милена опозорила отца: забеременела. На Пелинко подали в суд, но нашелся вдовец, который увез Милену куда-то за горы, в дальнее село, и дело заглохло. А в деревне о Пелинко сложили песню. Это не помешало ему жениться. Только жена его вскоре померла, и теперь он был вдов.

— Пей и пой, Дядка,— стучал он по столу.

— Лопну, а не запою!

— Коли так, лопни. Лучше тебе лопнуть!

Гавриил залился долгим, раскатистым смехом. Это обидело Дядку.

— Чего смеешься, староста?

— Смешной ты.

— Не буду петь! — уперся Дядка.— Стыдно мне... Горько... Хлеб в поле горит. Дети мои там, работают... А я вот напился... Не буду петь!

Он ударил кулаком по столу и бросился было к двери, но Гавриил обхватил его своими мощными руками и принялся целовать.

— Больно мудришь, Дядка. Не артачься, спой! Мы все подтянем! Идет?

---

[1] Чорбаджия — богач, кулак.

— Нет.

— Ну, тогда сам... ладно?

— И один не хочу...

— Да что ты кручинишься? У тебя дети — пускай они и работают, а ты отдыхай... На что растил-то! На, держи стакан, чокнемся... Бедняки мы с тобой, Дядка... бедняки! Хоть работай, хоть нет — один черт. Так уж на роду нам написано.

— Во гресех роди мя мати моя,— промолвил Дядка и осушил весь стакан до капли.

— Вот теперь молодец, Дядка! — одобрил Гавриил и похлопал его по плечу.

— Все суета... все. Суета сует,— заключил Марко.

— Правильно. Для таких безусых, как ты,— в самый раз,— ответил язвительно Дядка.

— Что верно, то верно! — воскликнул, ударив по столу, сторож.

— Саранча! — обозлился Марко и стал ругаться.

— Тсс! — строго остановил староста и погладил свои серповидные усы.

Пятый посетитель, дед Йорго, сидевший в сторонке, опустив голову, повалился на длинный рундук у стены и захрапел.

Сторож окинул его насмешливым взглядом, потом, махнув рукой, промолвил:

— Эх, прошло твое время, де-е-ед!

И поник головой.

Марко вздохнул. Гавриил опрокинул еще стакан. Дядка замурлыкал какую-то песенку. Стоявшие до тех пор стенные часы неожиданно начали бить. Над рюмками поднялась заспанная голова корчмаря, поглядела на пьяниц, зевнула, чихнула и опять упала на прилавок. Марко затянул писклявым голосом что-то церковное. Дядка стал подпевать мягким тенором. Гавриил и Пелинко подхватили:

От юности мое-е-я
Мнози бо-рют мя страсти...

Хриплые голоса протяжно затрепетали, потом понеслись вперебой и слились наконец в нестройный, но мягко звучащий хор. Висевшие над стойкой медные ведра откликнулись тихим, звонким отголоском.

Тут в корчму вдруг вошел сын Дядки Павел. Бросив гневный взгляд на захмелевшую компанию, он подошел к отцу и начал теребить его за плечо.

Павел, здоровый и крепкий семнадцатилетний парень с умным лицом и высоким лбом, был с детства глухонемым. Когда отец напивался, Павел весь дрожал от гнева и отвращения; не раз он выволакивал отца из корчмы и бил его, и никто не мог этому помешать. По обгорелому лицу его и приставшим к одежде соломинкам было видно, что он — прямо с поля. Он дергал отца все сильней, что-то лопоча и говоря руками и глазами.

— Зовет меня. Я пойду,— сказал Дядка.

— Ха! Больно ты ему теперь нужен,— заметил Гавриил.

Немой мычал, махал руками. Видимо, сердился. Марко, может быть желая показать свою учтивость, налил стакан вина и подал ему. Тот схватил стакан и выкинул его за дверь, так свирепо глянув при этом на безбородого, что тот задрожал.

— А... ббб... пп-п...— Угрожающе сверкая глазами, Павел поднял свой громадный кулак и показал его бражникам.

Корчмарь вышел из-за стойки.

— Ну, будет, Дядка... Ступай себе!

Дядка поднялся с места.

— Э... коли не хочешь нам попеть, ступай! Скатертью дорога! — сказал Пелинко.

Гавриил стал разговаривать жестами с немым.

Дядка, шатаясь во все стороны посреди комнаты, крикнул корчмарю:

— Запиши... там... сколько с меня.

— Э-э, нет, плати, Дядка, так нельзя!

— Нечем... Пиши и помалкивай, а то вон видишь — немой: он, чего доброго, нам обоим пропишет.

Немой опять поймал отца за рукав, вытащил у него из-за пояса свясло, которым перевязывают снопы, и шагнул к двери. Дядка пошел было за ним, но Павел что-то энергично залопотал, махнул рукой и быстро вышел.

— Не хочет меня брать, осел упрямый! Грех, говорит, идти мне пьяным в поле, где хлеб родится... Эх, верно говорит... умник мой Павел! И что он меня не поколотил? Поделом бы мне.

Дядка опять сел на свое место. Гавриил протянул ему стакан.

— Пей... Павел умней тебя... куда умней!

— Куда умней... В мать пошел, царство ей небесное... Эх, горе мое горькое!

— Другую найдешь, Дядка,— засмеялся было Марко.

— Ты, безбородый, помалкивай,— косо глянул на него Дядка.— Не женюсь я больше... Было и... сплыло.

— Давай тебя женим, Марко,— захохотал Гавриил.— Бросила тебя твоя бесстыжая, а мы другую подберем...

— Слушай, безбородый, скажи по совести, почему от тебя Станка сбежала, а? Тут свои все... Да еще замуж вышла, шельма! Год прожила и бросила. Не иначе, как были причины,— стал задирать Пелинко.

— Причины... Какие там, к черту, причины,— возразил Марко.

— А правда, будто она второй раз замуж выходила, так девкой оказалась, а? — лукаво подмигнул Пелинко.

Дружный, продолжительный хохот потряс стены корчмы. Дед Йорго проснулся, стал протирать глаза. Марко разразился целым потоком ругательств. Это еще больше рассмешило его товарищей. Он несколько раз ударил кулаком по столу и хотел уйти.

— Коль вы такие ослы — прощайте!

— Марко, постой... Я спою! — крикнул ему вслед Дядка.

Марко обернулся с улыбкой.

Пелинко вынул разобранную свирель и начал ее составлять.

Завечерело. Жара на дворе спала, и с полей плыли волнами грустные песни жниц.

— Ну, Пелинко, играй... чего мнешься? — сказал Гавриил.

— Да, сыграй... Вот за это люблю! — добавил Дядка.

— Заведи какую-нибудь жалостную,— попросил Марко.

Пелинко молча взглянул на него и, опустив голову, поднял свирель к губам. Все смолкли. Дед Йорго сел на рундук и уставился на музыканта. Корчмарь облокотился на стойку. Пелинко вдохновенно полузакрыл глаза и стал дуть в свирель.

Первые звуки вырвались долгим глубоким вздохом и мало-помалу замерли, словно потонули в безбрежном море страсти и скорби. Потом полились опять громче и печальней. Они разрастались, западая в сердце, хватая за душу и, словно волшебные, чудные сны, унося ее, увлекая на своих легких волнах. Слушатели переглянулись, как бы поняв свои тайные муки... Музыкант побледнел. Дядка вынул платок и стал вытирать глаза. Дед Йорго слушал, раскрывши рот. Корчмарь погрузился в думу. Гавриил отвалился на стойку, запрокинув голову, словно витая где-то высоко-высоко, и в упоении полусмежил веки. У Марко

глаза раскрылись вдвое шире. А свирель забирала все сильней и сильней. Она касалась самых тонких, самых нежных и затаенных душевных скорбей и желаний, растворяла их в чудных звуках и говорила, говорила, рассказывая что-то трогательное, бесконечно печальное, но такое хорошее, чистое!

И вдруг смолкла. Ведра над стойкой отозвались тихим звоном.

Минуту никто не мог вымолвить ни слова. Все словно ожидали чего-то. Пелинко метнул торжествующий взгляд и опрокинул стаканчик.

— Ай да Пелинко! — восторженно воскликнул Марко.

— Вот это я понимаю — мастер! А вы — пой да пой... На что тут мое пение? — жалобно протянул Дядка с влажными от навернувшихся слез глазами.

Гавриил только вздохнул и велел подать еще вина. Дед Йорго молча, с удивлением качал головой, прищелкивая языком. Потом все опять заговорили о женщинах, о работе, о турках, о политике.

День прошел, солнце клонилось к закату. Пелинко снова взялся за свирель. Звуки веселой плясовой вихрем понеслись по корчме, сразу изменив настроение. Дядка встал и пустился в пляс, тяжело перебирая ногами, следя за их движением и покрикивая: «Ух, ха-ха-ха... Откалывай!.. Ух-ух-ух!» Марко присоединился к нему, так широко осклабившись, что зеленый зуб его совсем вылез наружу. Гавриил глядел на них, громко смеясь и подзадоривая:

— Так... Веселей!.. Дядка, жарь!.. Скинь безрукавку... Так... Ха-ха-ха!..

Корчма стоном стонала от его хохота.

Вдруг Пелинко оборвал плясовую и опять завел протяжную. Плясуны расселись по местам и начали препираться. Гавриил пригрозил им, и они смолкли. Свирель снова околдовала всех...

Солнце закатилось. Я простился и вышел. На улице было хорошо, прохладно. Закат пылал пожаром. С полей веяло отрадной свежестью. Усталые жницы веселыми группами, со смехом и песнями, возвращались в село... Я пошел лугами вниз, домой... Закат понемногу бледнел, и на поля ложилась миротворная ночная тень. На реке в камышах громко квакали лягушки,— дружная перекличка их далеко разносилась над равниной, будто звон тысячи металлических колокольчиков. Где-то мужские голоса затянули и оборвали песню. Вокруг стрекотали цикады.

Стемнело. Песни умолкли. На небе высыпали звезды. Где-то далеко неумело заиграл на дудке и запел пастушонок:

Приходить ли, Кера, Кера,
Приходить ли, Кера, мне?..

Потом все стихло.

1903

НА ТОМ СВЕТЕ

Когда по селу разнеслась весть, что дед Матейко помер, никто не поверил, потому что старик любил пошутить, да и раньше ничего такого с ним не случалось. Но когда бабка Йова рассказала о его последнем часе, все убедились, что на этот раз он не шутил. Вернулся человек из лесу с дровами, развьючил ослика, привязал его, подбросил ему сенца, и, только вошел в дом, сел у огня и закурил трубку, вдруг как схватит его, будто пополам перерезало: лег, заохал и...

Сбежались соседи, пришла и бабка Йова. Бобылем, бедняга, век коротал, с кроткой ослицей своей сизой, как голубка, послушной и безответной, как монашка. Пришла к нему бабка Йова, да нешто душу удержишь, коли ей на тот свет пора. Только, говорит, успела сказать ему: «Перекрестись!» — а он, сердечный, уж и рукой пошевелить не может. Принесли ему гостинца — водки косушку. Взял, улыбнулся, даже глаза заблестели и... богу душу отдал.

Так с улыбкой и отдал. Оттого ли, что душа прямо в рай угодила, оттого ли, что водочку увидал,— бог его знает.

Очутился бедный дед Матейко на том свете, остановился первым долгом на перекрестке, где много было таких, как он.

— Счастливо добраться! — сказал он им, да, не долго думая, и спрашивает: — Скажите, братцы, как тут в ад пройти?

Все взглянули на него с удивлением.

— В пекло, в пекло какая дорога ведет? — громко объяснил дед Матейко.

Показали ему дорогу,— пошел он.

«Наверняка мое место там,— думает.— Так хоть поспеть вовремя... Куда мне в рай, бедняку... Рай — для богатых и знатных. В таких лохмотьях да с такими грубыми

руками кто меня туда пустит? Восемьдесят лет лямку тянул, мучился как собака, а теперь меда ждать? Ну да, по божьей правде старался жить, да кому до этого дело? Разве будет господь бог беспокоиться насчет таких, как я? Да нас с самого рождения в тетрадку дьявольскую записывают... Будь я еще праведником, да, скажем, согрешил разок, выпил! А то как пил ведь! От нужды, понятно, с горя пьянствовал, да ведь было дело. Все равно, думал, такая твоя доля — пей... Пей, а там хоть трава не расти! Ну и расчистил себе дорожку в пекло. И теперь прямым ходом — туда!»

Шел-шел дед Матейко, своими мыслями занятый. Вдруг кто-то невидимый дерг его сзади за кожух.

— Стой, приятель. Куда путь держишь?

— Да в пекло я,— ответил старик.

— В пекло? Э, дед, зря туда собрался!

— Ничего не зря... Знаю я, кому куда,— не смотри, что прост.

— Да тебе полагается в раю быть... Я ангел и послан, чтоб отвести тебя туда.

— Брось, парень! Иди себе своей дорогой, не смейся над старым человеком, стыдно...

Видя, что с ним не поладишь, ангел сгреб старика и взлетел высоко в светлые небесные просторы, где благоухает чудным измирским ладаном и роями порхают светлые ангелы с цветком базилика в руках, вдохновенно распевая: «Свят, свят, свят господь Саваоф!»

— Куда это ты меня волочишь, милый? Попадет тебе от хозяев твоих. Не чуешь разве, как от меня водкой пахнет? — воскликнул дед Матейко и попробовал было дать тягу, но ангел полетел еще быстрей, унося его в светлую ширь, пока они не достигли райских врат. Врата были из золота и драгоценных каменьев и сияли, как солнце. Перед ними стоял святой Петр с серебряным ключом в руках и реестровой книгой под мышкой.

— Из которого села? — обратился он к деду Матейко и стал рыться в книге.

Куда податься? Дед Матей помялся-помялся и сказал:

— Значит... из Подуэне я...

— Из По...?

— Из Подуэне! — крикнул дед Матейко, подумав, что святой Петр туг на ухо.

— По... По... По...— Святой Петр стал перелистывать книгу.— Подуэне. Вот. Ладно: праведный.

— Не может быть! Ошибка тут, святой Петр!

— Какая ошибка? Это тебе не пирог с капустой, а реестровая книга, пронумерованная, прошнурованная и припечатанная рукой божьей,— рассердился святой Петр.

— Ну ладно, только уж потом пеняйте на себя,— возразил дед Матейко.

— А что?

— Да больно пил я. Что-то не верится мне, будто я праведник.

— Много пил, да много терпел, вот тебе и прощено,— ответил святой Петр и отпер ворота.

— Погоди, святой Петр, надо и осличку мою сюда,— взмолился было дед Матейко, но ангел втолкнул его в рай, и он, разинув рот от удивления, не успел договорить.

Только дед Матейко в рай попал, сейчас же вспомнил про старуху свою, что задолго до него грешную землю покинула.

«Коли меня впустили, хоть пьянствовал я и старуху свою колотил, так уж ей-то, наверно, красный угол отвели. Ведь она тише божьей коровки была, все прощала... Ну, что бы со мной без нее было?»

И обратился он к одному ангелочку:

— Скажи, касатик, нет ли тут старушки такой... Матеевой? Треной звать...

— Из какого она села? — спросил ангелок.

— Из Подуэне...

— Тут, тут,— ответил ангелок и повел старика по раю.

— Ну и благолепие, ну и чудеса! — дивился дед Матейко при виде чудных райских красот, доступных лишь взорам праведников.

— А отец Никола здесь? — стал он расспрашивать ангела.

— Какой отец Никола?

— Отец Никола из малой церкви,— тот, что деньги в рост давал... Мне с ним встретиться стыдно. Я ему должен был, да он помер, и долг мой так за мной и остался.

— Поп Никола в преисподней, дедушка.

— Не может быть!

— Честное слово!

— Да ведь он как-никак попом был, священником!

— Ничего не значит... Тут на лица не смотрят — каждому по его делам воздают. Попом был, да грешил. Уж на что архиерей — и тот в пекле.

— Да что ты?

— И он тоже наказан, дедушка... Был архиереем, верно, да кичился саном своим, одних знатных за людей по-

читал, а на бедных да убогих смотреть не хотел. Гнушался ими, а коли подавал милостыню, так с презреньем, чтоб только поскорей отделаться... Роскошно одевался, каждый день объедался, а людям воздержанье проповедовал... Разве это не грех?

Дед Матейко, потеревши лоб, промолвил:

— Где мне знать, грех или не грех. Мы люди простые, без понятия. Да будет толковать про это. Лучше сведи меня в трактир, чтоб мне чарочку пропустить, а то в глотке пожар, будто углей туда насыпали.

— Э-э, дедушка, трактиров тут нету,— возразил ангелок.

— Нету?

— Нету, нету!

— Ну как это можно, чтоб посреди такой красоты трактира не было? Куда ж зайти отдохнуть, выпить рюмочку, подкрепиться? Ведь я с самой земли иду, уморился... Нам батюшка объяснял, что в раю все есть, чего душе угодно, а на поверку... Уж лучше бы я в ад попал! Там как? Есть трактиры-то?

— Там есть.

— Тогда сделай милость, отведи меня туда. На что мне вся благодать эта, коли ни капли водки! В аду, понятно, плохо, ну да я к этому привыкши. Намучаешься, зато в добрый час хлебнул — глядишь и полегчало...

— Нельзя, дедушка!

— Эх,— вздохнул старик,— это уж на тюрьму похоже! Никуда по своей воле ногой не ступи...

— Привыкнешь, дедушка,— сказал ангелок в утешенье.

— Выходит — опять терпи! — вздохнул дед Матейко и решил пуститься на хитрость.

— Послушай, паренек,— сказал он ангелочку.— Надо бы вам открыть здесь трактир. Встречу господа бога, так прямо ему и скажу: дескать, хорошее дело... Тут ведь сборщику налогов зайти некуда, что уж о других толковать!

— Здесь нет сборщиков налогов, дедушка.

— Да ну!

— Ни одного нет.

— Мать пресвятая богородица, да тут и впрямь благодать! — радостно воскликнул дед Матейко и, перекрестясь, добавил: — Вот это мне у вас больше всего по нраву!

И пошел скорей искать свою старуху.

1902

В ГОСТИ К СВАТУ

Весенний день — ему что? Кончился, как все божьи дни. На селе не случилось ничего нового, необыкновенного. Те же печали и радости. Завтра праздник, и надтреснутый церковный колокол дрожащим звоном возвестил это грешному селу. Услыхали работники в поле, поспешили до заката вернуться домой. Заскрипели телеги по кривым деревенским улицам, загомонили крестьяне, потом воцарилась тишина, предпраздничный покой. Люди и скотина предадутся отдыху. Поля будут тихо греться в лучах ласкового весеннего солнца, черные пары станут рассыпчатыми, и золотое зерно с золотыми надеждами схоронится в них, ожидая всхода.

Солнце село алое, кровавое, спустились сумерки. От колодца за селом понеслась хороводная песня с притопом, зазвенел переливчатый девичий смех...

Всюду мир и безмолвие.

Только в доме у Дражо радостный гомон.

Сын его Стойчо и молодая сноха Яна, всего месяц назад принятая к ним в дом, собираются в дальний путь. Едут в гости к свату Милену за три села в четвертое. Всю ночь будут в дороге, только на рассвете приедут на место.

Старый свекор, дядя Дражо, сам подмазывал и подтягивал устланную сеном телегу.

Свекровь сновала то в подвал, то в кладовую, вынося пестрые сумки с подарками, проворная, как девушка. Стойчо, приодетый, выбритый, подтянутый, нетерпеливо держал за поводья пару впервые запряженных молодых волов, поглядывая украдкой от стариков на свою разряженную, как под венец, молодицу Яну. Она стояла скромно в сторонке с расписной баклажкой в руках.

Дядя Дражо еще раз осмотрел телегу, взглянул на своего молодого, совсем еще мальчишку, Стойчо и отечески промолвил:

— Да смотри в оба, а то долго ли до беды... Ну, в добрый час! Трогай.

Стойчо дернул поводья, перекрестился и зашагал. Янка, поцеловав руку свекру и свекрови, пошла за телегой. Старики проводили их благословением и тысячью напоминаний, чтоб не забыли передать поклон свату Милену.

Телега, бесшумно выехав из тесных улиц, остановилась за селом. Молодые сели вдвоем на мягкое сено. Стойчо кольнул волов, и телега покатилась, задребезжала, принялась что-то рассказывать седокам.

Тихая ночь приняла все в свои ласковые объятия. Тысячи звезд, словно ангельские глазки, устремив с неба свой взор, с любовью загляделись на грешную землю. Из-за холмов выплыла круглолицая луна, улыбнулась приветливо; остановившись на мгновенье, поглядела-поглядела и спокойно двинулась в путь вместе со звездами, как молодой пастух средь овечьего стада.

О такой вот ночи и мечтали Янка со Стойчо целый день! Одни в телеге на пустынной дороге! Мрак и тишина! Ни старый свекор не кашляет, ни ревнивая свекровь не подслушивает. Можно ли мечтать о большем блаженстве?

И Стойчо, прикрикнув на волов и взмахнув угрожающе стрекалом, сильной рукой охватил стройный стан Янки.

— Не надо, Стойчо, увидят,— испуганно промолвила Янка и прижалась к нему.

— Мы не на селе. Кому видеть-то? — возразил он и стал гладить ее по румяному молодому лицу.

— Господи, я и позабыла, что мы в поле! — засмеялась Янка.

— Сват — человек веселый, по-царски нас встретит,— принялся мечтать Стойчо.

— Какой-то он мне подарок приготовил?

— А сватья уж такая беспокойная, всю ночь глаз не сомкнула б, кабы знала, что мы едем.

— Утречком пораньше — тут как тут. Принимай гостей!

— Вот радости-то будет!

Янка даже всплеснула руками.

— Сват хлебосольный: вина не пожалеет! — воскликнул Стойчо.

— Э, у тебя все выпивка на уме,— с ласковым упреком заметила Янка.

— Ты меня, Янка, не кори, а то чмокну в самую душку.

— Ишь какой! Да разве можно?

— А вот увидишь, можно или не можно.

— Не надо, слышишь? Ах, Стойчо, что ты наделал! Весь платок измял...

— Не шуми!

— Ишь ты. Что ж мне, молчать, что ли?

В телеге поднялся смех, визг, началась веселая возня.

За бортом телеги скрылся белый Янкин платок и медленно опустилось длинное стрекало.

Все затихло.

Молодые волы преспокойно остановились посреди дороги. Зычный голос больше не погонял их, длинное стрека-

ло не вздымалось над ними с угрозой. Они постояли немного, подумали, потом легли прямо в ярме на дорогу и стали равнодушно, смачно пережевывать...

Бледная луна в небе лукаво улыбнулась и что-то шепнула озорным звездочкам на своем языке. Те лукаво поглядели вниз, задорно перемигнулись и потом долго-долго смотрели на землю, пока не занялась заря и не побелело небо.

Из-за гор взошло золотое солнце. Поднявшись высоко, оно пролило на землю свои теплые лучи и заглянуло в телегу, по-прежнему стоявшую посреди дороги. Волы, радуясь отдыху, все лежали и жевали.

Стойчо вдруг вскочил и затормошил Янку:

— Янка, солнце уж на полдне!

Янка проснулась, испуганно огляделась по сторонам и всплеснула руками.

Дружный, веселый смех беспечно и вольно огласил широкое поле.

1904

АНДРЕШКО

— Рано приедем, господин, засветло приедем. Вон оно, село,— там, у лесочка! Видишь? Вот как перевалим небольшой взлобок — почитай что и приехали!

И молодой возница, замахнувшись кнутом на лошадей, громко, ободряюще крикнул:

— Но, но-о! Эй, господа хорошие!

Колеса телеги сильнее захлюпали по жидкой грязи проселка. Расшатанный остов ее глухо загремел в унылом просторе опустелого, раскисшего от дождей поля. Парень еще раз прикрикнул на лошадей, уселся поудобней на ящике, служившем ему сиденьем, откинул мокрый капюшон плотной бурки и равнодушно замурлыкал что-то себе под нос.

— Как тебя звать, парень? — спросил сидевший в телеге толстый господин в огромной волчьей шубе.

Тот продолжал напевать.

— Эй, парень! — хриплым голосом окликнул его седок.

— Чего? — обернулся тот.

— Звать, звать тебя как?

— Андрешко.

— А-а, Андрешко... Ну и хитрец же ты! Да все вы теперь такие. Лукав стал нынче крестьянин. Только одно и знаете: врать да хитрить... И как ловко прикидываетесь! Видал я в суде... Овечка этакая, совсем дурачок, а на деле, глядишь,— сущий волк! Просто за нос судью водят.

— Мы, господин, народ простой, на нас наговаривают. Вам только кажется, что мы хитры. А неправда все это. От простоты хитрят наши крестьяне. От простоты да от бедности.

— Ну да, от бедности. Рассказывай... Бить вас, да некому! Плачутся на бедность, а сами пьют запоем.

— Так разве от хорошего житья пьют? От хорошего так пить не станешь... Что пьют, это верно: все пьянствуют. Да ведь с горя, а не от веселья... Кому-кому, а уж вам ли не знать.

— Эге, и ты, приятель, видно, подвыпил! А молод — и усов-то еще нет... Пропащий народ ваши крестьяне, так себе и запиши...

— Пиши сам, господин, мы неграмотные,— возразил парень. Обернувшись к своим тощим лошадям, он еще раз прикрикнул на них: — Но, господа хорошие! — и задумался.

Лошади заскользили копытами по грязи и тоже задумались. Подняв огромный воротник волчьей шубы и утонув в нем, задумался и седок. На одинокое дерево у дороги села взъерошенная ворона, покачалась на засохшей ветке, уныло каркнула и задумалась. Весь печальный зимний пейзаж, казалось, погрузился в думу. По небу медленно, тяжело ползли лохматые, мрачные зимние тучи, сквозь которые проглядывали клочья тоже задумчивого холодного голубого неба. Земля тонула в грязи и сырости. Помертвелыми, подавленными выглядели разбросанные там и сям деревни, речные долины, далекие леса и горы. В поле поблескивали большие мутные лужи, холодные и остекленевшие, как глаза мертвеца.

Тележонка лениво покачивалась в глубокой жидкой грязи, утопала, выныривала, петляла то вправо, то влево. Оторвавшаяся сбоку доска все время однообразно, глухо и бессмысленно постукивала, ударяя по нервам тучного седока в волчьей шубе. Наконец, потеряв терпение, он высунул из воротника свою круглую физиономию и закричал:

— Что это за ужасная трещотка такая, черт бы ее побрал! Просто покоя от нее нет!

— Это доска стучит, господин. Трещит, вроде ученый человек: сама ничего не понимает, и другие толком не поймут...

— Ну и хитер же ты, Андрешко,— ой хитер! Наверно, мастер обманывать девушек, если не женат еще. Вы ведь молодыми женитесь, и женки у вас недурненькие.

Седок совсем опустил воротник своей шубы.

— Толкуй что хошь, господин, а только барыни-то почище наших бывают... Мне хорошо известно! А ты кто будешь, господин, по какому делу в наше село?

— Я судебный исполнитель.

Андрешко обернулся и пристально поглядел на седока.

— Исполнять едете, значит?

— Понятное дело, решение исполнять. Один там у вас — шутить надо мной вздумал, но я ему вправлю мозги. Сколько раз — накрою его, а он опять выскользнет из рук... Вижу, шельмоватый. Но нынче вечером застукаю. Попомнит он меня! Пшеничку у него конфискую. И его уму-разуму научу, и вам покажу пример, чтобы другой раз жульничать неповадно было. Обманываете торговцев, обманываете горожан, норовите им тухлые яйца всучить либо масло прогорклое. Нет, шалишь, бабенка, власть не проведешь. Она тебя приберет к рукам, ох, приберет! Кнут вам нужен, русский кнут,— только это вас и может образумить... Пропойцами стали, распоясались, распустились! Скоро вовсе перестанете налоги платить и государство погубите. Эх, будь моя власть, я бы из вас ангелов сделал.

Судебный исполнитель расстегнул шубу. Тело его зашевелилось в ней, как вылупившийся из яйца цыпленок.

— Что ж, господин судья, на все божья воля... Господь так рассудил: женщинам борода не нужна — и не дал, ослу нужны длинные уши — и дал,— ответил Андрешко с притворной наивностью.

— Ну-ну, ты не болтай, а лучше поезжай быстрей. Уж смеркается... И здорово же ты содрал с меня, черт! Такие деньги за двадцать километров! Умеете обчищать нас... Погоняй, погоняй! Твои клячи совсем заснули.

— Но, но-о, господа хорошие! — крикнул Андрешко и завертел кнутом.

— Что ты их все господами величаешь? Называл бы братьями, вернее было б,— заметил с досадой судебный исполнитель.

— Осерчают, господин судья! Оскорблю я их, коли господами не назову. Служба у них чиновничья — по часам. По часам встают, по часам ложатся, по часам мы их поим-

кормим. Потом запряжем — они, значит, в канцелярию. А в стойле другой раз и газету читают.

— Ты скажи лучше, где заложить успел, приятель, да зря языком не трепи. Погоняй, ведь опаздываем. Ох, и хитрые же у тебя глаза, ох, хитрые!

— Тут волков нет, господин судья, не бойтесь,— заметил возница таким тоном, что почтенный чиновник испуганно оглянулся по сторонам.

— Волков я не боюсь, мой друг, но ведь холодно становится. А мне нельзя простужаться.

— Закутайтесь в попону, господин. Мои кони никогда не жалуются на простуду. Попона теплая.

«Экий болтун!» — подумал судебный исполнитель, а вслух строго промолвил:

— Погоняй, погоняй, скотина...

Потом, сердито надувшись, потонул в своей шубе и умолк.

«Ага, попался мне в руки, друг ситный!» — подумал Андрешко. И, обернувшись, спросил серьезно:

— Стало быть, решение исполнять едете? Кого ж это вы за горло возьмете?

Судебный исполнитель долго молчал, потом раздраженно ответил:

— Есть один у вас... Станойчо звать. Малорослый такой... короткошеий...

— Знаю. Выходит, пшеничку опишете? Да ведь он бедняк, господин судья. Зачем его трогать?

— Эти бедняки — сущие дьяволы! — возразил судебный исполнитель и снова умолк.

Стало совсем смеркаться. Лошади с трудом взбирались на холм, за которым должно было открыться село. Андрешко уже не покрикивал на них и не замахивался кнутом. Он перестал разговаривать, напевать и задумался.

Когда спустились на равнину, оставив холм позади, наступила ночь. А села все не было видно. Над землей, потонувшей во влаге, тянуло легким холодным ветерком. Разорванные облака отступали к горам. Синий купол холодного, морозного неба прояснялся, ширился и уходил ввысь. Вскоре на нем затрепетали звезды — яркие, ледяные. Стало страшно зябко, а лошади еле тащились. Судебный исполнитель все время злился:

— Да погоняй же! Ведь замерзнем!

Андрешко равнодушно покрикивал на коней, лениво взмахивая кнутом над их головами. Они и ухом не вели, будто не слышали. Андрешко думал о бедном Станое, у

которого завтра конфискуют пшеницу. И это сделает тот самый человек, которого он теперь везет.

«Это ты привез беду на мою голову, Андрешко»,— скажет ему Станой, как узнает, и выругается. Потом закручинится, поднесет ему чарочку, сам напьется и расплачется.

«Надо помочь человеку, надо помочь,— думал Андрешко.— Сказать ему, чтоб ночью зерно спрятал и амбар почище вымел. А то ведь целый год пухнуть с голоду будут... Надо помочь беспременно!»

Стало темно, и на земле ничего не было видно, кроме грязи — глубокой, густой грязи. Дорога терялась в этой грязи и, казалось, никуда не ведет, кроме как в ту же грязь.

Вдруг Андрешко, натянув поводья, остановил лошадей:

— Постой! Никак, с дороги сбились!

И начал вглядываться в потемки. Судебный исполнитель увидел его суровое лицо, на котором не осталось и следа недавней веселости.

— Эй, парень, вези как следует. А то смотри у меня... Таких тумаков отведаешь!..

Андрешко дернул вожжи, взмахнул кнутом и крикнул:

— Держись крепче, господин судья!

Впереди, во мраке, замелькали огни. По доносившемуся оттуда собачьему лаю можно было думать, что село близко. В нескольких шагах справа на большом пространстве жемчужно поблескивала стоячая вода. Телега круто повернула в ту сторону.

— Что это? — спросил судебный исполнитель.

— Болото, господин судья... Дорога через него идет. Оно мелкое, ты не бойся. Только ямы кое-где... Я сколько раз и ездил здесь, и пешком ходил... Но, но-о, господа хорошие! Держитесь крепче, господин судья!

Лошади вошли в холодную, отражавшую небо воду и, шлепая копытами, осторожно зашагали вперед, погружаясь все глубже и глубже. Блестящая жемчужно-зеленая мертвая вода болота ожила, зашевелилась.

— Стой, скотина! — вдруг закричал судебный исполнитель, испуганно привстав в телеге.— Ты меня утопишь! Разве не видишь, что телега полна воды? Стой! Стой!

И он разразился бранью.

Андрешко остановил лошадей. Телега, уйдя в воду по самое днище, остановилась среди болота, края которого терялись в непроницаемом мраке.

— Но-о... Вперед! — крикнул Андрешко.

Зычный, могучий голос его разнесся далеко в ночном воздухе и замер в пустом просторе. Где-то поблизости взлетели дикие утки и с шумом пропали во тьме.

— Были бы мы утками, выбрались бы,— промолвил в раздумье Андрешко,— а то...

— Ах ты скотина! Дай только выбраться — я тебе покажу. Ведь мы утонем, болван!

— Да не бойся, не утонем, господин судья... В такую темь кто хошь заблудится, будь покоен,— промолвил Андрешко и стал возиться со сбруей.

Завязывал, развязывал, бранился, проклинал все на свете, наконец опять уселся на ящик, взмахнул кнутом и крикнул:

— Но-о! Вперед!

Лошади с усилием тронули. Одна отделилась от дышла и зашлепала по болоту в сторону, а другая осталась на месте.

— Эй! Что случилось? — крикнул судебный исполнитель.

— Стой! Дорчо... Дорчо!.. Дорчо! — стал Андрешко подзывать уходящую лошадь.

Но та, испугавшись воды, повернула обратно к берегу и медленно исчезла в потемках, не слушаясь криков хозяина.

Судебный исполнитель сидел в телеге дрожащий, перепуганный.

Тем временем Андрешко вскочил на другую лошадь и двинулся следом за Дорчо, не переставая громко и бодро покрикивать:

— Дорчо, Дорчо, Дорчо!

— Эй, куда ты?.. Что ж это ты делаешь, дурак, скотина? Грязная деревенщина... Я тебе покажу!

В ответ из тьмы послышался ехидный смех.

— Эй, скотина! Ты меня бросаешь? На погибель? На растерзание волкам? Голубчик, не делай этого, пожалуйста! — заговорил судебный исполнитель жалобно, чуть не плача.

— Не бойся, не бойся, господин судья,— послышался голос Андрешко.— Волки в болото не ходят. Закутайся в попону, чтоб не простынуть. Завтра я вернусь спозаранку. В телеге сено есть, постели себе. А денег за провоз я с тебя не возьму!

— Брось шутки, парень! — взмолился судебный испол-

нитель.— Не бросай меня!.. Слышишь? Вывези меня отсюда!

— Темно, господин судья. Такая темь — хоть глаз выколи. Да и конь убежал! Как помочь тебе? Не могу я...

Слушая доносившийся из мрака голос Андрешко, судебный исполнитель пришел в ужас. Остаться здесь? В болоте? Среди холодной, зеленой болотной воды, которой конца-краю не видно!

— Послушай, Андрешко! Я тебе сколько хочешь заплачу! Вытащи меня!.. Я тут пропаду... У меня дети малые! Или у тебя сердца нет, парень?..— завопил он в отчаянии, но никто уже не отозвался.

Судебный исполнитель безумно, отчаянно заревел в сторону села:

— Скотина... людоед... чурбан... Ирод! Вернись!.. Смилуйся! Животное... стоерос... Мужичина!.. Караул! Караул!

И, зарывшись в свою шубу, он зарыдал, как ребенок.

Но тьма молчала.

1903

ИСКУШЕНИЕ

— Ты пробовал, Тодор?

— Пробовал, пробовал, батюшка.

— Ну и как?

— Деликатное, вкусное и крепкое-крепкое! На язык возьмешь — сахар, а из глаз слезу вышибает. Каплю отведаешь — и оближешься, как кот на припеке. И попадья то же говорит...

— Гм... Неужто и она пробовала, Тодор?

— Не отказалась, но самую малость вкусила, так только, пригубила...

— Так ли?

— Зачем мне врать?

— Знаю, знаю, она благоразумная, Тодор, но выпить тоже не прочь... Так, по-твоему, хорошее, а?

— Хорошее, батюшка.

Батюшка проглотил слюну.

Этот разговор происходил при двух-трех набожных старушках, у самого клироса, где вот уже десять лет подвизался дядя Тодор, пономарь, надеявшийся рано или поздно заменить доброго, но постаревшего, убеленного сединами священника.

— М-м... м-мм... Христу богу душу пре-да-ди-им! — возгласил священник.

— Тее-бе, гос-по-ди-и! — откликнулся пономарь.

— А сколько там, в посудине-то, Тодор, ну... примерно... Мм... М-мм-м... Господу помолимся-а-а!

— Гос-по-ди по-ми-луу-уй!.. Маловато, отче: только рот ополоснуть... Литра полтора, может, наберется.

— Куда ж это годится? Не мог уж найти побольше?

Священник задумчиво погладил бороду и, наклонившись к пономарю, спросил:

— Гм-м, значит, под престолом, говоришь, Тодор?.. И сына и святого ду-ха-а-а...

— Там, там, батюшка... А-а-минь! — подтвердил дядя Тодор, провожая глазами священника, направившегося в алтарь, и тихоньким, медовым голоском затянул канон.

Это было на успенье, то есть в такое время, когда там, где не возделывают винограда, бочки совсем пересыхают и вино только снится во сне. А отец Серафим, почтенный старец, три десятка лет кряду терпеливо прослуживший в здешнем приходе, любил подкрепиться двумя-тремя стаканчиками доброго винца, к коему имел, как и всякий человек, маленькую слабость. Без вина он ни на что не был способен. Руки и ноги у него начинали дрожать, глаза застилали слезы, язык еле ворочался, и в таком состоянии он не мог совершить даже водосвятия.

Это случалось с ним редко, так как добрый старик знал свое слабое место и следил за тем, чтобы в подвале у него всегда было несколько литров винца. В критические же минуты предусмотрительная старушка попадья доставала из укромного уголка заветную посудинку, полну-полнехоньку. Только в этих случаях она становилась скрягой и считала каждый стаканчик, выпитый стариком, чем иногда очень его обижала. А нынче маленькая неосторожность привела к тому, что иссяк и этот источник.

Ну ее к бесу, обиду, лишь бы нашелся стаканчик припрятанного вина, чтоб хоть вспомнить его вкус и повеселить взгляд его цветом и блеском. Но вот уже целую неделю ни сам батюшка, ни кто другой в Глушинове даже не нюхал ничего такого. Отсутствие хотя бы капли живительной влаги этой наполняло души унынием, расслабляло сердца, придавало лицам кислое выражение.

И надо же было случиться такому на успенье! Люди готовились к причастию, постились, а во всем селе даже для святого таинства — ни капли вина... Если б подобное можно было заранее предвидеть, вино так или иначе раз-

добыли бы; но батюшка спохватился только нынче утром, как вошел в церковь. Если б вы только видели, как он был растерян! Даже в жар бросило беднягу!

— Как же быть? — задал он себе вопрос и кликнул пономаря.— Беда, Тодор. Знаешь, что случилось?

— Что такое? — раскрыв рот от удивления, спросил тот и уставился на священника, ожидая услышать какую-нибудь необычайную мирскую новость.

— Нет вина для причастия! — с отчаянием ответил отец Серафим и понурил голову.

— Да ну? Вот так штука! — оторопел пономарь, будто нарушил канон.

Батюшка безнадежно опустил руки.

— Такая закавыка!

— Как же быть, отец Серафим?

— Не знаю, Тодор...

Оба долго смотрели друг на друга. Наконец пономарь почесал в затылке.

— Так нельзя, отец Серафим. Подожди малость, поспрошаю у односельчан: авось сыщется.

Тодор вышел из церкви сам не свой и быстро зашагал к корчме. Шел и думал: «Двора не пропущу, а найду непременно».

На мосту он остановился и, загибая пальцы, стал прикидывать:

— У Ивановых нету, пойду к Божичковым; не найду у Загорских, зайду к Чемерницам; ежели и там нету, пойду туда, а оттуда — туда... потом туда... потом... Ха... Да нет... у этих, верно, и воды не сыщешь, такие снохи ленивые!

Тодор вздохнул. Под мостом резвилась, как девушка, быстрая и прозрачная река — болтала без умолку, плеща по камням, только что разбуженная приходом утра, спешила вниз, как бы твердя: «Прощай, прощай, прощай!..» Пономарь, глядя на реку, задумался: «Кабы мог я, подобно господу в Кане Галилейской, превратить ее в вино... и для причастия и для народа хватило бы, да... Э-эх!» — вздохнул он и в раздумье пошел дальше.

— Что ты там бормочешь, Тодор? Уж не молитву ли какую забыл? — окликнул его сосед Ангел.

Тодор обернулся.

— Беда, дядюшка Ангел, грех большой! Нету вина для причастия... Батюшка ворчал, ворчал, нахохлился, будто наседка в гнезде,— не знает, служить ему нынче либо нет.

— Поди ж ты! — удивился Ангел, шедший как раз причащаться.— Статочное ли дело? Найдется...

— Как знать,— пожал плечами пономарь.

— Послушай, Тодор, что я тебе скажу,— поразмыслив, молвил дядя Ангел.— Сбегай ко мне домой, скажи жене, пускай даст бутылку, ту... ну, она знает... Скажи, мол, я сам тебя послал. Про черный день берег, но раз такое дело... Коли для причастия — пускай отдаст...

Озабоченное лицо бедного пономаря просияло от радости, как будто этот человек с маленькой головой и в крылатке без рукавов — не дядя Ангел, а настоящий ангел господень. Тодор быстро добежал до Ангелова дома, получил заветную бутыль и на возвратном пути, не утерпев, заглянул к старухе попадье, похвастался. Потом уж поведал обо всем попу, и за этой беседой мы застали их на амвоне в тот момент, когда Тодор, уже успокоившись, начал старательно читать канон.

Голос его звонко звучал в тихой, почти пустой церкви. Под синим сводом купола поплыл торжественный и трепещущий гул, словно ангельский хор вторил каждому его слову. Это привело бедного пономаря в умиление. И когда он, озаренный огнем божественного вдохновенья, поднял голову и запел «Благословен еси, господи», глаза молящихся женщин налились слезами, тоже слезами умиления.

Тем временем отец Серафим в алтаре занимался своим делом — не таким легким, как можно подумать. Еще бы! Надо положить столько поклонов. Надо полчаса, если не больше, простоять перед престолом с воздетыми вверх руками и молиться, помянув стольких грешников на селе да вдвое больше святых на небесах...

Дважды воздевал батюшка дрожащие старческие руки перед святым престолом и долго молился. Дважды брал кадило и кадил в алтаре. Дважды преклонял он смиренно колена перед престолом и целовал его каменное подножие.

Но в третий раз...

В третий раз, с самыми чистыми помыслами и верой преклонив свое старое тело, он заметил под престолом посудину, в которой как будто светились глаза лукавого.

Старик, взволнованный, тотчас величественно выпрямился во весь рост, воздел старческие руки, закрыл глаза и стал усердно читать молитву. Длинные волосы его рассыпались по плечам, словно расплавленное серебро, белая борода задрожала. Но и перед закрытыми глазами его в темной глубине неотступно маячил призрак бутыли

и рос, рос, словно стремясь заполнить всю вселенную. А внутри бутыли лукаво смеялись блестящие глаза сатаны.

Изумленный священник поспешно склонился в глубоком поклоне. Но глаза его открылись сами собой и снова узрели под престолом неодолимую искусительницу. Снова выпрямился бедный старик, закрыл глаза, смиренно скрестил руки, поднял убеленную сединами голову к небесам и от всего сердца прошептал: «Не искушай раба твоего, владыка!»

Но в темноте перед глазами его продолжал, алея, мерцать искусительный призрак бутыли,— сперва маленькой светлой точкой. Эта точка росла, увеличивалась, увеличивалась, пока снова не появились те самые яркие лукавые глаза, словно пронзившие сердце священника.

В конце концов силы изменили старику, и он сдался. Откинул покров на престоле, взял проклятую посудину, не сознавая, что делает, поднял ее обеими руками и, весь дрожа, приник к ней.

— Ишь ты! В самом деле славное вино,— облизываясь, прошептал он.

Потом прислушался.

На дворе еще не совсем рассвело, и густые сумерки, проникая сквозь пыльные стекла и железные решетки маленьких окон, наполняли какой-то таинственностью глухую церковь, в тишине которой спокойно, торжественно разливался голос пономаря. Слышно было даже слабое потрескиванье восковых свечей, глубокий вздох какой-нибудь молящейся и шамканье беззубого старческого рта, умиленно шепчущего молитву.

Священник пришел в ужас.

— Господи! Что же я наделал!

Как подкошенный упал он на колени, положил руки на горлышко и, склонив на них голову, задыхаясь, торопливо зашептал:

— Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей. Согрешил я пред тобой, выпил из...

Забывшись, он незаметно отклонился от текста молитвы и бессвязно забормотал:

— Паче всего, очисти мя от греха моего, кой совершил я, отпив этого проклятого вина, что так нахваливал Тодор... и недаром хвалил...

Тут он в ужасе остановился. Отчаяние заставило его снова подняться. Он закрыл глаза, бессознательно поднял посудину и стал пить — быстро, жадно, тревожно.

Терпкое вино, разлившись по жилам, произвело чудное действие. Он почувствовал прилив сил — телесных и духовных. Руки его перестали дрожать, язык развязался. Слова слетали с уст ясные и отчетливые, в голосе снова зазвенели металлические нотки. Старик сам заметил перемену. Гордый, величественный, улыбающийся, он обошел храм с кадилом в руке, распространяя вокруг веселье своего сердца.

Живой взгляд ясных глаз придавал особую прелесть старческому лицу его, сияя благостью, наполняя сердца прихожан любовью, тихой задушевностью и возвышая души их над всем плотским, земным.

В тот день литургия отличалась особым благолепием. Тодор-пономарь пришел в такое умиление, что самые твердые гласные при чтении становились в устах его мягче ваты, слаще меда, звучнее пастушьей свирели.

Когда служба подошла к концу и сноп лучей восходящего солнца, проникнув в алтарь и озарив распятие, заиграл на стеклянных подвесках паникадила, когда бедный пономарь, возведя сладко полусмеженные очи горе, возгласил «аминь», все увидели на амвоне, прикрепленном к стене, как ласточкино гнездо, величественную фигуру батюшки.

Воцарилось молчание.

— Благочестивые христиане! — страстно заговорил он, простирая руки вперед.— Благочестивые христиане, чем вы благочестивее, говорю, тем больше и добра увидите! Тяжко и горько нам, грешным! Ну, бабы — куда ни шло: они всегда сплетничают!.. А мужики? Пьяницы? Что о них сказать? О братья мои, не обижайтесь, что я вам правду в глаза говорю! Истина есть истина! Ваша приверженность к питию хмельному всегда, ныне и присно и во веки веков — неугодна господу. Не сулит она вам добра на том свете! До чего дошли мы, братья-христиане?.. Чтоб капли вина не приберечь для святого причастия! Но как здесь, на грешной земле, осушаете вы бочки, так и на том свете, в преисподней, будут сохнуть языки ваши, жаждая капли влаги... Возьмитесь за ум, христиане, пока не поздно! Тяжко будет вам, когда наступит второе пришествие... Аминь!

Когда церковь опустела, только один пономарь и узнал, что подвигло отца Серафима на эту речь.

1902

НАПАСТЬ БОЖЬЯ

Вспыхнула в селе коварная болезнь — тяжелая болезнь — и пошла гулять по домам.

Исчезла радость, омрачился измученный люд.

Будто злые духи пролетели над селом.

— Господи, господи, какой же это тяжкий грех мы совершили?

И стал церковный колокол каждое утро оглашать медным стоном своим удрученное маленькое село, сзывая старых и малых на молитву. Священник усердно служил литургию за литургией. Двери маленькой церквушки с утра до вечера стояли открытые, и люди, измученные, кающиеся, испуганные, приходили сюда по два-три раза в день поставить свечку, помолиться, принести богу в дар самое дорогое. Несколько раз устраивали водосвятие, елеосвящение, посеребрили оклад иконы божьей матери, засыпали приношениями икону святого Иоанна-целителя,— ничто не помогало. Болезнь с каждым днем свирепела все больше, косила все немилостивей.

Учитель долго думал и наконец объявил, что страшную заразу распространяет поповский колодец. На площади перед домом священника находился старый колодец, вода которого — надо сказать правду — была вкусней родниковой. Но при нем не было бадьи, и застоявшуюся воду черпали кто чем придется, а пролитое стекало обратно в колодец. Учитель был прав, но он был очень молод, и люди ему не поверили, продолжали разносить страшную заразу по селу. А толстый священник, суеверный, как все священники, подливал масло в огонь.

— Это напасть божья! — твердил он.

И назло учителю освятил колодец.

Эпидемия усилилась. Почернеет у человека перед глазами, ударит ему в голову, все-то ему опостылеет, и лежит он — ни жив ни мертв — день за днем, неделю за неделей. Сохнет, вянет,— пропал вконец. Так умерли Неда, Аглика, Ирмена — молодуха, можно сказать, прямо из-под венца. Положили в одну могилу Магду с Ягодином — влюбленных двух, молоденьких совсем, гордость села.

Даже каменные сердца — и те дрогнули от жалости.

Нависло что-то страшное, черное, мучительное, безысходное. Отчаяние и безутешная скорбь воцарились в сердцах, печаль легла на добродушные крестьянские лица. И это — в самую страдную пору, время трудов, тяжких усилий,— не то за больными ходи, не то в поле работай!

Потемнели ясные сельские дни, помутились спокойные тихие ночи. Вечером все разойдутся по домам, все стихнет, притаится, а с четырех концов села подымутся отчаянные вопли и стенания лишившихся ребенка матерей, овдовевших молодиц и носятся, тоскливые, устрашающие, до самой зари.

И другая беда нагрянула. Началась засуха — словно опустошительный пожар, спалила все, иссушила поля и посевы, родники и колодцы. Грозный трехмесячный зной, распространившись всюду, принялся губить, сушить, жечь. Целых три месяца на ясном небе — ни тени облачка. Солнце, как назло, день ото дня все сильней и сильней распалялось, все сильней и сильней пекло. Над сожженными полями и посевами, над почерневшими парами и растрескавшейся землей заиграло страшное марево. Будто самый воздух пылал, входя в грудь из каких-то адски раскаленных труб. Легкие пересыхали. Рот жаждал воды. Запекшиеся губы трескались до крови.

Раскаленная природа приняла печальный, убитый вид. От каменистых голых скал над селом и красных сыпучих оползней шел тягостный, жаркий дух, как от груды расплавленного металла. Черной мглой потянуло из лесов, и духота сменила их прохладу. Ручейки и лесные потоки, родники и колодцы, болота и озерки, лужи и мочажины — все пересохло. Скотина гибла из-за недостатка воды, попрятались веселые птички. Тяжело махая крыльями, раскрывши клювы, перелетали истомленные жаждой вороны, и унылое карканье их заставляло крестьянские сердца разрываться от скорби. Аист задумчиво зашагал по высохшим мочажинам. Жаворонки, задушенные страшным зноем, падали с высоты мертвые, высунув язычок, с клювом, полным алой крови из разорвавшегося певучего сердечка.

Становясь с каждым днем все страшней и губительней, сушь, будто невидимая дьявольская птица, своими огненными крыльями гнала прочь каждое облачко, только оно появится на горизонте. В смертельной печали возвращались вечером с поля усталые, опаленные солнцем жнецы. С полыхающих колосьев на бескрайних нивах дождем лилось тощее, худое зерно. Над широким, волнующимся, будто море золота, полем не носился звонкий отголосок ни одной жатвенной песни. Безмолвно с утра до вечера мелькали там жнецы. Безмолвно сгибались и выпрямлялись. Безмолвно, как подбирают трупы на поле боя, складывали в крестцы пустые снопы, и сердца обливались кровью.

Поле молчало, словно обезлюдев. Только откуда-то с отдаленного лесного участка донесется тихо и протяжно надрывный плач горькой вдовицы либо безутешной матери, и печальный отзвук его упадет, словно отраженный небесным куполом, будто холодным кинжалом ударив в сердце.

Всюду уныние и скорбь, как во время черной чумы или перед вторым пришествием.

Напрасно каждый праздник священник сзывал на молебен старого и малого со всех четырех концов села. Напрасно дети каждый день обходили нивы и луга с хоругвями. Бог не слышал ничьей мольбы — о капле дождя, о здравии, об утешенье.

При виде понурого крестного хода у каждого сжималось сердце от боли. Длинной печальной вереницей, растянувшейся по полю, как гусеница, покорно шли крестьяне с непокрытой головой, босые, измученные, за белыми церковными хоругвями. На всех лицах печаль и раскаянье, с наморщенных лбов бежит крупными каплями пот. Босые ноги роют раскаленный песок, подымая тучи золотистой пыли, которые покрывают всю процессию, образуя черные бороздки на потных лицах крестьян. Непокрытые головы печет адское солнце. Тяжкий запах ладана и воска плывет вокруг. Целыми часами шагают они вокруг села, обходят поля, потом останавливаются и, окружив священника, долго молятся. И под этим адским раскаленным небом, посреди выжженного поля, еле слышно жалобное пенье убитых скорбью и безнадежностью человеческих существ:

— Господи, помилуй!

Все напрасно. Металлический звон лягушечьего кваканья, дрожащего над пламенным полем и скорбным селом всю ночь напролет, сулил продолжение страшной засухи.

А болезнь губила все злей и злей.

И ниоткуда ни помощи, ни надежды... Несчастные бедняки потеряли голову. Поп, довольный доходами с отпеваний да водосвятий и победой над учителем, спокойно сидел в корчме за рюмкой водки, ворча:

— Эх, люди, мало вам еще досталось... Чуму, чуму на вас! Утонули по уши в грехах, продали свои души дьяволу, забыли о посте и причастии, опились совсем, бога прогневили... Теперь жните, что посеяли! Говорил я вам: надо часовню обновить у околицы — так нет, не захотели. Вот и мучайтесь.

И люди, огорченные, пристыженные, смиренно склоняли головы. Только молодежь открыто возмущалась речами попа.

— Мы грешники, да? Пьяницы?.. Пускай лучше на свою святость поглядит!

А учитель упорно твердил, что очаг страшной заразы — поповский колодец, и горячо настаивал на том, чтобы не брать оттуда воду.

— Только так избавимся мы от беды,— говорил он.

— У-у, молокосос! — кричал толстый поп.— Яйца курицу не учат. В церковь не ходишь? Протестант!.. Безбожник!.. Ишь ты, заразу в колодце нашел!.. Из-за таких-то вот бог нас и наказывает. Колодца не троньте: руки отсохнут! Кто хочет спастись, церковь — вот она: пусть молится!

Учитель не выдержал. Как-то раз собрал парней, которые были заодно с ним, и они на глазах у всех крестьян заколотили колодец крепкими дубовыми досками. Все село собралось на площади. Староста, богатеи, старики — все возмущались поступками учителя, но молодежь и слушать их не хотела. Поп взялся было за топор, чтобы сбить крышку, но сильная рука учителя остановила его.

— Образумься, батюшка!

— Образумься?.. Прочь отсюда, безобразники окаянные, не морочьте людям голову, дьявол вас возьми,— зашипел святой отец. Глаза его горели, борода тряслась от гнева.

Тогда против него выступил буйный Младен, жених Неранзы, которая лежала больная, и брат умершей Аглики.

— Бросай топор, батюшка, у меня в глазах темнеет! — не своим голосом крикнул он.

— Дурак ты, Младен! Ни разу в церкви не был, а еще...— заикнулся было священник, позеленев от злости.

— Ступай к дьяволу со своими молитвами! Это из-за них умерла Аглика, заболела Неранза. Пошел отсюда, а то... сам не знаю, что с тобой сделаю! — закричал Младен, и глаза его застелил туман, а руки сжались в железные кулаки. Вырвав кол из плетня, он встал у колодца:

— Кому жизнь не дорога, подходи!

Старик — отец его, дрожа от негодования, простерев к нему руку, крикнул:

— Чтоб ноги твоей не было больше в моем доме, слышишь?

— Назад, отец! Никого не пожалею! — сам не свой крикнул Младен.— Сделай мы так раньше, Аглика была бы жива и Неранза здорова.

Две крупные слезы покатились по его смуглому молодому лицу.

Старики постояли, поглядели, поворчали и разошлись.

— Больно задирает нос молодежь. Чем только это кончится,— говорил отец Младена.— Видали сынка моего? Здорово живешь, отца родного убить хотел...

Парни решили днем и ночью стеречь колодец. Целый месяц после этого каждый прохожий видел возле вербы стройную фигуру парня с большой дубиной в руке, молодого, сильного и бдительного, как солдат на посту.

А зной по-прежнему палил безжалостно, а металлический стон лягушек по-прежнему дрожал всю ночь напролет над воспламененным полем, над злополучным селом, предвещая, что это не скоро кончится.

И глухое неверие появилось среди молодежи и у стариков. Злой ропот вырывался из недовольных душ и охваченных отчаяньем сердец, и люди начали топить свое горе и печаль в водке и вине. Священник, усталый, потерявший надежду, бросил молебны и водосвятия. В церковь, кроме женщин да стариков, никто уже не ходил. Зато корчма всегда была полна отчаянно пьяного народа. Там среди безобразного шума слышались греховные речи:

— Бог не знает милости — не молитесь ему! Лучше, как лягушки в высохшем болоте, проклянем и подохнем!

1901

У МЕЛЬНИЦЫ

Старый мельник дед Угрин еще раз с великим вниманием осмотрел гнилой, зацветший мельничный желоб и развалившуюся подпору под ним, потом, опираясь на клюку, с трудом доковылял до ворот и, усталый, сел там отдохнуть. Сильные боли поднялись в сломанной ноге, разбереженной этой недолгой прогулкой. Старик, глухо застонав, снял шапку и прислонился к стене.

— Ох, того и гляди, совсем охромею... на старости лет.

Солнце закатилось за дальние синие горы на западе. Там гас лишь последний кровавый багрянец, мало-помалу растворяясь в вечернем сумраке, уже лазурном, глубоком, безбрежном. Знойный летний день потух, и легкая вечерняя прохлада повеяла над землей. Где-то в поле, далеко и печально, взметнулся и замер последний всплеск грустной песни жниц. Вечерние сумерки медленно, незаметно сгущались. В небесах одна за другой начинали мерцать светлые звездочки. В соседнем пруду заквакали лягушки, и в чудной вечерней тишине металлический стон дружной

песни их дрожал как-то успокоительно и мечтательно. Заглох шумный смех и говор жнецов на дороге от мельницы к селу. На тропинке, вьющейся над рекой, мерно зазвенел колокольчик.

Шум мельницы как будто усилился.

Дед Угрин несколько раз чиркнул огнивом, закурил трубку и хотел встать, но больная нога не дала.

— Милена... Милена, куда ты девалась? — крикнул он с легкой тревогой и впился глазами в мрак.

— Тут я,— отозвался чистый женский голос из маленького садика за мельницей.— Тут я, тут.

— Ступай в дом. Поздно уже! — крикнул довольно строго старик.

— Сейчас, только вот полью... Все погорело от зноя! — ответила Милена.

Звук колокольчика медленно, мерно приближался и умолк наконец возле самого сада. В темноте появился огонек папиросы. Милена выпрямилась и с испугом посмотрела в ту сторону.

У плетня, в темной тени кустов, стоял человек, а около него спокойно пощипывал терновник навьюченный осел.

— Добрый вечер, Милена,— тихо и словно неуверенно произнес в темноте молодой мужской голос.

Легкий озноб пробежал по телу Милены. Босая, с засученными рукавами, повязанная белым платочком, скрывавшим ее буйные русые волосы, она стояла посреди сада, подобная самодиве.

— Дай боже, Свилен,— ответила она растерянно и хотела было убежать.

— Поздно поливаешь,— заметил Свилен.

Милена остановилась.

«Господи, господи!» — подумала она и промолчала.

— Как поживаешь, что поделываешь? Мы давно не видались,— смело продолжал Свилен.

— Да ведь сам знаешь: горячая пора,— застенчиво промолвила Милена.

— Как замуж вышла, никуда и не ходишь?

— А куда ходить-то?

— Мало ли куда... Видно, тебе дома лучше... со Стояном-то! — насмешливо сказал Свилен.

Милена отломила веточку от соседней ивы и, потупившись, молча прикусила листик.

— Ко всему привыкаешь. Человеческое сердце изменчиво! — опять начал Свилен.

Он курил, опершись на плетень. Рядом кротко, смиренно стоял его осел.

Милена продолжала нервно покусывать листок на веточке, не в силах ответить. Эти слова Свилена задели ее; захотелось сказать ему, что он не прав. Сердце ее сильно билось, что-то страшное волновало ей грудь, не давая вымолвить слово, глаза налились слезами, которые, казалось, вот-вот посыплются градом.

— Что поделаешь? Так уж повелось с тех пор, как свет стоит: люди — без сердца... Да, может, так-то и лучше,— задумчиво продолжал Свилен.— Люби одного, выходи за другого и живи-поживай... Продалась — и ладно... Лишь бы тебе хорошо было.

— Не говори так, Свилен. Ты же знаешь...— проговорила Милена упавшим голосом.

— Я не слышу.

— Ты знаешь, кто причиной, что... так вышло. Не кори меня,— так же глухо повторила она.

— Не слышу я. Подойди поближе. Уж больно ты боязлива!

— Мне пора в дом: отец болен... Я нынче свекровь одну оставила, его навестить пришла,— сказала Милена и робко приблизилась.

— А не забранят?

— Мне все равно... Я из-за них так отца не оставлю...

Свилен промолчал.

— А ты, Свилен, как живешь? — спросила Милена.

— Я-то? Я хорошо. Живу, работаю, пью... Удалой, веселый Свилен, которого ты знала,— помер. А тот, которого ты видишь, другой: хмурый, злой, пьяный! — ответил Свилен и затянулся папиросой.

Слабый свет озарил его круглое белое лицо, синие глаза, и Милена увидала, что он так же красив, как прежде, в те годы, когда они безумно друг друга любили. И она почувствовала в словах его ложь.

— Ишь ты какой, ишь какой! — промолвила она укоризненно, погрозив ему пальцем.— Вовсе и не переменился... С Кункой Поповой, слышно...

— Да я по-прежнему тоскую по тебе! — заговорил он снова после недолгого молчания.— И сдается мне, не так легко забуду тебя, как ты меня... У вас, женщин, нет ни на грош постоянства.

Голос его задрожал.

— Не говори так, Свилен... ты же знаешь, как я все время о тебе думаю... как люблю тебя до сих пор.

Сдавленные рыданья прервали ее речь. Она закрыла лицо руками.

Свилен, протянув руку через плетень, отвел одну из ее рук от лица.

— Тш! Не надо плакать! — нежно промолвил он.— Не надо. Еще любишь меня, говоришь? Да ведь это — одно мученье... Такая глупая любовь... скрытая, потаенная. Эх, вздор один! Ну, перестань, слышишь? Первый раз встретились, столько времени не видались, а ты плачешь.

— Свилен, Свилен!.. Если б ты знал, как мне плохо... Не знаешь ты,— всхлипнула она,— ничего, ничего не знаешь!

— Молчи, молчи!

Свилен притянул Милену поближе и обвил ее стройное тело крепкой мужской рукой. Она склонилась к нему на грудь, и губы их, как в прежнее время, слились в поцелуе, теперь уже греховном.

Ивы тихо, спокойно шептались о чем-то. Глухо стучала мельница. А в синем небе непрерывно мерцали частые звезды.

От мельницы донесся слабый голос старика:

— Милена... Милена! Куда ты девалась, детка?

Милена вздрогнула.

— Иду, иду! — откликнулась она.— Ах, Свилен, сколько раз, бывало, думаю: господи, хоть увидеть бы его разок, поговорить бы...

— Только поговорить?

— А что же?

— Ну, говори, говори... Я слушаю...

— Ах, Свилен, какой ты! Что не женишься? Кажется, мне бы тогда не так тяжко было, перестала бы о тебе думать... Привыкла бы к тем людям... Ах, как они мне ненавистны! Вот всегда так, коли свое сердце захочешь обмануть,— говорила Милена, поглаживая по лбу кроткого осла, который спокойно, ласково смотрел на нее.

— Марк, Марк! — начала она, обращаясь к животному.— Славный серенький ослик! Никому не рассказывай... Глупенькая скотинка, сколько раз ты был при наших встречах... Молчи, молчи, серенький Марк!

Свилен засмеялся.

Милена погрузилась в раздумье.

— Милена!.. Дочка! — снова послышался слабый голос старика.

— Иду! Иду! — крикнула в ответ Милена.— Чего он меня? Пускай подождет... Ах, Свилен!..— тихо продолжа-

ла она.— Не знаю, любишь ты меня еще или нет, а я... Стоян — добрый, добрый, как муха... Понимаешь, ударь я его, он заплачет, как ребенок, и ничего, ничего-то не скажет... а я его ненавижу... может, за это самое... А ты сумасшедший, непутевый, но...

— Не судьба нам жить вместе, вот в чем беда,— вздохнул Свилен.

— Ты в этом виноват, ты, Свилен!

— Бедность виновата! Я ведь говорил тебе... У чужих людей живу... Все в батраках, в батраках, совсем закабалили. И ты бы со мной горе мыкала... Как же мне было молодость твою калечить, жизнь тебе отравлять?.. Думал я, думал... голову себе ломал — и не решился...

— Кабы сильно любил, так решился бы.

— Ты все свое!.. И прежде меня корила.

— Милена! — крикнул опять старик.

И зашелся сухим кашлем за ивами.

— Иду, иду!

— Погоди,— промолвил Свилен.

— Пусти меня, Свилен, прошу тебя... Поздно уж...

— Нет, погоди...

И он перепрыгнул через плетень.

На небе спокойно мерцали звезды,— звезда к звезде. Высокие мрачные призраки ив тихо о чем-то перешептывались. Мельница непрерывно, глухо шумела.

— Милена, Милена, да где же ты? — снова крикнул старик уже сердито.

Но на этот раз ответа долго не было.

Только через некоторое время на дороге опять мерно зазвенел медный колокольчик. В тишине мужской голос вдруг негромко запел прозвучавшую так странно в ночи песню:

Годы мои молодые,
Быстро вы мелькнули...

Разлился глубокими переливами, задрожал одиноко, печально и смолк.

1903

ЛЕПО

Молодой солдат Лепо Гёргин возвращался в родное село, получив отпуск на полевые работы. Сойдя с большака, он стал быстро спускаться по крутой лесной тропинке к Проконовой мельнице.

Тяжкий июньский зной дрожал в воздухе, и все, задыхаясь, понуро молчало. Только мельница там, внизу, словно единственное живое существо, непрерывно шумела, и однообразный стук ее колеса разносился далеко по тихой, ко всему безучастной окрестности.

Лепо, в расстегнутой рубахе, в тяжелых солдатских сапогах, бодро шагал, поправляя ремень новенького, только что купленного охотничьего ружья, висевшего у него за плечом дулом книзу. Он часто останавливался, вставал на цыпочки и с нетерпением всматривался сквозь зеленую листву, что делается на мельнице: не мелькнут ли где белые рукава мельниковой дочери Войки, которую он любил неистовой любовью.

Долго Лепо не видел ее, и теперь сердце его так и металось в груди, посылая всю его молодую кровь в лицо, пылающее, облитое потом. Он торопился, мысленно рисуя себе, как она, улыбающаяся, радостная, встретит его на мостике перед мельницей. Он не мог представить себе вполне отчетливо, какое у нее лицо, какие глаза, губы, сколько веснушек под одним ушком — две или три. Распаленная кровь его захлестывала воображение, и Войка вставала перед ним, как милая, сладкая улыбка, озаренная любовным синим взглядом ее глаз. Только волосы ее, русые и золотые, как желтофиоль, светлые и пышные, как лучистое сиянье звезды, видел он ясным своим умственным взором, видел даже, как ими слегка играет вечерний ветерок. И пламя, горевшее в душе Лепо, светилось у него в глазах, плясало на его черном от загара лице, придавая этому лицу выражение задумчивое, решительное и полное надежды.

Войка была дочерью деда Горчилана, арендующего Прокопову мельницу. Это был хорошенький, маленький деревенский зверек, непринужденный, шаловливый и не слишком застенчивый. Она понимала силу своей привлекательности и была поэтому задорна и легкомысленна. Ей еще не исполнилось двадцати лет, а она уже успела не одному парню кинуть словечко и взгляд, от которых нелегко прийти в себя. Отец ее был беден и, кроме мельницы, которую держал в аренде, не имел ничего. Но Войка этим не интересовалась. Жила себе припеваючи. Пробыв трипетыре года в городе, в прислугах, научилась перехватывать волосы ленточкой, ходить чисто одетой, с голой шейкой, и так распоряжаться кружевными рукавами рубашки, чтобы они при самом невинном движении рук падали на плечи. Это было приманкой для парней и удовольст-

вием для нее самой. И, слыша у себя за спиной похвалы и воздыхания, она, встрепенувшись от гордости, делала шаловливые движения, как бы превращаясь в пчелу, которая вот-вот зажужжит в воздухе, начнет перелетать с цветка на цветок, ужалит, заблестит на солнце.

Лепо был красивый парень. С детских лет он служил батраком у зажиточных по селам. Он был сильный, работящий, ловкий. То пас овец в горах, то пахал землю на равнине, то служил кучером в имении. Влюбившись в Войку, он бросил все, вернулся в родное село, поступил сельским сторожем и стал весь день вертеться возле мельницы деда Горчилана. Войка держала его в своих сетях, смеялась над ним, мучила его, вызывала его ревность. Отчасти, может, и любила. Кто знает? Неизвестно ведь, когда женщина любит по-настоящему, всем сердцем. Она часто встречалась с ним, подолгу разговаривала и глядела ему в глаза таким взглядом, что он забывал все обиды, все плохое и, чуть не плача, просил прощения за несовершенные грехи. В такие минуты она прижималась к нему, молчаливая, кроткая, как белый ягненочек. Он чувствовал на руке своей ее мягкие волосы и не решался ни приласкать ее, ни поцеловать. Сидел, боясь вздрогнуть, пошевелиться, чтоб не вспугнуть счастливое мгновение. Войка брала обеими руками его голову и несколько раз подряд целовала его в губы, говоря:

— Не шевелись, а то — только меня и видел!

Бедный Лепо сидел неподвижно, как каменный, горя в огне.

Иногда, заметив, что Лепо идет по лесу или по мостику, Войка нарочно скрывалась в помещении мельницы. Тогда он садился в тень, под большую орешину у реки, и разговаривал с дедом Горчиланом, который, весь в муке, лежал, облокотившись на землю, курил трубочку и философствовал о жизни. Лепо сидел, встревоженный, как на иголках, страшно мучился, ждал появления Войки и слушал рассеянно. Дед Горчилан что-то долго рассказывал, потом, видя его отсутствующий взгляд, кричал:

— О чем задумался, эй, куропас?

Он смеялся громко, весело. Закашляется и опять смеется. А Лепо краснел и смущенно улыбался.

Наконец, когда мученье становилось невыносимым, выдумывал какое-нибудь дело и вставал, собираясь идти. Тут только из двери мельницы выходила Войка с прялкой в руке и, лукаво улыбаясь, кричала:

— Лепо, приходи вечером, проводи меня на село. Я боюсь одна.

Слова эти проникали в сердце Лепо, будто чудодейственное лекарство; му́ку будто рукой снимало. Устремив к ней взгляд с упованием, как пустынник к солнцу, он отвечал:

— Сейчас же вернусь.

Он возвращался очень скоро и ждал вечера, чтоб идти с ней вместе в село.

Она шла рядом, совсем близко, опираясь на его руку, и, подымаясь на цыпочки, говорила:

— Видишь, я с тобой почти вровень.

Лепо останавливался, томимый любовью, стараясь уловить призыв в ее глазах.

— Как мы друг на друга похожи,— говорила она.

— Эх, не любишь ты меня. Какая ты, Войка, недобрая!

Она брала обеими руками его голову, будто чашу, порывисто целовала его и говорила томно:

— Мой мальчик опять на меня сердится. Войка любит его!.. Вот так, вот так, вот так!

Лепо протягивал руки и, волнуясь, неловко обнимал ее. Тогда она отстранялась и говорила угрожающе:

— Рукам воли не давать! Спрячь в карманы.

Лепо покорно прятал руки в карманы, добродушно и глуповато улыбался и шел дальше рядом.

Бывало, ночью, когда дед Горчилан маленько выпьет и крепко заснет под непрерывный шум жернова и конька, Войка осторожно вылезала через низкое окно своей комнатки и тихонько шла в чащу у реки, где ее, затаив дыхание, ждал Лепо. Там они сидели, обнявшись, в бурьяне до утра.

Но иной раз Войка не выходила, и Лепо ждал напрасно. Листья отяжелеют от росы, звезды в небе исчезнут, соловьи устанут от песен, а Лепо сидит и ждет. Время от времени он подходил к маленькому окошку и тихо стучал:

— Войка, я жду!

Никто не откликался. Он медленно уходил, измученный ожиданьем, истерзанный мыслями, валясь с ног от усталости; шел к селу, но потом сворачивал в луга и, сам не свой, бесцельно бродил по дорогам. А утром, на восходе солнца, был опять на мельнице. Войка, склонившись на мостике, уже плещет в лицо себе холодной водой. Через плечо у нее золотым водопадом струятся волосы, окунаясь в реку. Первые лучи солнца осыпают ее. На поверхности запруды спокойно спят густые тени ив. Все тихо. Только

мельница ожесточенно бранится с рекой, как бы твердя ехидно:

— Течешь, течешь — утечешь, утечешь!

Лепо, перепрыгнув на другой берег, вырастал перед Войкой.

— Доброе утро!

Она выпрямляется с мокрым, покрасневшим от холода лицом и говорит:

— У-у, Лепо... Ты будто целый год не спал. Гляди, какие глаза!

— Как же я могу сам видеть свои глаза? Дай мне твои, чтоб ими посмотреть,— принужденно веселым тоном отвечает он, но слова его отдают горечью.

У него уже нет своей воли. Войка околдовала его сердце, и оно не в силах без нее жить. Оно терзается, истаивает в муках.

Вскоре Лепо забрали в солдаты. Вечером, накануне его ухода, Войка позвала его к мельнице и страшно плакала. Он тоже плакал. Она положила руку ему на плечо и только повторяла:

— Лепо, Лепо, как я буду по тебе скучать!

— Забудешь ты меня...— жалобно говорил Лепо.

— Никогда, никогда! Я буду тебя ждать. Даю тебе слово!..

С тех пор прошло несколько месяцев. Теперь Лепо возвращался, полный сердечного трепета, взволнованный воспоминаньями последней встречи, о которой ему твердило все вокруг: и зелень полей и лесов, и прохлада, и этот родной шум мельницы, и пенистая река, весело скачущая по обросшим зелеными водорослями камням. Душа его окрылялась надеждой; он бодро шагал, присвистывая и улыбаясь сияющему перед ним милому образу Войки.

Шум мельницы слышался все ближе и явственней. Вот ее крыша. Лепо почувствовал сладкую, обессиливающую истому. У него перехватило дыхание, задрожали ноги, и он оперся о ствол старого бука. Вдруг со стороны мельницы донеслись веселые, игривые звуки гармоники, прерываемые ликующим удалым гиканьем. Беспорядочные звуки эти разносились по долине с отчаянной беззаботностью, река шумно им вторила, мельничный конек хохотал как сумасшедший.

Лепо удивился. Кто это играет так сладко, так беспечно? Он спустился по тропинке, быстро подошел к реке, остановился неслышно в гуще орешника и поглядел. Перед мельницей в тени орехового дерева сидел на большом

пне лавочников сын Иванчо и в упоении, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, самозабвенно играл. Он сидел нога на ногу, и начищенные сапоги его блестели. Перед ним стояла Войка — босая, с голой шеей, с расчесанными распущенными по плечам волосами и, как завороженная, слушала. Иванчо глядел на нее и улыбался. На жилетке у него висела тяжелая серебряная цепочка.

В сердце Лепо пулей впилась жестокая догадка. Любовь, ревность, обида завязали в душе его жестокую борьбу, мгновенно разрушив все его розовые надежды и лазурные мечты. Он понял, что обманут, и уже не мог смотреть, ушел в лесную чащу.

Долго пробирался он сквозь кустарник и колючие сучья, сам не зная, куда идет. Вслед ему бежали взапуски веселые, игривые звуки гармоники. Казалось, будто по всему лесу пошел невидимый хоровод, охватив его своим безумным кольцом. В душе его страшно разрасталась ревность. Пальцы его судорожно впились в землю, словно когти раненого орла.

До него не доходили больше беззаботные звуки гармоники, но в глазах стояла фигура Иванчо —в небрежной позе, с тонкими подкрученными усиками, с серебряной цепочкой на животе, в шапке набекрень и начищенных до блеска сапогах. В пылающей голове Лепо проносились разные планы мести. Войка изменила. Забыла свои обещанья. Любит другого. А ему легче в могилу сойти, чем отступиться от нее. Он ее похитит, а коли она не захочет — так убьет.

Лепо сосредоточился на этой мысли, чувствуя, что при виде мертвой, убитой Войки сознанье его застилает туман темной жестокой радости и любовь торжествует отмщенье... Или нет! Он острижет ее наголо, чтоб она целый год на людях не могла показываться, чтобы все ее подымали на смех.

Когда стало смеркаться, Лепо встал, закинул ружье за спину и пошел, как пьяный. Все кончено. Он не будет просить ее ни о чем. Не пойдет к ней. Но чудные воспоминанья пробились сквозь мрачные мысли, и сердце его уступило зову страсти. Он опять спустился к мельнице, перешел мостик. Лавочникова сынка больше там не было. Войка сидела на пороге мельницы — одна, за прялкой. При виде его она вскочила. Лепо заметил, что она не рада ему. Он смущенно поздоровался, снял фуражку, стал вертеть ее в руках и глухим голосом, с трудом произнес:

— Что, не узнала?

— Узнала, как не узнать?! — довольно резко ответила Войка.

— Не рада мне...

— Э, дело прошлое...

Войка на мгновенье скрылась в доме, но сейчас же вернулась.

— И ты забудь меня, Лепо!

Лепо чуть не заплакал. Войка, о которой он думал день и ночь, спокойно, холодно отвергает его. Он почувствовал себя жалким, ничтожным, униженным.

— Хорошо же! — гневно, угрожающе возразил он, нахлобучив фуражку на лоб, быстро повернулся и зашагал к лесу.

Вспыльчивая Войка возмутилась.

— Не запугаешь. Не на такую напал! — язвительно кинула она ему вслед.

Лепо пришел в село поздно вечером, весь разбитый от душевных страданий. Ему не хотелось идти в дом. Он сел на камень возле хлева. К нему подошла собака; она узнала его и стала, ласкаясь, прыгать на его колени. Лепо погладил ее по спине, но ничего не сказал. Долго сидел он там, подперев голову рукой, вперивши глаза в темноту, но никуда не глядя. Взгляд его был устремлен внутрь, в его собственную, отчаянно рыдающую душу. Свет в доме погас. Село сладко заснуло в нежных объятиях прекрасной звездной ночи. Смолкли последние звуки свирели какого-то неискусного паренька. Где-то умолк медный колокольчик, и ночная тишина наполнилась непрерывным пеньем кузнечиков и настойчивым металлическим стоном лягушек, доносящимся с соседнего болота.

Лепо встал, походил по двору. Потом, после некоторого колебания вошел в хлев, погладил корову, приласкал жавшегося к ней теленка. Сказал что-то старой лошади, с трудом жевавшей свежескошенную пахучую траву, опять вышел и стал посреди двора, неподвижно, как столб. «Войка, Войка»,— кричало что-то в душе его. «...Войка, Войка»,— хором повторяли кузнечики и упорно твердили лягушки.

Лепо вышел из калитки, пошел в поле. Мука и ревность толкали его вперед, и он, не зная, куда идти, зашагал в темноту. Он чувствовал себя совсем одним во всем мире. Даже собака на него не залаяла. Он шел, словно гонимый колдовскими чарами дух, спотыкаясь о кочки и бредя бесцельно куда глаза глядят. Это продолжалось долго. Он дважды перешел поперек все поле. На рассвете по-

вернул в луга, свалился под стогом сена и от усталости заснул как убитый.

Когда он проснулся, солнце сияло высоко в небе, овчары гнали стада на полдневный отдых. Лепо проворно, по-солдатски вскочил на ноги, осмотрелся. Все мирно, спокойно. В поле идет работа. Кое-где слышны песни... Неподалеку косец отбивал косу, и мерный звук точила весело разносился по лугу. На противоположном холме пел медный колокольчик. Но среди этой милой родной картины мгновенно возник образ Войки и стал опять терзать его. Страшно захотелось ее видеть. Но он вспомнил про вчерашнюю обиду, и сердце его снова начало кровоточить.

Лепо повесил ружье на плечо и опять пошел на мельницу. Проскользнув, как призрак, по знойному полю, он очутился в лесу. Веянье лесной прохлады отерло пот с его лица, будто шелковым платком. До ушей его донесся знакомый шум мельницы, будя все дорогие сердцу воспоминания — вплоть до вчерашних, убийственных. У Лепо было такое чувство, словно сердце его ударилось о череп и разбилось в куски, рассыпавшиеся по всему телу. Он побледнел, ноги у него подкосились, и он повалился на лежавшее дерево, будто раздавленный страшной тяжестью.

Вдали по дороге проехал верхом Иванчо, удаляясь от мельницы. Лошадь под ним так и плясала. Он дергал ее за узду, давал ей шпоры, и сапоги его блестели на солнце. Вчерашняя ревность опять впустила когти в грудь Лепо. Он вскочил и бросился по извилистой тропинке в лес.

Сойдя к большим утесам у реки, он остановился. В лесу было тихо. Бурлило только возле мельницы да в душе у Лепо. Он прислушался. Ему показалось — кто-то плещется в воде. Он осторожно выглянул из-за утесов. В большом затоне, осененном густыми ольхами, купалась Войка — белая, как снег в горах. Сквозь веселую листву ольшаника лился целый дождь солнечных лучей, падая на прекрасное тело Войки и покрывая его золотыми чешуйками. Она ныряла в воду, как рыба, испуганно выпрямлялась, тревожно смотрела вокруг и прислушивалась, как самодива. Волосы ее рассыпались по груди, мягкие и блестящие, словно кованое золото.

Лепо на минуту остолбенел, стал как каменный. В голове у него помутилось от ревности и обиды. Сам себя не помня, обезумевший, он скинул с плеча ружье, приложился и, зажмурившись, грохнул выстрелом.

Резкий пронзительный крик огласил долину, вызвав отчаянное эхо и пронизав Лепо с головы до ног, как рас-

каленной проволокой. Он бросил ружье и кинулся опрометью бежать.

Вечером на берегу реки было найдено голое тело Войки, окровавленное, мертвое.

На другой день крестьяне узнали, что Лепо пошел в город, отдался в руки властей и рассказал все, как было.

1905

САМОДИВСКИЕ СКАЛЫ

Забредя на охоте до тенистых расселин матушки Стара-планины, мы с Чумаком — знаменитым горным охотником, проведшим полвека в блужданьях по дремучим горным лесам и дебрям,— спокойно отдыхали в густой тени буков возле шумного потока. Мир и торжественная лесная тишина царили вокруг, как бы поглощая дикое эхо шумящих потоков и водопадов, чей непрерывный рев наполнял холодные темные ущелья, разносясь бодрящей стихийной песней по дремучим лесам. Над нами незыблемо, прямо, стремительно вздымались высокие пики, смело вознося свои голые, скалистые, сурово-прекрасные вершины в небесную лазурь. А еще выше, над этими надменными гигантами, в светло-синем поднебесье медленно и спокойно парил в непостижимо смелом полете горный царь — орел.

Улегшись навзничь на влажном зеленом ковре из брусники и душистой герани, я смотрел на рослую, могучую, костистую фигуру старого Чумака, который, сняв шапку, сидел рядом и, внимательно наклонившись, чистил свое не знающее промахов ружье. На высокий, выпуклый, морщинистый лоб его падали мокрые от пота мелкие пряди серебристо-серых волос, что удивительно шло к его продолговатому, сухому, но здоровому, румяному лицу, как всегда полному презрительного спокойствия, характерного для такой закаленной и вольной души. Густые нависшие брови, зоркий охотничий взгляд темно-карих глаз и длинные серебряно-шелковые усы, концы которых доходили до самых плеч,— придавали всему его молодецкому облику удивительную привлекательность и благородство.

Он вскинул ружье и шутя прицелился в повисшего черной точкой на неизмеримой высоте орла, который проплывал как раз перед солнцем, отбрасывая, подобно маленькой тучке, темную тень на синие скалы и обрывы противоположных гор.

— Эх, бей мое ружье, куда хватает глаз, застрелил бы я проклятую птицу! — воскликнул он, следя за ней взглядом.

Она долго плавала в вышине, то медленно спускаясь и чертя в пространстве широкие круги на неподвижных крыльях, то могучим взмахом устремляясь вверх и исчезая в лазури. Наконец, сделав крутой поворот, демоном ринулась вниз и величественно села против нас на острые скалы.

— Это Самодивские скалы,— промолвил старый Чумак после долгого молчания.— Неприступные, высокие, грозные, полные змей. С самого сотворения мира нога человека не ступала там и вряд ли когда ступит. Жители окрестных — ближайших и дальних — сел говорят, что с этих скал видна полоска Эгейского моря, в котором утром и вечером купается солнце.

И старый охотник, вздохнув, стал спокойно, неторопливо, голосом, исходящим как бы из самого сердца, рассказывать мне чудную легенду о Самодивских скалах, которые рисовались перед нами на небосклоне в лучах заходящего солнца, острые, высокие, отчужденные, непостижимые, сумрачные, поросшие мохом и лишаями. А вокруг них обрывы, осыпи, леса, утесы, беспорядочно, хаотически раскиданные пропасти и бездны.

В глубокой долине у подножья этих громад было село,— горное село, с хижинами, словно разбредшимися по лесу, далеко друг от друга. Его обитатели, настоящие дети лесов, жили свободно, как горные орлы, не знающие ни страха, ни границ своему полету. В темном лесу весь день гремели выстрелы охотничьих ружей, на просторных полянах звенели колокольцы далеких стад, ущелья оглашались песнями девушек, окликами юношей, сладостными звуками свирели.

Но эти неприступные скалы своей дикостью и надменностью как бы бросали упрек и дерзкий вызов смелым сердцам юношей, для которых не существовало непроходимых ущелий, недостижимых высот. Какой-то тайный стыд тяготил их юные души, и они не могли глядеть без подавленного вздоха на эти скалы, с чьих острых вершин можно видеть море, в котором купается огненное солнце.

Кто в молодости не жаждал увидеть нечто прекрасное с величайшей высоты? Но кто рискнул бы отправиться в такой путь, полный опасности и неизвестности? Каждая мать содрогалась при мысли, как бы ее сына не соблазни-

ла слава великого подвига. Юноши задумывались и вздыхали.

А юная Магдалина еще усугубляла мученье их сердец: это была самая прекрасная девушка на свете.

Магдалина беспечно пасла отцовских коз на горных полянах, рвала цветы в лесу, плела венки, делала букеты и пела. А по вечерам заходящее солнце, кидая последние лучи свои на скалы, где находились шалаши ее отца, прощалось с самой прекрасной в мире пастушкой, которая, резвясь, как ребенок, в венке из золотых первоцветов, гнала на ночлег милое ее сердцу стадо.

Парни тайно тосковали по ней, и жалобы их медных свирелей печально лились по веселым лесам, далеко разнося славу Магдалины.

И вот лучшие парни со всей округи стали наперебой просить ее у отца. Богатеи старались прельстить его своим достатком; бедные, но обладающие пылким сердцем готовы были пойти на смертельно опасный подвиг, лишь бы только завоевать эту горную царевну.

— Мала еще,— отвечал старик.

Но как-то вечером, глядя, как она гонит стадо, вся сияя молодостью, с алым румянцем на щеках, с глазами светлыми и ясными, как лесной ручей, но горящими пламенем желаний, он задумался.

— Я не хозяин ее сердца,— стал он отвечать с тех пор.— Пусть сама выбирает себе молодца.

Магдалина спокойно пасла отцовских коз, как будто не обращая никакого внимания на парней, которые сходили по ней с ума, подстерегали ее, ждали со своими стадами в лесных чащах. Это была страшная обида для юных сердец. И однажды ночью кто-то поджег шалаши ее отца, и огненные языки осветили всю гору. Но это не испугало старика.

— Пускай меня сожгут всего, как есть. Магдалина моя сама выберет себе друга,— спокойно отвечал он всем.

Вскоре он, войдя утром в загон, увидел, что все его стадо безжалостно вырезано. Кровью облилось сердце старого горца. Гнев и страдание обожгли его стариковскую душу. Обняв опечаленную дочь, он промолвил:

— Я не сержусь на тебя, дочка. И знай, мое слово твердо. Я не хозяин твоего сердца. Твой выбор будет и моим выбором.

— Я выйду за того, кто сводит меня на вершину Самодивских скал,— ответила Магдалина.

Парни остолбенели. Что это? Насмешка? Кто же спо-

собен взойти с ней на неприступные скалы? У кого найдутся орлиные крылья, чтобы взлететь туда?

Каждый, таясь от других, обошел Самодивские горы и вернулся, опустив голову.

Немыслимо!

Только Перун не пришел в отчаяние.

Это был молодой, стройный, смуглый юноша, с высоким лбом, черными глазами и светлым взглядом, с гордо поднятой головой. Сгорая от страстной любви к Магдалине, он решил либо погибнуть, либо добиться ее. Он упорно следил за ней, похищал у нее венки, сплетенные из первоцветов.

— Магда,— сказал он ей наконец,— ты видишь: я тебя люблю. Я не боюсь. Я отведу тебя!

— Тогда я полюблю тебя и буду твоей,— дрожа, ответила Магдалина.

— А если мы погибнем? — спросил юноша.

— Мы погибнем вместе,— ответила она и в свою очередь спросила: — А если не доведешь?

— Не веришь, так не ходи.

На другой день к поляне у подножья неприступных вершин собрался со всех окрестных гор, изо всех шалашей разодетый будто на свадьбу народ — смотреть, как Магда и ее смелый возлюбленный полезут на отвесные скалы.

— Безумец,— стали отговаривать его старики.— Идти на погибель ради женщины!

— Ради любви,— возразил юноша.

— Магдалина, если тебе не жаль себя, так пожалей его! — сказал кто-то и девушке.

— Но если я увижу дивное море? — ответила она.

— Что ж из этого?

— Как что из этого? Я узнаю, правда ли Перун любит меня.

— А еще что?

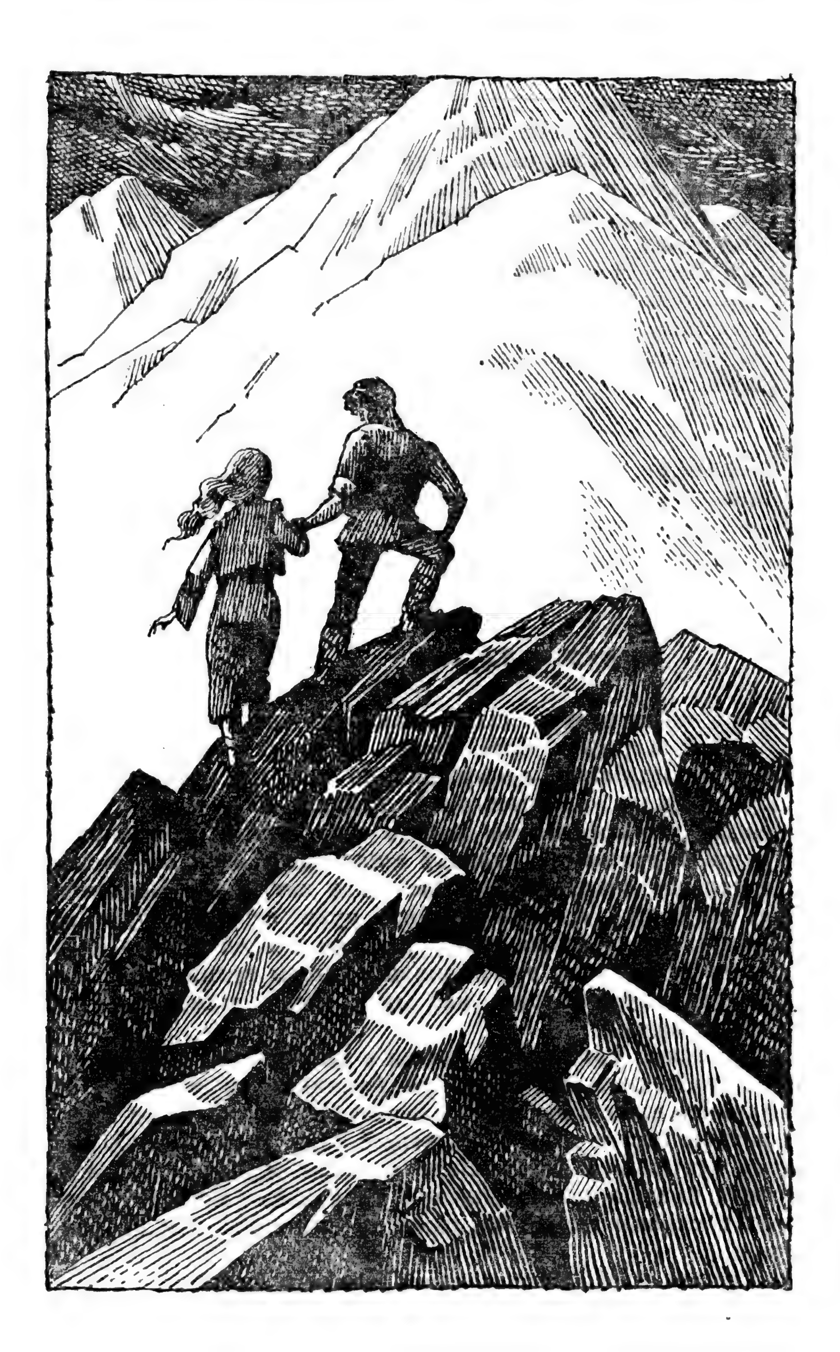
— Мне больше ничего не нужно.

И, взяв его за руку, промолвила:

— Идем!

Затаив дыханье, следили стоявшие на поляне внизу, как юноша и девушка перепрыгивают через кусты и камни, карабкаются по обрывистым склонам, с каким трудом отыскивают они в размытых дождями утесах опору для ноги, с какой нежностью и каким вниманием поддерживает юноша свою подругу и ведет ее к облакам.

Когда Магдалина садилась отдохнуть, он ходил вокруг,



ища пути вперед, клал камни, устраивал ступеньки, нагибал кустарник, чтоб было за что ухватиться. Потом, усталый, возвращался назад и вел ее дальше. Они погружались в пропасти, надолго исчезая из глаз зрителей, которые опускали головы, цепенея от страха. Но смелый юноша снова появлялся над бездной со своей дорогой подругой на руках.

Наконец они взобрались так высоко, что их совсем перестало быть видно. Но вершина страшных скал была еще выше.

С тех пор прошло много лет. Магдалина и Перун не вернулись.

Никто не знает, удалось ли им взобраться на вершину неприступных скал. Но все с удивлением говорят о их любви и смелости.

1902

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Ну вот, после трехлетних скитаний по чужбине Липо возвращался в родное село. Босой, в узких брюках, какие носят полицейские, лопнувших по шву под напором его могучих бедер, в заношенной рубахе, облепившей, как клеенка, его коренастое, потное тело, грязный, всклокоченный, в рваной соломенной шляпе на голове, он выглядел гораздо старше своих двадцати лет. Липо медленно идет по берегу Искыра, закинув руки, словно паруса, за большую палку, лежащую у него на плечах. Босые ноги тяжело ступают по раскаленной солнцем тропинке, подымая целые тучи мягкой, как мука, пыли, устилающей ее толстым слоем.

Тропинка прихотливо вьется в живописной речной долине, то поднимаясь вверх по каменистому взгорью, то спускаясь вниз к песчаному берегу. Вокруг высятся горы, поросшие лесом, одетые в зеленый убор. В синем небе над ними стоит июльское солнце и жжет, палит. Река меж холмов тяжело дышит холодом, беспокойно мечется, негодует и спешит скорее на равнину вздохнуть там на просторе.

Все эти места были хорошо знакомы Липо, но он шел, как чужой, не замечая даже шума реки, у которой пас ко-

гда-то вместе с отцом деревенское стадо. Медленно, тяжело шагал он к лесистым холмам, за которыми начиналось родное село, и думал о недавно умершей матери, об отце и о сестре, которую, уходя, оставил ребенком, а теперь увидит уже невестой.

— Эх,— вздохнул он,— с пустыми руками иду. Столько лет загубил! Ну, ничего. Приду в деревню, засучу рукава. Начнем землю обрабатывать как надо, опять станем на ноги. Только б отец долг выплатил, а там уж не страшно.

И Липо стал мечтать, как выстроят они себе новый дом с садом, как он женится на самой красивой девушке на селе, какую хорошую одежду сошьет ей и отцу. По праздникам, только ударят в клепало, будет ходить с молодой женой в церковь, ставить свечи перед новой иконой, которую сам туда пожертвует. Все с ними здороваются, завидуют им, диву даются. Еще все впереди... Чем он только не пробовал заниматься! Был полицейским, мусорщиком, слугой, сцепщиком вагонов — ничего не скопил. Зато ума-разума набрался. Теперь знает, как жить.

В лесу Липо решил отдохнуть у небольшого родника и лег навзничь под деревом. Сквозь ветви деревьев виднелось небо. На зеленых листьях бука играли солнечные блики; вокруг порхали птицы, ворковали голуби. Очарованный всем этим, Липо размечтался, как, бывало, в детстве, когда был влюблен в маленькую Николину.

Вдруг в чаще затрещал валежник и послышался резкий кашель. Прямо из кустов к роднику вышел маленький, сухонький человечек лет пятидесяти, в крестьянских штанах, форменной куртке и шапке лесника, с ружьем за спиной.

— Добрый день,— сказал он глухим голосом и снова закашлялся.

— Отец! Ты? — вскочил Липо.

— Сынок!.. Липо? — еле выговорил лесник, узнав сына.— Домой идешь, да?

В душе этого безответного, больного человека поднялась могучая, теплая волна любви и нежности, накопившихся за долгие годы, подкатила к горлу. Липо стоял перед отцом растерянный, словно виноватый в чем-то, не смея взглянуть ему в глаза, и вертел соломинку, не зная что сказать. Отец сел против него, снял шапку и вздохнул.

— Значит, домой вернуться надумал, сынок? Только плохое выбрал время.

— Отчего? — смущенно спросил Липо, покусывая соломинку.

— Отчего? Без скота мы остались, пахать не на чем. Корова сдохла. А другую намедни чорбаджии чуть не даром отдал,— долгу посбавил маленько. Прямо по рукам и ногам связаны.

— Так вот почему ты в лесники пошел?

— Пошел, что поделаешь! Теперь у нас старостой тот волк,— ну он уговорил. На него, почитай, и работаю. Жалованье мне в месяц тридцать левов положено, так я себе только десять беру, остальное ему за долг идет. Хожу деньденьской по лесу, думаю, думаю, голова раскалывается. Как раньше мы жили и чем стали!

Старик опустил голову, сильно тронутую сединой. Голос его оборвался, как от рыдания, сухой кашель потряс все тело.

Липо посмотрел на отца,— жалко стало. Захотелось сказать что-нибудь хорошее, утешительное, подбодрить старика, но он не находил слов.

— Будь он проклят, мундир этот. Душит он меня! Мне бы в поле ходить за сохой... Эх! — вздохнул отец.

Голос его задрожал от сдерживаемых слез, бледное лицо страдальчески сморщилось.

— Не горюй, отец. Что поделаешь, такие уж нынче времена. Дай срок, пойдет и у нас дело на лад. Видишь, я здоровый, сильный. Примусь за работу — выправимся. Хуже нет, когда человек вздыхать начнет да раздумывать... Не робей!

— Эх, сынок, сынок,— вздохнул отец.— Голыми руками работать не станешь. Сгнила соха моя: сердце ей, как и мне, червяк источил.

— Не отчаивайся, отец, это главное. У тебя дети есть. Ты на нас надежду имей. Мы с Ивкой молодые, здоровые. Чего тебе бояться? — промолвил Липо, стараясь утешить отца, но старик даже не обернулся.

Он сидел все так же неподвижно, понурившись, и смотрел в землю, будто не слыхал слов сына и не находил в них ни силы, ни убедительности, ни утешения.

— Ивка, говоришь? — после долгого молчания сказал он, словно проснувшись.— Знал бы ты, как она осрамила меня.

Липо поднял голову и с испугом взглянул на отца. Лихорадочная бледность проступила на его загорелом лице. Глаза широко раскрылись от удивления. Кусая губы, он ждал, что скажет отец, но старик молчал.

— Что у вас стряслось? — нетерпеливо спросил Липо.

— Сказать стыдно, сынок,— ответил отец, не глядя на

него.— Людям на глаза показаться совестно... Тяжелая она... Вот до чего дожили.

Услыхав это, Липо вскочил, словно подброшенный пружиной, и заскрипел зубами.

— Знаю от кого! Сын зверя того, что разорил нас. Нено!.. Я слышал...

— Женатый человек, а вот на́ тебе. Навек опозорил! Не знаю, что и делать?! — с тоской промолвил старик, по-прежнему не двигаясь.— Слаб я, не под силу мне тягаться с ними. Ты, сынок, лучше в село не ходи. Люди тебе проходу не дадут насмешками да словами всякими. Горя не оберешься. Лучше вернись в город, живи там, как можешь, а нас тут господь не оставит.

— В суд, в суд таких надо! Не спускай, отец, последнее продай, а ему не спускай. Коли есть на свете законы, пусть в тюрьму его упекут, сгноят там. Коли нету — сам в тюрьму сяду, а этого так не оставлю! — дрожа от бешенства, воскликнул Липо, ударив себя кулаком в голую широкую грудь.

— Нет на таких суда, сынок. Подавай в суд, что хочешь делай,— все он прав окажется. Я вот что надумал. Выйду-ка сегодня на дорогу, подожду его, он в город ехать собирался. Потолкую с ним опять: пускай хоть увезет ее отсюда. Видеть ее мочи моей нет,— промолвил старик и вскинул ружье на плечо, собираясь идти.

Липо подумал, поглядел на отца, который пошел уж было, и остановил его.

— Нет, ты лучше ступай в село и сиди смирно. А я пойду в город, отыщу какого-нибудь адвоката, посмотрим.

— Эх, сынок,— вздохнул старик,— попали мы в сеть и, чем сильней бьемся, тем больше запутываемся. Какими глазами я на судей буду смотреть, коли пойду по такому делу?

— Ты слушай, что я говорю, отец. Я правды добьюсь, хоть голову сложу. Ступай в село, а через два дня встретимся опять на этом месте.

Отец постоял, подумал, потом махнул рукой и, тяжело вздохнув, пошел вверх по тропинке в село. Сгорбленный, дряхлый, оборванный, он с трудом пробирался среди кустов, все так же надрывно кашляя. Липо долго смотрел ему вслед, потом бросился ничком на землю и зарыдал.

Когда он поднялся, было уже далеко за полдень, солнце жарило. Даже птицы в лесу — и те умолкли. Ни один листок на деревьях не шевелился. Только Искыр однообразно шумел внизу.

Липо вытер слезы, напился воды из родника, взял свою палку и побрел обратно по той же тропинке, по которой пришел. Выйдя из лесу, он остановился, посмотрел вниз. С горы напротив сбегала пыльная дорога и тянулась вдоль берега, как холст. По ней неторопливо ехал всадник, что-то напевая.

Липо спустился вниз по обрыву, спрятался в кустах и затаил дыхание. Он узнал Нено, которого хотел подкараулить по дороге в город отец. Все суды на свете сразу вылетели у Липо из головы, и в душе его закипела жажда мести.

Как только Нено поравнялся с ним, Липо выскочил из кустов и заорал как сумасшедший:

— Слезай!

Нено испугался. Красивое, румяное лицо его побледнело. Окаменев в седле, он не узнавал Липо.

— Слезай! — повторил Липо, весь дрожа.

Нено покорно соскочил с коня. Решив, что на него напал грабитель, он достал длинный кожаный кошелек и бросил его на землю. Кошелек тяжело брякнул, и шнурок от него ужом протянулся по дороге. Липо, нагнувшись, схватил его за конец, потом взмахнул и с силой ударил ошеломленного Нено по лицу. Тот упал.

Тогда Липо стал колотить его палкой по голове быстрыми сильными ударами, словно торопясь убить змею. Нено не шевелился. У него была размозжена голова. На дорогу, на одежду Липо летели брызги крови, но он, не обращая внимания, упоенный мщением, бил, бил, бил...

Лошадь, отбежав в сторону, с ужасом смотрела на эту страшную сцену и ржала.

А Искыр, зажатый знойным ущельем, беспокойно бился в берега, шумел, негодуя, и спешил на равнину — вздохнуть там на просторе.

1904

ЛЮБОВЬ

В тот вечер отец Лука рано отпустил жнецов на отдых и не позволил им, как в другие разы, ни хоровод водить, ни погулять хорошенько.

Ивка, красивая, нарядная дочь его, проводила подруг за калитку, побалагурила, посмеялась с ними в сумерках,

потом вернулась в дом какая-то испуганная и с виноватым видом принялась помогать матери по хозяйству.

Поступок отца заронил ей в душу злое подозрение. Она дрожала при мысли: а вдруг ему все известно.

В поле она весь день чувствовала, что за ней следит его испытующий, строгий, холодный взгляд.

«Догадался! Господи, как же это я?» — мелькало у нее в уме.

И она, смущенная, перебирала милые, прелестные и такие еще свежие воспоминания о шутках и заигрываниях, песнях и тайных взглядах, которыми обменивалась с ихним батраком Добряном.

Она любит его. Ах, как любит!

Весь день мечтала она об этом вечере. Потанцевать с ним в прохладе сумерек, попеть, посмеяться. Попрыгать в хороводе рядом с Добряном, пошушукаться с ним потихоньку. Чтоб никто не видел, не слышал.

И вот надо же...

Отец ее — человек богатый, солидный, влиятельный. Он суров и строг,— она знает. Не к добру отослал он жнецов так рано.

А Добрян не смолчал, кинул ей мимоходом:

— Ивка,— сказал он.— Ты понимаешь, отчего отец твой так сделал? Он о замыслах наших догадался и решил помешать... Хочет разлучить нас.

— Что ты, Добрян! Просто ему нынче что-то не по себе,— попробовала она отогнать эту мысль.

— Знаю я...— желчно усмехнулся он и пошел на гумно.

Наедине сам с собой он тяжело вздохнул. Ему тоже было нелегко.

«Эх, поп, поп... А кабы ты все знал!» — с злобным торжеством подумал он, растянувшись во весь рост на копне свежескошенной травы.

Взгляд его блуждал в необозримой, безмерной лазури ночного неба, опоясанного усыпанным звездами Млечным Путем. Душа Добряна, очищаясь понемногу от злобных чувств, наполнилась миром и благоговением. Под этими вот мерцающими божьими звездами поклялась ему Ивка в вечной любви.

«А отец ее?.. Э, пускай ворчит себе на здоровье...»

И Добрян, сев на копну, вдохновенно заиграл на свирели.

В глубокой тишине спокойной летней ночи затрепетали чудные звуки. Сперва свирель зашелестела тихо, игри-

во, потом вдруг перестала, печально вздохнула и с бесконечной грустью запела песню о тихих, задушевных сельских радостях среди тяжкого, непосильного труда,— запела будто заплакала. Звуки лились в ночном воздухе, дрожа, разбегаясь, сходясь и дружно плывя в ночи, как безутешный плач. Они тихо вились, вздымались вверх и рассыпались горючими слезами. Потом глухо застонали, словно прося прощения за несовершенные грехи, отчаянно взывая к небесам о помощи...

Отец Лука после ужина остался сидеть в саду, в холодке. Он равнодушно слушал свирель, с возмущением думая о Добряне. Самолюбие его жестоко страдало. Как? Ивка, единственная дочка, баловница его, вдруг полюбила батрака, который спит у них в хлеву, с лошадьми!

Увидев, что дверь приоткрылась и в полосе света показалась робко крадущаяся стройная фигура дочери, отец Лука вскочил и, стиснув зубы, осторожно шагнул вперед.

«Ох, и дам же я ей взбучку, чтоб опомнилась!» — подумал он.

Но Ивка, притворив дверь, исчезла.

Отец Лука пошел на гумно. Длинная фигура его двигалась медленно, с опаской, как черный призрак. По белой стене ограды, крадучись, следовала за ним по пятам его огромная темная тень.

Услышав его шаги, Добрян перестал играть. Когда отец Лука подошел ближе, он спрятал свирель и почтительно встал.

— Добрян,— остановившись, глухо и твердо промолвил Лука,— ты всегда меня слушался. А только...

И замолчал, не зная что сказать. Он дрожал от ярости, но сдерживался и старался подобрать слова помягче, не очень обидные. Добрян, не догадываясь, о чем пойдет речь, молчал в ожидании.

— За работу спасибо,— продолжал священник, смягчаясь.— Только заметил я...

Тут Добрян понял, куда клонит отец Лука, и потупился. Лицо его залил румянец невыразимого стыда.

— Это — нахальство. Лучше уходи подобру-поздорову. Ступай отсюда... И не рассчитывай, что у тебя что выгорит! Понятно?

Добрян молчал.

— Так вот! — отрубил отец Лука и ровным шагом пошел к дому.

Добрян, ошеломленный, походил по двору, потом открыл ворота и, с злобой и обидой в душе, скрылся во мраке пустынной улицы.

Отец Лука вернулся в дом такой же хмурый и сердитый, каким был весь вечер. Ивка с матерью хлопотали у очага. Попадья вопросительно посмотрела на мужа.

— Где так поздно задержался, отец? — мягко спросила она.

Отец Лука сел на стул возле очага, где плясал яркий огонь, и ничего не ответил.

— Поди ляг; весь день-деньской на солнце жарился,— ласково продолжала попадья.

— Не спится мне,— ответил отец Лука. И, помолчав, прибавил: — Я прогнал Добряна...

Ивка, что-то делавшая возле рукомойника, вздрогнув, выпрямилась и взглянула на отца. Озадаченная попадья пристально посмотрела на мужа. Наступило молчанье. А в очаге так радостно плясало светлое пламя, и на белых стенах, на посуде, на всех вещах в доме дрожали милые, радостные блики света. На шестке сладко мурлыкала кошка. Отец Лука сидел, задумчиво опустив голову и нервно пощелкивая длинными четками от гроба господня. В его неподвижном лице не было никакого выражения. Тихие отблески огня скользили и по этому лицу, как-то странно его освещая. После долгого, томительного молчания он, не шевелясь, будто про себя, сказал:

— Пришлось прогнать.

И вздохнул с досадой.

— Почему же? — спросила попадья.

— Пускай Ивка скажет,— обиженно промолвил отец Лука, не глядя на дочь.

— Да будет тебе,— возразила попадья, стараясь смягчить резкость его слов.

— Ивка расскажет,— повторил поп.

Ивка, державшая в руках какую-то посудину, поставила ее на полку, отвернулась и, закрыв лицо руками, тихо заплакала. Это еще больше рассердило отца.

— Плачешь, а? — крикнул он.— Знаю, чего плачешь... Пошла вон!

— Не кори дитя, отец,— заступилась попадья.

— Пускай убирается с глаз долой. А то поколочу!

— Да будет тебе. Спятил, поп, что ли?

— Молчи! Ты тоже виновата.

Ивка ушла. Попадья стала ругать мужа. Он что-то крикнул ей и вышел боковой дверью в сад. Там нервно

закурил и стал ходить взад и вперед, преследуемый своей большой темной тенью.

Село давно спало в объятиях чудной прохладной июльской ночи. Веселая полнолицая луна плыла по небу. Кругом — ни звука. Только водяная мельница глухо шумела вдали. Покосившиеся крестьянские домишки, смиренно ютящиеся под фруктовыми деревьями, сладко спали, заботливо оберегая усталых, изнеможенных крестьян. Высоко над темной сельской местностью блестел в лучах луны церковный крест, утешитель измученных сердец. Возле церкви мрачными великанами-монахами вытянулись в ряд тополя.

Отец Лука нервно шагал по саду и думал.

Вдруг ужасный женский крик расколол тишину, отчаянно, грозно взмыл ввысь и, словно отраженный небесным куполом, пал на село, страшный, зловещий. Потом — второй, третий. Яростно залаяли разбуженные собаки. Ночь ощетинилась.

Священник остолбенел. К нему опрометью подбежала попадья, испуганная, обезумевшая, похожая на сумасшедшую, и стала дергать его за рясу. Потом, в отчаянии упав на землю, опять закричала.

Над селом опять прозвучал тот же зловещий, грозный, безумный крик.

Священник задрожал.

— Встань, встань, попадья,— стал он ее поднимать.— Что случилось?

Она, онемев от ужаса и отчаяния, тянула его за рясу.

— Ивка? Где Ивка? — вскрикнул отец Лука, сам не свой от неясного, чудовищного предчувствия.

Попадья, не в силах вымолвить ни слова, потащила его за рясу к дому, склонившись чуть не до земли и вздрагивая от сдавленных рыданий, рвавшихся из груди ее звериным воем.

В тени, под лестницей, лежала Ивка, окровавленная, бездыханная... Попадья упала на ее труп.

Из всех улиц сбегался сонный, испуганный народ, наполняя двор батюшки. Стоял крик, плач. Ивка лежала мертвая. Она вонзила себе в сердце острый нож. Безжизненная рука ее еще держала его в ране. Луна ласково озаряла милое бледное лицо с опущенными вниз густыми черными ресницами. На белой рубахе, покрывавшей высокую грудь, выступили, как розы, алые пятна. Юные Ивкины подруги окружили мертвую, горько плача, причитая. Попадья была без памяти.

Отец Лука, поддерживаемый окружающими, стоял, возвышаясь над всеми, и, бессмысленно глядя перед собой, безумно и бессильно махал руками.

Народ толпился в изумлении. Никто не мог взять в толк, что заставило эту молодую, здоровую девушку всадить себе в сердце нож. Какой-то старик, перекрестившись, промолвил:

— Старые мы... Не понять нам молодого сердца...

1903

ГРЯЗЬ

В то утро учитель Никола Нонин проснулся опять весь разбитый. Голова как свинцом налитая, все в комнате плывет перед глазами, увлекая в какую-то черную пропасть. Мучительная слабость разлилась по телу, и оно как будто развалилось, распалось на составные части. Во рту — противный горький перегар, словно в желудке разлагается какая-то мерзость.

А вечером, ложась спать, он был такой здоровый, бодрый.

В первую минуту Нонин не придал значения своему состоянию: подумал,— может, с похмелья. Но, вспомнив, что накануне весь день ничего не пил, испугался.

«Что же это со мной такое? — подумал он.— Уж не умираю ли я? Иногда смерть приходит так глупо, неожиданно...»

И приложил руку к сердцу — проверить, бьется ли оно еще.

— Раз... два... три...— отсчитал он. «Четыре... четыре... четыре!» — жаждал он услышать. Но четвертого удара не последовало. Учителю показалось, что сердце перестало биться.

«Умираю. Да, умираю!» — подумал он. Опершись на локти, он попробовал приподняться и дико вскрикнул, устремив глаза на дверь:

— Помогите!

Слабый, бессильный крик застрял в горле, и в просторной комнате послышалось что-то вроде приглушенного, зловещего хрипа. Собственный голос показался ему чужим, страшным и жалким. Учитель оглянулся по сторонам, посмотрел в окно, за которым чуть брезжил рассвет, и горько

улыбнулся. Потом снова упал на подушку и стал рассуждать.

«Зачем я кричу? — спросил он себя.— Зачем кричу и кого зову? И если я умираю, кто может мне помочь? Кто? Умру — и дело с концом! Учитель Никола кончил свой жизненный путь, избавился от самого себя, и люди избавились от него... Гм,— снова улыбнулся он,— что такое люди для меня и что я для них? Ничто... ничто — да! Но вот в страхе своем к кому я воззвал о помощи? К людям! Быть может, я для них и ничто, но они мне нужны. Да!.. Кому какое дело до моего честолюбия, до моей ревности?»

Учитель нахмурился. Потом приподнял пыльную, ветхую занавеску на окне у самой кровати и посмотрел сквозь немытые стекла. Унылый осенний вид села показался ему еще более отталкивающим, чем когда-либо. Голые сучья деревьев с черными галками. Пасмурное небо, хмурое, давящее. И грязь. Ужасная, густая, черная, липкая, непролазная деревенская грязь, в которой тонет все: дома, люди, скотина... По этой грязи время от времени, не спеша, осторожно ступая и увязая в ней, беседуя с самим собой, проходит то мужик, то старушка, празднично одетые; повернув на маленькую площадь, они идут к церкви.

Вдруг оттуда послышались глухие удары колокола, и в сыром осеннем воздухе поплыл заунывный благовест.

— Какая грязь, черт бы ее побрал, какая грязь! — громко сказал учитель, вынул из стоящего рядом шкафа книгу и начал ее перелистывать.

За окном звонкий детский голос монотонно, по слогам читал что-то,— видимо, относящееся к закону божьему:

— У-чи-телю, учителю все-б-ла-гий, всеблагий... учителю всеблагий...

Нонин прислушался и улыбнулся.

Через некоторое время тот же голос весело, игриво запел:

Учи-те-лю все-бла-гий,
Учителю всеблагий!..

И понемногу затих. Нонину показалось, что и этот детский голосок утонул где-то там, в этой непролазной грязи. Он снова задумался.

«И Славка потонула в грязи,— невольно пришло ему в голову.— Да!..»

На сердце у него стало еще тяжелей. Образ Славки живо встал перед его глазами, и мало-помалу ему припомнилось счастливое прошлое. Еще совсем недавно он лю-

бил Славку, и она любила его. Она — не особенно красивая, но милая, живая, легкая, как птица, девушка с черными лучистыми глазами, какие ему редко приходилось встречать. Он никак не мог уяснить, с чего это началось: как он влюбился в нее? Он очень хорошо помнит ту минуту, когда первый раз сказал, что любит ее. Но и до того все знали, что он в нее влюблен. И как только он начинал говорить о ней, товарищи подшучивали: «Ой, учитель попался на крючок!»

«Какая глупая история и какой печальный конец!» — вздохнул Нонин.

Это было в прошлом году, в ту же пору — осенью. Нонин, как обычно, пошел в школу рано, уверенный в том, что она, как всегда, уже там и можно будет наконец признаться ей в своих чувствах.

Он вспомнил, как беспомощны были все его попытки скрыть безумное волнение, охватившее его в ту минуту, когда он поднимался по каменной лестнице школы, и как долго топтался он перед дверью, не решаясь войти в учительскую. А когда вошел и поздоровался с ней, не услышал собственного голоса. Она тоже смутилась и покраснела. Долгое время оба они не знали, что сказать, и не осмеливались взглянуть друг на друга. Наконец она заговорила. Тогда он, чтобы придать себе храбрости, начал рассказывать что-то смешное, какой-то пустяк, но она вдруг прервала его, воскликнув:

— Ой, врешь, врешь!

И шутливо подпрыгнула. Это был вызов. Она оказалась смелее его... она, заурядная девушка! Кокетничала, лукавила, притворялась...

Нонин несколько раз повторил последнюю фразу, и мысли его запутались в ней, словно рыбацкая сеть в колючем кустарнике, так что не отцепишь.

«Неужели притворялась? — задавал он себе вопрос. И отвечал: — Да, притворялась... Начала притворяться с первого дня, с первой минуты моей любви! В какой смешной театральной позе стояла она передо мной, с каким драматизмом повторяла: «Ой, врешь, врешь!»

Нонин снова погрузился в воспоминания об этой минуте, и сеть его мыслей запуталась в новом кустарнике, обвившись вокруг него.

— Чудеса! — произнес он вслух.

И нить воспоминаний потянулась дальше. Вот сцена, смешная сцена его торжествующей любви. Славка все повторяла:

— Врешь!

— Нет, сударыня, я не вру! — И он встал перед ней.

— Врешь!

— Нет.

— Врешь.

— Нет.

Он топнул ногой и погрозил ей. Она бросилась бежать, он догнал ее, страстно обнял...

— Да... да!..— опять подумал он вслух.— Я обнял ее, и она вся преобразилась, задрожала, закрыла лицо своими красивыми руками и прижалась ко мне.

Вспомнил он, с каким волнением шептал ей: «Я люблю, безумно люблю тебя, Славка, моя маленькая Славка!..»

А она долго молчала, не отнимая рук от лица, и только вздрагивала.

Он хорошо помнит, каким упавшим голосом спросил ее:

— Ты плачешь, Славка?

Тогда она вздрогнула и начала громко всхлипывать. Это его испугало. Ну, как войдут товарищи?!

— Славка, не плачь! Я тебя огорчил?.. Оскорбил своей любовью? Прости меня, детка!

Нонин долго не мог оторваться от этих воспоминаний. Как он умолял ее, как ему самому хотелось заплакать. Как он потом осмелел и отнял ее руки от лица. Как она улыбнулась и склонилась над столом. Учительская, со всеми ее пыльными шкафами и школьными принадлежностями, встала перед его глазами. И посреди нее он увидел самого себя, смущенного, испуганного, кающегося перед этой зардевшейся от стыда, хорошенькой черноглазой девушкой.

— Гм,— пробормотал Нонин с усмешкой.— Как жалкий раб, унижался я, проклинал себя, осуждал и горько раскаивался... А она? Как сейчас вспоминаю: хоть бы слезинка навернулась ей на глаза! Она не плакала. Она притворялась, обманывала, хитрила.

И он отчетливо, как никогда, представил себе все их встречи и разговоры, казавшиеся ему в ту пору такими трогательными. Сколько лицемерия, сколько женского лукавства обнаруживал он в них теперь!.. Она уверяла, что любит его, а в то же время писала любовные письма этому ненавистному человеку, с которым нынче венчается, над которым смеялась, которого презирала и осуждала.

«Меня жестоко обманывали. Жестоко! Как же все это произошло? Как? Вот чего я не могу понять...»

Вдруг из-за села донеслись тонкие протяжные звуки кларнета и сейчас же вслед за тем — бой барабана. Эти резкие звуки мало-помалу приближались.

Нонин вздрогнул. Свадьба Славки началась.

«Уж не сон ли, не сон ли это? — спросил он сам себя.— Неужели вчерашние милые надежды, вчерашние светлые мечты, так окрылявшие меня, порожденные такой любовью, рушатся?»

Мучимый бессильной ревностью и обидой, он не знал, что предпринять.

«Убить ее... или похитить во время свадьбы, из-под венца?» — пришла ему вдруг странная мысль. И больная фантазия его разыгралась.

«Может быть, она обманута, гибнет? Я должен спасти ее! Ведь она обручилась всего неделю назад... Обручилась через день после самой счастливой нашей встречи. Как могла она так поступить? Нет, она гибнет! Может быть, она раскаивается, с нетерпением ждет моего слова, моей помощи? Я весь свет переверну, черт побери!»

Нонин начал одеваться, накинул на плечи пиджак и стал быстро, взволнованно ходить по комнате, весь отдавшись мечтам о том, как он совершит геройский поступок — похитит Славку или убьет ее.

— Сила и воля — вот что мне нужно!

Он остановился посреди комнаты, выпрямился и как будто высоко, высоко вырос... Но вдруг у него закружилась голова, потемнело в глазах, подкосились ноги. Он повалился на постель и закрыл глаза.

— Я болен, болен!

Снаружи, в сыром воздухе снова раздался глухой удар колокола. Несчастному показалось, будто и колокол, как все вокруг, утопает в ужасной грязи, барахтается в ней.

Музыка за селом звучала все громче. Кларнет пронзительно пищал, барабан бил медленно, однообразно.

Учитель лежал, измученный, больной. Ему казалось, что он потонул в непролазной грязи, уходит в нее все глубже и глубже. В его горячечном, больном воображении смутно проносилась его погибшая молодость... Погибшая... Да, погибшая! Он много желал, ко многому стремился, много любил, много работал... А чем кончилось? Приобрел ли он что-нибудь, добился ли чего? Где результаты? Ничего — ни для людей, ни для себя... С каждым порывом, каждым усилием он, вместо того чтобы взлететь, еще глубже увязал в этой отвратительной житейской грязи!.. Ни одного желания не осуществил, ничего не сделал для других,

ни одного мгновения не урвал для себя... Над всеми насмешничал, всех бранил, а сам был такой же, как они: слабый, безвольный, трусливый... Вот Славка... Он любил ее и мог на ней жениться... А что вышло?

Кто-то постучал в дверь.

Нонин в испуге вскочил и машинально крикнул:

— Войдите!

Дверь открылась, и в комнату вошли друг за другом три учительницы — две сухопарые и одна толстая, а за ними красный пузатый директор в грязных коротких брюках и смешном измятом, старом, выцветшем сюртуке.

Смущенный неожиданным визитом, Нонин не знал как быть. Но учительницы с напудренными лицами обступили его и, качая головой, перебивая друг друга, затараторили:

— Ай-ай-ай, Нонин, какой ты!.. Сегодня свадьба, а ты еще не одет!

— Я плохо себя чувствую,— подавляя досаду, ответил Нонин.

— Знаем мы, что с тобой... Ну-ка, дай послушаю сердце! — захохотала толстушка, прищурившись и скаля зубы.

Смех ее рассердил Нонина, но он улыбнулся. А сам подумал: «Не хватает у меня воли выгнать их вон!..» При виде их грязных ботинок его охватило отвращение.

Директор в коротких брюках прохрипел глухим голосом:

— Эх, учитель, от этой болезни не умирают. Славка выходит замуж — и пускай. Черт с ней! Мало ли на свете девушек. Да вот хоть эти...— Он указал на своих спутниц.— Чем плохи?

— Спасибо, спасибо, господин директор! — в один голос откликнулись учительницы, грациозно приседая.

Нонин тоже улыбнулся. Но на душе у него по-прежнему кошки скребли. Взгляд его упал на стоявшую в углу здоровенную палку, и он подумал: «Эх, встать бы, схватить ее!..»

— Нонин,— вдруг спросила полная учительница,— не объяснишь ли ты нам, как все это получилось? Странная история, очень странная...

— Какая история?

— Будто не понимаешь...

Нонин промолчал.

— Мне рассказали... Так я, понимаете, просто диву далась.

— Здесь нет ничего удивительного,— возразил дирек-

тор.— Любила Нонина — вышла замуж за Вербанова... Это совершенно естественно, в порядке вещей... Вполне разумно.

— Да как же так, как же так — разумно, господин директор? — взволновалась самая худая учительница.— Ничего тут нет разумного, а просто...

— Чувство, скажешь?

— Чувство? Упаси боже!

Остальные две рассмеялись.

— И не ум, и не чувство,— вмешалась полная,— а глупость... Можешь себе представить, она так рассудила: Вербанов, говорит, человек трудолюбивый, смирный, не хорохорится, как эти молокососы... И деньги у него есть... Мне будет с ним недурно. Не придется скитаться из села в село всем на посмешище, не имея ни кола ни двора. Пока Нонин мечтал и носился в заоблачных высях, Вербанов разбил фруктовый сад в несколько декаров.

— И правильно рассудила. Так оно все и есть,— заключил директор.

— Глупости! — возразила одна из девиц.

— Как глупости? Вы болтаете без всякого смысла. Нонин — прекрасный человек; в него можно влюбиться, можно его полюбить, он нежен, чувствителен. А Вербанов совсем другой. Он практичный, прямо рожден быть супругом. Недалекий правда, но что за беда! Зато деньги есть, умеет их беречь, работает как вол, устроил пасеку, насадил сад... О чем все это говорит?

— Да, но он просто чурбан! Разве не странно, что Славка за него выходит? Она — совсем недавно с такими претензиями, такая непримиримая, гордая, полная порывов ввысь, в небеса... И вдруг примирилась со всем, стала разумной, практичной...— многозначительно протянула полная учительница, даже топнув ногой.

— Славка еще раскается,— добавила ее сухопарая подруга.

— Раз она так легко на это пошла, уж не раскается, будьте покойны!

— Все так поступают, и вы точно так же поступите, милые барышни,— подтвердил с громким смехом директор.

— Кто? Я? — откликнулась худая.— Никогда! Даю вам честное слово, я предпочту остаться старой девой, чем так дешево себя продать, так подло изменить самой себе.

— О, о, ни за что, ни за что на свете! — торжественно объявила полная, и круглое, как луна, красное лицо ее расплылось в широкой улыбке.

Директор, поддерживаемый двумя только что пришедшими молодыми учителями, стал подшучивать над учительницами, так что в конце концов произошла ссора и девушки совсем рассердились.

Нонин, полулежа на кровати, безучастно слушал все эти плоские суждения, это жалкое хвастовство своими душевными качествами. На душе у него было скверно. Какой глупый вид у этих учительниц с напудренными физиономиями и плохо завитыми волосами!

Он смотрел в окно на небольшую площадь, где, шлепая по грязи и проклиная погоду, двигалась группа чиновников, впереди которой шли, беспомощно приподнимая юбки, высокого и низкого роста дамы. Смотрел и думал:

«Все, все потонуло в грязи — и души, и сердца, и умы, и люди, и животные,— всё... Вечное прозябание, вечные жалкие порывы, вечная отвратительная возня в этой тине. Нет ни крыльев, ни простора... А порабощенная душа хочет жить вольной, полной жизнью, во всю ширь... Вольной, полной жизнью, во всю ширь! Какой смысл в этих словах?»

Где-то неподалеку с новой силой запищал кларнет, тупо забил барабан, и у Нонина было такое чувство, будто эта странная музыка гремит у него в мозгу.

Гости, прервав споры, подшучиванья и глупые, гадкие пересуды, сразу встали.

— Ну, Нонин, собирайся. Идем на свадьбу! — сказала полная учительница.

— Не хочу,— ответил Нонин,— я болен.

— Из-за этого-то? Скажи пожалуйста... Чепуха какая! Эх, мне бы твою молодость,— похлопал его по плечу директор и открыл дверь.— Не хочешь, а? Над тобой же станут потом смеяться. Скажут, раскис от чувствительности, как баба.

— Не пойду. Оставьте меня.

— Как знаешь.

Гости ушли.

Нонин мрачно сел у окна.

Писк кларнета и удары барабана все приближались и стали ясно слышны. Вскоре по площади потянулось свадебное шествие и, утопая в грязи, направилось к церкви. Впереди, прямо по липкой грязи и лужам, шли музыканты — цыгане. Вокруг них с веселыми криками бежали дети. За ними следовала невеста со своим избранником. Дальше — кумовья, сваты, шафера, народ.

И вся эта вереница людей шлепала по грязи, тонула в

ней, пачкаясь, говорила, шумела. Небо, все такое же серое, угрюмое, нависало над землей. В сыром воздухе громко, пронзительно звучали кларнет и барабан, варварская музыка резала уши. Вот шествие поравнялось с окном.

Славка, вся в белом, окутанная длинной прозрачной фатой, легко опираясь на руку мужа и подбирая подол подвенечного платья, шагала осторожно, чтоб не замараться, и поминутно восклицала:

— Ух, какая грязь!

Муж, широкоплечий, коренастый, уже немолодой, с полными, обрюзгшими щеками, в белых перчатках, шел с важным видом, широко расставляя ноги, нежно поддерживая ее, и всякий раз отвечал:

— Да... тропинки нет...

Нонин, притаившись за окном, слышал этот разговор, и ему стало тяжело, горько. Славка была все так же хороша, мила, молода, и Нонин понял, что еще любит ее, теперь далекую и чужую. Мысль о том, чтобы похитить ее, снова промелькнула у него в голове, но он не посмел даже показаться у окна.

В глазах у него потемнело; ему стало опять дурно. Комната со всеми предметами заходила ходуном, закружилась. Закружившись вместе с ней, он рухнул на кровать и стал тонуть в бездонной липкой грязи — все глубже, глубже, глубже.

1903

НА БОРОЗДЕ

Как зарядил дождь, так на всю неделю. Тихий, ласковый,— день и ночь. Лил, лил, лил — всласть напоил землю-матушку. А потом подул легкий ветерок, очистил небо, и начало припекать теплое осеннее солнце. Высохло поле. Разведрилась погода — самое время пахать.

Боне Крайненец запряг Сивушку с Белчо и пошел за сохой. Нива у него — в славной широкой пади. Со всех сторон защитой от ветра — лес. Земля высохла, стала рассыпчатая, как сахар. Замахал Боне стрекалом, крикнул:

— Но-о, пошли, милые!

Эхо весело откликнулось из леса. Старый Белчо махнул хвостом и спокойно двинулся вперед. Сивушка, хилая

коровка, вдвое меньше Белчо, сделав усилие, пошла в ногу.

Вот проведена первая борозда, вот вторая, третья — целая полоса готова. Печальное лицо Боне немного посветлело. Он забыл свою бедность, стал насвистывать.

— Не спеши, не спеши, Белчо. Сивушка за тобой не поспеет. Но, но, Сивушка, но, моя болезная, но, милая... Уморились, бедные, да что поделаешь? Я тоже устал. Но-но, вперед!

Белчо, опытный старый вол, пыхтя, выступает, как знатный барин. Маленькая Сивушка старается изо всех сил. Пасть открыта, спина выгнута, как у извозчичьей лошаденки, тонкий хвост напряжен. Белчо ступит раз, она — два. Язык высунула — шагает!

Кругом ни души. В лесу тихо шелестят босые ноги осени,— сухие сучки слабо потрескивают под ними.

— Вперед, Сивушка, вперед, милая! — покрикивает Боне, со страхом видя, что корова уморилась, теряет силы.

— Стой!.. Отдохнем малость.

Усталые животные остановились. Боне подходит к ним, гладит их по лбу.

— Экий ты бессовестный, Белчо, совсем Сивушку замаял. Верно, Сивушка? — говорит он.

Сивушка и Белчо, тяжело дыша, спокойно, бесстрастно глядят на него своими печальными глазами. У Сивушки с губ каплет пена. Она смотрит на своего белого товарища, потом на хозяина и жалобно опускает голову.

— Что, миленькая? Ну, что? Тяжело тебе? Сивушка моя слабенькая! Плачет сердце твое, душенька? Ну, нынче поработаем, а завтра праздник, весь день отдыхать будете. А ты что глядишь на меня, Белчо? Ты молодец,— говорит Боне.

Но Сивушка не подняла головы. Речи хозяина, казалось, нисколько не утешили ее страдающего сердца. Ввалившиеся бока ее так и ходили. Ноги дрожали.

— Скажи мне, Сивушка, что с тобой? — промолвил испуганно Боне, лаская ее, как ребенка. Потом, взявшись за соху, крикнул:

— Ну, вперед, вам размяться нужно!

Белчо поднатужился, зашагал. Сивушка сделала усилие, чтоб идти рядом, но не смогла, и он остановился.

— Ну, вперед, вперед! — громко, ободряюще закричал Боне.

Из лесу весело отозвалось эхо.

Белчо пошел опять. Сивушка сделала еще усилие, но

у нее подкосились ноги, она пошатнулась и, прямо в ярме, с жалобным мычаньем повалилась на землю.

Боне испуганно бросил стрекало, поспешно выпряг Белчо и растерянно встал над Сивушкой. Она лежала неподвижно, закрыв глаза, вытянув шею, уткнувшись мордой в рыхлую землю, и тяжело дышала.

— Вставай, Сивушка, вставай! — промолвил Боне и, сняв с нее ярмо, стал подымать ее за рога.

Сивушка приоткрыла глаза, посмотрела с мольбой на хозяина, словно хотела сказать: «Дай мне умереть спокойно»,— и опять закрыла.

Боне бегал вокруг нее, не зная, что делать. Нива жарилась на солнце недопаханная. А оно глядит себе с неба, клонясь к холмам. Кругом ни души. Лес объят тишиной.

— Вставай, Сивушка, вставай! Вон Белчо смеется над тобой. Не дури... Видишь, земля какая рыхлая,— только паши.

Взяв корову за рога, он стал полегоньку подымать ее. Она уперлась ногами в землю и сделала последнее усилие, чтобы встать, но еле приподнялась и тут же, тяжело задышав, опять бессильно положила голову на рыхлую землю.

Боне сел перед ней, положил ее голову к себе на колени, стал ее гладить и целовать в лоб.

— Не надо так, миленькая! Пожалей меня. Погляди — только вон ту полоску осталось. Вспашем, а там — на отдых. Больше никогда запрягать не буду. Подрастет Галица твоя маленькая, будет помогать Белчо. А ты лежи себе весь день в хлеву да пожевывай. Ребятишки воду в белом ведре таскать тебе будут, расчесывать тебя, а я — корм тебе задавать. И ты поправишься, поздоровеешь, сил наберешься,— верно, милая? Тогда Галица с Белчо пахать будут, а ты будешь пастись на меже, будешь на них смотреть да покрикивать: «Работайте, работайте»,— и радоваться, на них глядя. А вечером, как выпрягу Галицу, она тебя лизнет и скажет: «Добрый вечер, матушка!» Вставай, миленькая, вставай. Ну!

Но Сивушка не пошевелилась, не открыла глаз. Она дрожала как в лихорадке.

Боне встал, отломил кусок хлеба, посолил и поднес ей к морде.

— На, слабенькая, покушай.

Сивушка открыла глаза, умильно взглянула на хозяина и опять закрыла их.

Боне с отчаянием вздохнул. Поглядел на высыхающее поле, на погруженный в молчание лес, на Белчо, кротко

пощипывающего траву на меже, поглядел на солнце, которое спешило к закату, и увидел, что он один-одинешенек в этой пади, что помощи ждать неоткуда.

Он опять повернулся к больной Сивушке.

— Вставай, миленькая, вставай... В лесу — медведь; придет, съест тебя! — стал он пугать ее.

Потом достал из телеги старое рваное рядно, завернулся в него, пошел в лес, заревел, как медведь, и пополз на четвереньках к бедной корове: «Ууу!.. Ууу!»

Она открыла глаза. В горьком, страдальческом взгляде выразился дикий ужас. Животное подняло голову и отчаянно замычало, но встать все-таки не могло.

Боне скинул рядно, в отчаянии встал над ней, перекрестился и заплакал.

Сивушка еще раз замычала, страшно раскрыла глаза и перестала дышать.

1904

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Молчит широкое поле под равнодушным августовским небом. Прошлось по нем жаркое лето, и страшный след оставила после себя крестьянская страда. По обе стороны дороги, куда ни глянь, все то же голое жнивье, без снопов и копен, да скошенные луга, по которым уныло бродит скот. Печально шумит созревшая кукуруза, а из нее то и дело тучей взлетают серые воробьи и градом сыплются на пыльную дорогу. Низко над скошенными лугами кружат черные дрозды. Вдруг над самой головой твоей безнадежно каркнет ворона и улетит, а в сердце твое западет и будет томить тебя печаль.

Жатва давно кончилась.

Но далеко за селом, среди пустынного поля, склонив свои почернелые колосья, стоит несжатая одинокая полоса. Чуть свет выходит на нее красивая молодица, белеют ее длинные рукава и распущенные концы головного платка. В руке у нее блестит острый серп, и валится под ним колос за колосом. Дождем осыпается истощенное перегорелое зерно, падает на колючую стерню дробинками, бьющими в сердце молодой жницы. Из черных глаз ее, не переставая, градом катятся неиссякаемые слезы.

У межи на сучковатой груше висит пестрая люлька. Оттуда вдруг раздается хриплый плач ребенка, пронзаю-

щий сердце матери, как острая стрела. Молодая женщина бросает серп и бежит опрометью, усталая, потная, берет маленькую крикунью на руки, начинает тихо ее укачивать и, склонившись над ней, ласково шепчет:

— Помолчи, маленькая, помолчи, дочка. Помолчи, дай дожать.

И, удерживая слезы, запевает песенку.

Малютка умолкает, обняв шею матери крохотными ручонками и будто вслушиваясь в эту грустную песню, которую пели ее деды, поют отец и мать и, может быть, когда-нибудь так же печально запоет она сама. Слушает, глядя на мать, и бледное личико озаряется улыбкой.

Неподалеку, в тени, завернувшись в рваное одеяло, лежит больной дед Сава. Его всклокоченная седая голова безжизненно легла на золотой сноп. На маленьком высохшем лице его, изборожденном морщинами и темном, как земля, чуть заметна жизнь. Слабое дыхание его бессильной груди еле шевелит сухие потрескавшиеся губы. Староста послал его в поле, чтоб кликнул сноху: за ней, мол, полиция пришла, ищут ее,— и бедный старик насилу приковылял сюда со своей палкой, измученный, еле передвигая больные ноги.

— Голубка, водицы! — тихо стонет он, поворачивается и, тяжело охая, приподымает свое тощее тело, затерявшееся, как тряпка, в соломе, на которой он лежит.

Лазаринка поспешно положила дочурку и заботливо поднесла ко рту больного кувшин с водой.

— Эх, отец, и зачем ты пришел? Коли не можешь, сидел бы дома.

— Что поделаешь, дочка! Пришли, погнали меня — куда денешься?..

— Нешто не видят, что больной? Ишь душегубы!

— Ох, сношенька-а-а, опостылело мне дома-то. Все лежишь да лежишь... Дай, думаю, пройдусь пойду, разомну старые кости, тебе помогу. Ты ступай, сноха, ступай: зовут ведь. А я полежу малость, а там полегоньку и домой.

— Не пойду я, отец, слышишь? На что я им сдалася? Дойно посадили — пускай с него и спрашивают, чего надобно. А меня не трогают.

— Ох!..— вздохнул старик и умолк, будто в омут канул. Потом почернелые губы его опять зашевелились:

— Дойно, Дойно... Погубил он меня — да, грех на душе его! И тебя, сноха, обездолил.

Лазаринка ничего не ответила. Она понимала, что упреки свекра справедливы, и все же они причиняли ей

боль, казались обидными. Какой-то скрытый протест волновал ее душу. Она любит Дойно, и ей тяжело, когда о нем говорят дурно. Это он несколько лет тому назад, словно орел, вырвал ее из родительского дома и унес далеко в горы. Что это были за дни!.. С тех пор Дойно стал для нее всем, и она не может спокойно слышать, когда его осуждают и бранят, хотя его арестовали месяц тому назад за убийство.

Но измученный старик, не в силах сдерживаться, продолжал своим слабым и дрожащим, глухим голосом:

— Убийцей стал... Разве разбойник отец его? Шальная голова — стерпеть не мог!.. Я вот всю жизнь терпел, как собака,— чего только не довелось испытать... Беден, конечно, а все честно дожил до седых волос. А он? Что наделал... Эх, проклял бы я его, голубка, кабы не ты да внучка.

— Ты и так клянешь его,— промолвила Лазаринка дрожащим от волнения голосом и заплакала.— Разве он не любил тебя, отец, не заботился о тебе? — спросила она, сдерживая рыдания.

— Не о том речь, сноха,— возразил старик, тоже плача.— Не о том речь!.. Дойно — храни его господь,— пробормотал он и прижал руку к сердцу, смягчившись и почувствовав жалость.— Но до того дойти — человека убить? С нами крестная сила!

Приступ кашля прервал невнятную речь деда Савы. Он застонал и опять уронил седую голову на золотой сноп.

— Я говорила ему, отец: не связывайся ты с ним! Он богатый, нешто под силу Дойно с ним тягаться? Говорила я...

— Да ведь ты знаешь, какой наш Дойно. Зачем же рассказала ему тогда, а? Молчала бы...

Лазаринка надвинула платок на самые глаза, вспыхнув от стыда.

— Не могла я молчать! Как тут смолчишь?.. Ну, хоть раз, другой, а то ведь каждый день. Пристает, деньги сулит. Как же я могла терпеть? Кем бы я была, кабы терпела этого безобразника!

— Ох! — вздохнул старик.— Дойно, сынок, что теперь с тобой будет...

— Отпустят его, отец.

— За убийство? Чтоб отпустили?.. Нет, пропала его головушка! — простонал дед Сава.— Сдержаться не мог. Покорства в нем нет...

— Покорство, покорство, только и слыхать. Тот и сей-

час проходу бы мне не давал, кабы Дойно его на тот свет не отправил,— твердо промолвила Лазаринка.

— И ты, сноха? И ты, как он? То-то вот и таскают тебя по судам... Ну, ступай, узнай, зачем кличут. Все равно нынче с уборкой не управишься.

Старик попробовал встать, но не мог.

— Лежи, отец, лежи... Не пойду я!

— Ступай, сноха... А то еще насильно потащат.

— Не пойду! В чем я провинилась, что должна вдруг поле несжатым оставить?

— Ступай, сноха, иди,— беспомощно повторял старик.

Слова его потонули в море скорби. Из его потухших глаз, как из двух колодцев, хлынули слезы и потекли по изможденному лицу. Лазаринка склонилась над люлькой, где, как голубка, ворковала малышка, и зарыдала, тихо причитая.

Солнце застыло на полдне. Над пустынным полем простиралось втрое более пустынное небо, лазурное и глубокое. Прохожие на дороге устремляли удивленные взгляды на несжатую полосу, откуда, как с погоста, доносился сдавленный женский плач, и шли дальше...

1904

В СТРАДУ

Страда в разгаре в Софийской котловине. От края до края, куда только хватает глаз, колышутся золотые нивы, и усталые работники мелькают там с самого рассвета. Бог послал в эти дни страшный зной. Нависло над землей синее небо и льет огонь и жар. Над широким полем плывет адское марево. Разморенные и усталые, синеют далекие леса и горы, словно ожидая, что поле вот-вот займется пожаром. Птички запрятались далеко в холодные ущелья и не подают голоса. Только горлица заворкует в ветвях тенистой груши или одинокий сизый голубь промашет крыльями в сторону леса.

Тяжко, дышать нечем.

Солнце, огненное, безжалостное, остановилось в небе, но жаркие лучи его не могут прогнать с поля трудолюбивых крестьян.

Они жнут без устали, складывая золотые снопы. Пот градом со лба, дыханье спирает,— ни минуты отдыха. Созревший хлеб не ждет.

Бог дал урожай этот год, не наслал ни града, ни саранчи и никакой другой страшной напасти на измученные, исстрадавшиеся грешные крестьянские души. Он порадовал их благодатными майскими дождями, не захотел отнять взлелеянной ими в душе надежды на богатую жатву.

Сколько слов, молитвенных, чистых, исторглось из ободренных крестьянских душ!

— Бог помогает нам. Давайте работать, работать!

И вот в эту страду на адском солнцепеке над золотым полем звучат песни, несутся волнами до самых небес, как благодарственные молитвы. Подымутся где-нибудь в окрестности девичьи голоса, поплывет песня, молодая, вольная, широкая, как поле, светлая, как любовь.

С другой стороны, из-за села, отзовется другая, ласковая, звонкая, вселяя надежду, придавая сил.

Удалой Никола часто, оставив тяжелый сноп, подолгу прислушивается. Потом с улыбкой весело глядит, как жнут одни-одинешеньки его старая мать и сестренка.

Сестренка оборачивается, дразнит:

— Как, братец? Не узнаешь Пенкин голос?

И ее загорелое, круглое личико, молодое и свежее, сияет улыбкой.

— Различаю, но с трудом... Теряется, с другими слившись! — отвечает Никола.

Потом просит мать:

— Отдохни, мама,— послушай. Поймаешь Пенкин голос, значит, наверно снохой твоей станет.

Старуха, выпрямившись, нежно улыбается ему и, принимаясь снова жать, говорит:

— Коли ты ее голос не различил, так где уж мне-то, сынок?

— Кабы она одна — хоть за морем запела б, я бы и то узнал!

Вдруг умолкнет дружная песня, и в поле — тишина. И вот где-то далеко запевает одинокий голос — сильный, звонкий, трепетный. Заводит легко, тихо, потом помалу усиливается, разливаясь могучими волнами по полю.

Никола, выпустив сноп, всплескивает руками.

— Она, она!

И долго слушает.

А песня ширится, вольная, молодая, чистая, как родник, полная надежд и желаний. Собирает в букетики хорошие, ласковые слова и шлет их с любовью кому-то вдаль. То взволнованно замрет, то смело подымется, словно борясь с какой-то бесконечной скорбью, каким-то злым со-

мнением, и победоносно взмывает вверх, и льется гордо, стремительно.

Никола не вытерпел, вышел вперед, крикнул:

— Э-э-эй!

Бодрый, звонкий смех ответил ему с соседних нив.

Зрелые колосья слегка заволновались, весело зашептались о чем-то.

Услышала и Пенка вдали, послала задорную любовную песню в ответ.

Над полем, словно с крестом в руках, пронеслась надежда и с нею радость.

Истомленные души приободрились, поле опять огласилось смехом и песнями.

Но вдруг с дальнего участка прибежал босой мальчишка, объявил испуганно, что Пенка обмерла от жары.

Страшная весть, передаваемая из уст в уста, облетела все поле.

Пенка обмерла от жары!

Господи!

Новая жертва!

Пошел бы град, не так убил бы сердца!

Женщины оставили свои острые серпы, побежали туда, испуганные, встревоженные.

— Господи, может, неправда!

Молодки, девки, мужчины, бабы, старухи — все в ужасе сбежались на Пенкин участок.

Возле золотого снопа лежала навзничь, словно сраженная пулей, Пенка, любимое дитя села. Белый платок небрежно сдвинулся на лоб, оттенив ее красивое лицо. Темнели опущенные густые ресницы. Из полуоткрытого рта текла струйка алой крови, обагряя белую шейку. Одна рука еще держала острый серп, другая заботливо сжимала пучок колосьев.

Солнечный удар убил девушку.

Никола, сам не свой, отчаянный, растолкал толпу и рухнул на землю у ее холодного мертвого тела.

— Пенка, моя радость, моя песня!

И захлебнулся от рыданий.

На другой день солнце пекло все так же сильно, жестоко. Но в поле не мелькали работники, хоть день был будний. Золотые колосья осыпались и горели одни.

Поле праздновало горький праздник.

Хоронили Пенку.

1904

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

Красивого вида, открывающегося на наше село со всех четырех сторон, не портит даже большой недостроенный остов Лазаровой ветряной мельницы. Вот уже десять лет, как торчит на голом холме над селом, словно какое-то зубастое чудовище, это заброшенное сооружение, ставшее, по народному поверью, притоном для злых духов, уныло вращающих его растопыренные в виде дьявольского креста, ободранные крылья.

Это пустое здание с фундаментом, до половины ушедшим в бурьян, приют пугливых сусликов, зеленых ящериц и ядовитых гадюк, этот побелевший от дождей и зноя скелет с неконопачеными стенами, в щели которых дуют вихри и бури,— единственная ветряная мельница во всей округе, от шопской котловины до самой долины Марицы. Она — и единственное напоминание о засушливом годе, когда ее создали ловкие, искусные руки Лазара Дыбака, известного своими шутками и всякими планами да замыслами, осуществлять которые он начинал горячо, но оставлял с добродушной, виноватой улыбкой.

Село и всю округу постигла однажды страшная засуха: она выжгла посевы, иссушила колодцы и родники, истомила жаждой скотину.

Животворящая и говорливая сельская речка, берущая начало среди больших скал над самым селом, стала с каждым днем заметно мелеть, высыхать. Словно какое-то трехглавое чудовище выпивало ее холодные, чистые воды, еле струившиеся теперь с верховьев и жадно поглощаемые воспаленной землей. Травы и тростники вдоль речного русла пожелтели и поникли, словно побитые градом; обычно влажные берега потрескались.

И вот наступил день, когда бойкая, веселая болтовня многочисленных водяных мельниц, вызывавшая такой гулкий и радостный отклик в долине,— умолкла.

Крестьянскими сердцами овладели скорбь и тревога. Немота мельниц, потерявших способность размалывать своими тяжелыми, еще недавно шумными жерновами зерно в муку, нагоняла страх на мужиков.

Умолкла и мельница Лазара Дыбака, черепичная крыша которой приветливо выглядывала из густой листвы четырех ветвистых орешин в долине. Воцарившееся повсюду мертвое молчание растревожило сердце всегда веселого Дыбака.

— Плохо, дедушка Корчан,— говорил он владельцу

соседней мельницы.— Замолчали наши девицы, не хотят больше петь. Что делать будем?

При этом губы его кривились в легкой, но не лукавой, как обычно, а горькой усмешке.

— А? Ты что, Дыбак? — громко переспрашивал глухой дедушка Корчан, что-то тесавший под деревом, в расстегнутой до пояса рубахе.

— Говорю, девица моя со старушкой твоей больше не стараются друг друга перепеть, дедушка! Что нам теперь делать? — громко кричал Дыбак.

— Терпеть, терпеть надо, Дыбак! Станешь серчать, скоро состаришься,— отвечал дедушка Корчан.

Это был семидесятилетний здоровый и крепкий старикан, с сильной проседью и выразительным круглым румяным лицом горца, подкупающим своей добротой. Большой балагур; глуховатый и прихрамывающий, с неизменной трубкой в зубах и хрипом в полуобнаженной груди, он был не похож на других. Жил он на мельнице и там по целым дням что-то тесал, напевая себе под нос да посасывая обгоревшую трубку. Старуха его давно померла. Померла и единственная дочь, выданная в другое село. И муж ее тоже умер. У старика осталась только хорошенькая внучка Христина. С Дыбаком, который в отличие от него был молод и холост, дедушка Корчан был связан удивительной дружбой — спокойной, прочной и бесконечно веселой.

Дыбак был светловолосый, стройный парень с приятным лицом, которое особенно красили большие синие глаза. Он, видимо, решил остаться холостяком. По сельским понятиям, человек, которому стукнет тридцать, уже опоздал с женитьбой. В свое время он знатно покуролесил, завоевав себе завидную славу отчаянного буяна и неподражаемого плясуна. Но после десятилетнего скитания с плотниками по Румынии, где ему удалось подработать деньжат, он вернулся тихим и смирным, починил мельницу,— единственное, что осталось ему от отца,— и почти все время проводил там.

Тут он и подружился со своим глухим соседом — дедушкой Корчаном. У обоих были умелые, искусные руки, и они вместе латали колеса на припеке между мельницами, перекидываясь шутками.

В изобретательном уме Дыбака порой возникали странные замыслы, которые опытная голова дедушки Корчана всегда одобряла, а неутомимые руки обоих друзей спешили осуществить. Начинался упорный труд. Пила, тесло, доло-

то, топор целые дни не знали покоя. Но всякий раз, доведя работу до половины, оба бросали ее.

Так, однажды они принялись за устройство валяльни. Дыбак накупил материалов, Корчан засучил рукава. Целую неделю шла отчаянная стукотня. Но когда уже возвышались четыре столба и обозначился остов здания, старый мельник отступил на несколько шагов и, усмехнувшись, промолвил:

— И чего мы зря время теряем, Дыбак? Таких валяльен кругом сотни.

— Молчи, дедушка Корчан, не искушай!

— Вот чесальня — другое дело. От нее был бы толк. А валяльня...

— Ты прав, дедушка Корчан!

И незаконченный остов валяльни стоял месяц некрытый, под дождем, пока Дыбак с Корчаном обдумывали план чесальни, из которого тоже ничего не вышло.

Теперь, когда речка пересохла и мельницы онемели, оба соседа приуныли.

— Плохи дела, дедушка Корчан, из рук вон плохи!

— Что и говорить, Дыбак,— хуже быть не может. Лягушки и те квакают, что суши этой конца не будет. Да по всему видать, она и не последняя: народ такой пошел, что ни бога не почитают, ни дьявола не боятся. Прощай водяные мельнички, Дыбак!

— А мы ветряки поставим, дедушка Корчан,— засмеялся Дыбак.

Старый мельник призадумался.

Дыбак пошутил, но мысль о ветряной мельнице крепко засела ему в голову. «Невозможного тут ничего нет,— соображал он.— На холме за селом всегда ветрено. Самое подходящее место. Там мельница не только в засуху работать сможет».

И Дыбак поделился своим замыслом с Корчаном. Тот улыбнулся.

— Эх, паренек. Видно, валяльня да чесальня не научили тебя уму-разуму.

— Почему? Что ж тут особенного? На холме постоянно ветер. И от села близко. Материал, что мы для валяльни и чесальни приготовили, весь на ветряк и пойдет. Придется еще пять-шесть бревен подкупить. А строить ветряные мельницы я умею. Только руки нужны.

— Руки — мои. А ветер — твой,— пошутил дедушка Корчан.

Но, выслушав длинные, подробные объяснения Дыбака

относительно плана и расчетов, старик одобрил это предприятие и увлекся им.

Скоро несколько телег доставили материал для постройки ветряной мельницы на высокий холм за селом. На другой день там уже водрузили высокий столб с крестом и венком наверху, а возле него мельники вдвоем стали выводить прочный каменный фундамент пресловутого строения.

— Мало им валяльни и чесальни. Подавай теперь ветряную мельницу! — смеясь, толковали крестьяне по поводу ветряного предприятия Дыбака, с любопытством толпясь на холме.

— У них не то что на ветряк, а на целых два ветряка в голове ветра хватит,— шутили другие.

Но строители не обращали внимания на пересуды. Здание росло с каждым днем, и через две недели уже вздымался его деревянный остов.

Наперекор общему убеждению, что Дыбак с Корчаном скоро бросят эту ветряную затею, они работали упорно. Село с утра до вечера оглашалось ударами их острых топоров и отчетливым стуком тесел. Поглощенные мыслью о дивном строении, они не щадили сил, не чувствовали усталости, не знали отдыха. Под палящими лучами солнца, осушающими пот у них на лице, в одних рубахах, работали они весь длинный летний день напролет, не выпуская инструментов из рук. В своем увлечении они даже не разговаривали между собой. Только Корчан промолвит иной раз:

— Знаешь, Дыбак, сдается мне, и на этот раз зря трудимся: не успеем построить, как дождь пойдет. Запоют тогда наши девицы, и бросим мы это гнездо совиное.

— Стучи, стучи, Корчан! Кончим, а там будь что будет,— отвечал Дыбак, кидая на старика полный уверенности и надежды взгляд.

— Опять я, старый осел, под твою дудку заплясал,— улыбаясь, отвечал глухой и, продолжая тесать, начинал тихо, в такт ударам тесла, мурлыкать себе под нос:

И зачем только, старый осел,
Я за дурнем этим поплелся?

А иногда, взглянув искоса на озабоченное лицо Дыбака, говорил ему ласково:

— Вот что, Лазар,— жениться тебе надо. Ветряные мельницы молодость губят!

Дыбак поднимал на него большие синие глаза и заливался смехом.

Между тем стройный корпус ветряной мельницы с каждым днем принимал все более законченные формы. Уже из села было видно, как оба мастера лазают по ее еще не крытому верху.

В один прекрасный день Дыбак сообщил, что дедушка Корчан, забравшись на ее высокие крылья, увидал далеко за Витошей белое облачко. Эта радостная весть тотчас разнеслась из корчмы по домам, а оттуда помчалась к усталым работникам в поле. Они сейчас же бросили работу и устремились в село — встречать долгожданное событие. Конец этой страшной засухе, которая все выжгла! Зазвонил, как в праздник, церковный колокол. Нарядные девушки запели «Ай, Додола...» — и по улицам села понеслось, порхая:

Додола ходила, бродила
От пахарей к землекопам,
Подай дождичка, боже!

Поднялись крики, хохот, веселая кутерьма. Крестьяне воспрянули духом. Распевая «Додолу», под звуки барабанов и волынок девушки высыпали на холмик, к ветряной мельнице, откуда пришла радостная весть, и на выжженной лужайке закружился лихой хоровод. Мужчины пришли со жбанчиками, как на свадьбу. Глаза всех были устремлены на запад. Там из-за Витоши выбежало белое облачко, потом, одно за другим, несколько клочковатых, поменьше. Навстречу им, откуда-то со стороны Стара-планины, устремилось еще одно, ведя за собой, подобно первому, стаю лохматых, разорванных облачков, которые то разбредались и таяли, то собирались в большие, черные, как орлы, тучи. А далеко-далеко в синеве дымками возникали другие, росли, множились и быстро неслись к селу.

— Дождь! Дождь будет! — послышались радостные крики.

Лица крестьян сияли; у всех отлегло от сердца.

Дыбак и Корчан невозмутимо продолжали свою работу на крыше.

Проворная восемнадцатилетняя внучка дедушки Корчана Христина взобралась по высокой лестнице, под самые крылья мельницы, и ласково пропела:

— Посмотри, дедушка, где я!

— Слезай, глупая,— убьешься! — закричал дед.

— Да я крепко держусь! — весело крикнула Христина и вылезла на крышу. Потом, вытянув, словно горлинка, белую шейку, поглядела вниз и всплеснула руками:

— Как высоко-о-о!

— Девочка, не балуй. Как бы греха не вышло,— сказал Лазар, следя исподлобья за движениями веселой гостьи.

Она обернулась и показала ему язык. Потом вырвала у него тесло из рук и принялась стучать по стропилам.

— Перестань! — сказал Дыбак.

— А что? — возразила она.— Я могу строить ветряки не хуже вас.

И, обернувшись к своему глухому деду, крикнула:

— Видишь, дедушка, и я такой же мастер, как ты!

— Зато Дыбак поискусней тебя будет,— насмешливо заметил кто-то внизу.

— Эй, девчушка, отдай тесло, не мешай мне,— притворяясь сердитым, сказал Лазар.

Эта игра ему понравилась. В ответ Христина опять высунула язык. Взгляд ее ясных небесно-голубых глаз слегка задержался на молодом мельнике. Обрамленное светлыми волосами, пухлое, продолговатое хорошенькое личико ее сияло радостью, лучи которой проникали глубоко в сердце закоренелого холостяка.

— Я дедушке скажу,— шутливо пригрозил он.

— Скажи,— ответила она, еще раз высунув язык и продолжая в то же время тяпать и тюкать теслом по стропилам.

— Дедушка, спроси у внучки своей, чего ей тут надо,— смеясь, крикнул Дыбак глухому старику, поглощенному работой.

— Чего надо, то отыщет.

Парни и девки внизу засмеялись.

— Не вскружи девушке голову, Дыбак! — насмешливо крикнул кто-то.

Христина погрозила сверху теслом, сделав вид, будто хочет кинуть; потом засмеялась шаловливо.

— Тебе-то шутка, да Дыбаку не до шуток! — продолжал тот же голос.

Все опять засмеялись. Дыбак немного смутился, но глаза его, теперь уже с иным любопытством, забегали по высокой, стройной фигуре девушки, по ее гибким рукам, ровным широким плечам и слегка колеблющимся узорам каемчатой белой рубахи на груди.

«Экая пава!» — подумал он.

Разорванные облака мало-помалу разрослись в сплошную пелену, охватившую весь небосклон. Возле мельницы снова завился веселый хоровод. Христина быстро, как кошка, спустилась вниз по лестнице, захватив с собой тесло Дыбака.

— Эй, девочка, не дури! Оставь тесло!

— На́, вот оно! — крикнула она уже снизу и вступила в хоровод.

Дыбак слез и стал глядеть на нее. Христина плясала отчаянно, с вызовом, поглядывая насмешливо на молодого мельника. Потом вдруг вышла из хоровода и, уперев одну руку в бок, а другою махая платком, подбежала к волынщику.

— Рученицу! — потребовала она.

Волынщик тотчас перешел на рученицу. Христина, изящно наклонив голову, вздрогнула всем телом, высоко взмахнула платком, сделала маленький шаг вперед, потом назад, легко подпрыгнула и пошла плясать, как бы слившись с живым трепетом чудных звуков.

Все столпились, чтобы поглядеть на нее.

Волынщик играл мастерски. Из-под пальцев его неслись веселые, игривые звуки. И столько трепетанья было в этих бурных звуках, столько удали, что у присутствующих даже одежда плясала на спине и сердце билось, готовое помчаться, как оторвавшийся лист, в вихре головокружительной пляски.

Некогда прославленный плясун, Дыбак не выдержал. У него захватило дух, заколотилось сердце... Все позабыв, он выскочил навстречу Христине и молча, бледный как полотно, пустился в пляс.

Крик восхищения вырвался из сотен грудей, сотни глаз впились в пляшущую пару. Дедушка Корчан слез с крыши, подошел поближе, и глаза его загорелись от удовольствия.

Дыбак словно не касался земли. Наклонив голову, ни на кого не глядя, он носился как вихрь, выделывая ногами неповторимое.

Но вскоре остановился, словно осененный внезапной мыслью.

— А я тебя перепляшу! — промолвила Христина, остановившись перед ним.

— Ишь чего захотела,— отозвался кто-то из зрителей.

— Перепляшу — и весь сказ!

— Попробуй,— ответил Дыбак, уверенный в том, что это не в ее силах.

— Перепляшу, вот увидишь,— повторила Христина, топнув ногой.

Она была знаменитая плясунья и надеялась на себя, но не знала, на что способен Дыбак.

— Перепляшу,— опять гордо, вызывающе повторила она.

— Не выйдет,— возразил Дыбак, кинув на нее взгляд, в котором сквозило сознание своего превосходства.

— Отчего не выйдет?

— Да так, не выйдет.

— Не выйдет? Посмотрим. Давай биться об заклад! Хочешь?

Дыбак засмеялся.

— Хочешь, побьемся? — повторила Христина.

— Ладно, давай,— решительным тоном ответил он и, вынув из кошелька красный шелковый шнурок с нанизанными на нем золотыми, прибавил: — Коли перепляшешь, твои будут!

— А не отступишься? — горячо и серьезно спросила Христина.

— Вот заклад. Не отступлюсь. А ты что ставишь?

— Ну-ка, ну-ка,— раздался голос из толпы.

Послышался смех.

Дедушка Корчан весь сиял от радости.

— Увидим, кто кого! — сказал он и обернулся к Лазару.— Заткнет тебя за пояс внучка моя, Дыбак!

— Что ставишь? А? — настойчиво повторил Дыбак.

Все думали, что хитрая Христина пошутит, да и отступится, но она стояла на месте, гордо выпрямившись. Взгляд у нее был решительный. Она сперва побледнела, потом вся вспыхнула, стыдливо наклонила голову и закусила губу. Потом, глядя Дыбаку прямо в глаза, твердо промолвила:

— Коли ты меня перепляшешь, выйду за тебя.

Дыбак впился в нее пламенным взглядом.

— Ладно,— сказал он улыбаясь.— А не отступишься?

— Убей меня, коли обману! — ответила Христина.

У обоих глаза горели. Толпа сомкнулась в круг, ликуя, громко смеясь. Дедушка Корчан сиял. Ему хотелось погладить свою отважную внучку по голове.

Снова послышался звук волынки. Толпа затаила дыханье.

Дыбак с Христиной встали друг против друга и начали разом.

Дыбак стал быстро наступать на Христину. Она легко, на носках пронеслась мимо. Смерив один другого вызывающим взглядом, оба пустились в пляс. Христина взмахнула платком, изогнула, как лебедь, свою белую шейку и поплыла в вихре веселых звуков. Лицо ее пылало, пушистые ресницы полусмежились от упоенья, высокая грудь заходила волной.

Дыбак плясал тоже в каком-то самозабвенье. Непринужденно заложив руки за спину, он подпрыгивал, как олень, и, сделав плавное движение, останавливался перед соперницей, отбивая ногами мелкую дробь, словно не в силах оторваться от этого места. Потом, тряхнув головой, чтобы смахнуть пот, заливающий лицо, будто отскакивал назад. Христина, следившая за каждым его шагом, легко, на цыпочках подлетала к нему. Но тут он неожиданно наступал и оказывался так близко, что она чувствовала его горячее дыхание и тепло его разгоряченного мужского тела. Потом начинал полегоньку удаляться, незаметно, играючи увлекая ее за собой. Перевес, большой перевес сил чувствовался на стороне парня, и Христина поневоле стала уступать. Как ни рвалась она к победе, но, проплясав целый час, остановилась, ослабевшая, задыхающаяся.

— Не могу больше... Переплясал меня,— пролепетала она в изнеможении, отирая пот с лица.

И от нестерпимого стыда чуть не заплакала.

— Переплясал, признаю,— повторила она как бы самой себе.

Музыка смолкла.

Сделав последний прыжок, остановился и Дыбак, тоже задыхающийся, измученный.

Толпа весело засмеялась. Сотни грудей вздохнули свободно, сотни напряженно прищуренных глаз посветлели. Подруги начали подтрунивать над Христиной. Дедушка Корчан улыбался.

Дыбак вытирал пот с лица.

— Да, переплясал — признаю! — еще раз сконфуженно уронила его соперница и закрыла лицо руками.

Толпа опять весело зашумела.

— Заклад, заклад отдавать надо! — раздались голоса, и по адресу Христины посыпались насмешки.

Она подняла голову и, чуть не плача, ответила:

— Что ж, я от своего слова не отказываюсь...

Шум утих. Это было смело сказано.

— Да, я готова сдержать слово,— твердо заявила она, повернувшись к Лазару Дыбаку.

— Правда? — переспросил он.

— Правда,— так же твердо повторила она.

Дыбак подошел к ней и на глазах у всех повесил ей на шею шнурок с золотыми.

— Тогда я поведу тебя к себе.

— Веди,— промолвила она, беря его за руку.

Лазар, улыбаясь, повел ее вниз, в село.

Толпа с веселым гомоном двинулась за ними.

— Эй, Дыбак, а как же ветряная мельница? — крикнул им вслед дедушка Корчан.

— Я себе получше нашел! — весело ответил Дыбак.

Старик расхохотался от всей души, так что даже трубка выпала у него изо рта.

1902

БЕДНЯЦКОЕ СЧАСТЬЕ

Базарный день на исходе. И хоть солнце еще очень высоко, с Клепушанского постоялого двора уже потянулись повозки, кони, телеги и быстро разъезжаются по деревням. Крестьяне и крестьянки суетятся, хлопочут: одни поят лошадей, другие возятся около нагруженных всякой всячиной, весело раскрашенных повозок.

Высокие строения служб — сарая, конюшни, навеса — кидают на мощенный крупным булыжником двор резкие тени. Там, сбившись в кучки, стоят набеленные и нарумяненные деревенские девки. Возле них вьются, обняв друг друга за плечи, молодые солдаты в широких мундирах, и в глазах у них — любовный задор.

В глубине двора стоит новенькая, окованная железом телега с расписными бортами, нарядная, как игрушка. Она набита до половины сеном, а поверх постелен совсем новый пестрый ковер. Края ковра свешиваются с телеги. Затейливый, веселый узор его сияет празднично, улыбчиво, ласково. На ковре, завернутый в покупное красное одеяльце, спит ребенок. Он весь укрыт, так что его совсем не видно. Прислонившись спиной к переднему колесу телеги, стоит его мать, баба средних лет, и жует белую булку, уважительно отламывая кусок за куском. Солнце сверкает на ее серебряных украшениях, пряжках, тяжелых старинных запястьях, на большом ожерелье из фальшивых золотых.

В дверях корчмы появился невысокий коренастый шоп [1], одетый как на пасху, побритый, с закрученными усами.

— Ну-ка, Пена, пойди сюда на минутку! — крикнул он, поманив рукой.

— А малыш как? — ответила Пена, перестав жевать.

— Чего он делает-то? — с улыбкой спросил шоп и подошел к телеге.

— Тише, спит! — ответила мать.

Крестьянин нагнулся над телегой, радостно и ласково пощелкал языком и тихо промолвил:

— Спит бутуз... Пускай себе спит. А мы пойдем... Я приятелей шильовских встретил. Посидим с ними, потолкуем! — И, взглянув на жену добрым, ободряющим взглядом, зашагал к корчме. Пена сунула булку в карман и пошла за ним.

Корчма была полна крестьян. Иные уж порядком выпили. Шел громкий важный разговор, все о разных делах, конченых и незаконченных. Пахло вином, табаком, едой.

Стоян был навеселе. За столом, к которому он подвел жену, сидели три старика из соседнего села и две крестьянки.

Пена поцеловала руку старикам и поздоровалась за руку с женщинами, которые приходились ей дальними родственницами.

— Вот молодуха моя, дед Митре. Ты с ней знаком? — сказал Стоян и опять ободряюще поглядел на Пену.

— Как же, как же, с коих пор знаю,— отозвался дед Митре глухим, хрипловатым голосом, и на сухом старческом лице его с покрасневшими маленькими глазками засветилась приветливая, добродушная улыбка.

— Ах, дед Митре... Мама, царство ей небесное, очень тебя уважала. Ты ей веред вывел.

— Помню, помню, молодка... Померла бы она, кабы за мной не послали. Царство ей небесное! Ну, а вы-то, вы как живете?

— Да мы с Пеной душа в душу,— поспешно ответил Стоян.— Одна беда была, да и ту господь бог смиловался — отвел: годов десять почитай детей не было, а теперь вот послал мальчонку, славного такого...

— Дай бог большому, здоровому вырасти! — воскликнули все сидевшие за столом.

— Посветлело у вас нынче в дому, знаю, зна-аю...— пропела старшая из женщин.

---

[1] Житель западных районов Болгарии.

— Эх, тетя Мария, а каким Стоян сделался, как наследник-то родился: в корчму не загонишь!

— Ну, в корчму я, положим, заглядываю, только...— усмехнулся Стоян и, тряхнув головой, крикнул: — Подай-ка нам литр вина, малый!

— Не надо, не надо, Стоян. Охмелеем совсем.

— Нет, как же. Я угощаю: сын у меня! Сын, понимаешь? — крикнул Стоян так громко, что все посетители повернулись в его сторону.

— С наследником, с наследником, Стоян! — закричали знакомые от других столов.

— Спасибо, братцы. Слава господу богу. Сох я, чах, бедный, как слива бесплодная... А нынче будто яблоня расцвел... Хочу угостить вас! — громко крикнул Стоян и, встав, замахал рукой.

— Эй, малый, на каждый стол по литру вина от меня!

Наступило оживление. Посетители, почти все знакомые, вставали из-за столов и поздравляли Стояна, пожимая ему руку.

Лицо Пены озарилось стыдливой улыбкой, и она как будто помолодела, похорошела.

Малый расставил вино на столах. Стаканы наполнились. Все стали чокаться со Стояном и его женой.

— Бедняк я! А без детей вдвое бедней был бы. Это теперь мое богатство. Бог послал мне его. Все, кто здесь есть: друзья, знакомые, незнакомые, из нашего, из других сел — все выпьем по чарке за маленького Иванчо! — выкрикивал Стоян.

— За здоровье Иванчо! За здоровье Иванчо! — закричали все вокруг.

— Дай господи каждому такую радость! Хотите, братцы, посмотреть на моего Иванчо? Он совсем еще махонький — двух месяцев нет. Жена, принеси-ка его.

— Он ведь спит,— возразила Пена.

— Спит? — воскликнул Стоян.— Ну, коли спит, пускай спит. Мы тогда сами к нему пойдем. Малому дитяти почет больше царского. Кто хочет, братцы, пойдем, покажу сына. Он в телеге спит. Я для него и телегу справил новую!

Стоян пошел к двери, крестьяне повставали из-за столов, начали рыться у себя в кошельках — монетку малышу подарить, и тоже двинулись к выходу. Пена встревоженной наседкой — за ними и, быстро пройдя вперед, оказалась первой у телеги.

На телегу падали золотые лучи солнца, опускавшегося к городским крышам.

Стоян поднялся на нее, хотел было взять ребенка, но вдруг отпрянул в испуге.

— Господи!

Руки у него так и упали, повиснув вдоль бедер.

— Еще один... Кто-то мне второго подкинул. Люди добрые, чей же он?

— Ох, Стоян, ох, господи Иисусе! — запричитала Пена, влезая на телегу. Вокруг столпился народ, с любопытством заглядывая туда.

Там, на мягкой подстилке, рядом с маленьким Иванчо, сладко спал еще один ребеночек, завернутый в чистые пеленки, с деревянным крестиком на шее. Разбуженный шумом, он задвигал головкой. Маленькое красное личико его сморщилось в смешную гримасу. Он несколько раз высунул язычок, потом надул губки, зачмокал и расплакался.

— Ох, голодный, голодный, бедненький! — растрогалась Пена.

— Покорми, покорми его, милая! — стали уговаривать женщины.— Подкидыш ведь, голодный, верно...

— Покормить? А Иванчо-то как же? — жалобно спросила Пена.

— И Иванчо покормишь...

Новенький все чмокал губками, будто грудь сосал.

Пена взяла его на руки, вынула грудь и дала ему. Подкидыш так в нее и впился.

— Ох, какой голодный!

И Пена нежно склонилась к нему.

Стоян чесал себе затылок, охая.

— Как же мне быть, братцы? Отнесу я его в участок.

— Да, да, отнеси в полицию!

— Не дам, не дам никуда относить,— возразила Пена, с материнской нежностью прижимая ребенка к груди.

— Возьми, Стоян, возьми к себе... Сколько лет ребенка хотел, а господь двух послал. Твое счастье! Грех отказываться... Ишь какой махонький. А ты вы́ходишь,— стали уговаривать женщины.

Стоян нагнулся посмотреть на младенца, взглянул на жену. Та ответила ему взглядом.

Тогда он склонился еще ниже над ребенком и молча стал его рассматривать. И чем дольше смотрел, тем больше лицо его прояснялось: как будто медленно-медленно отходила нависшая над ним туча.

— Возьмем, что ли, Пена?

— Да мой уж он,— с умилением ответила жена.

— Вот и ладно... В добрый час, Стоян! — заговорили крестьяне.— Ну, ставь угощенье и за этого!

Свечерело. Заходящее солнце провожало новую Стоянову телегу домой, в деревню. Стоян весело покрикивал на лошадей. А позади сидела Пена, держа на коленях Иванчо и его новую сестренку.

1921

НЕСЧАСТЬЕ

Что такое произошло, что веселый, жизнерадостный, всегда смеющийся отец Пиомий, против обыкновения, сидит на пороге своей кельи печальный, задумчивый?

Как можно печалиться в такой чудный летний день?

На широком монастырском дворе, залитом солнцем и радостью, тихо и мирно течет безбурная жизнь братии. Все довольны, счастливы. Престарелый отец Сысой, которого братия называет бабушкой Аглидой, как всегда, машинально, спокойно прядет на прялке у больших монастырских ворот. Две барышни — гостьи святой обители — чинно прогуливаются под руку во дворе, весело болтая. Время от времени мимо них проходит молодой отец Игнатий и почтительно кланяется им, осклабляясь чуть не до ушей. На свинцовой крыше церкви целуются голуби. Во дворе два ярких павлина, распустив хвосты против солнца, весело кричат. Окружные леса и горные вершины спокойно купаются в вышине — в чистой лазури неба. Все живет, как обычно, своей обычной чередой, покорное судьбе, благодарно радуясь прекрасному божьему миру.

И среди этой безмятежной, благочестивой тишины слышится отрадный плеск двух монастырских фонтанов, нежно шепчущих слуху, сердцу, уму и душе сладкое, напевное: спи, спи, спи...

Только отец Пиомий чужд этой радости. Потерянный, бесчувственный ко всему, сидит он на пороге кельи, уйдя в свои мысли.

Мимо него ходит взад и вперед братия, каждый занят своим делом, и он еле отвечает на их приветствия, не подымая глаз. Проходит час, два, три, близится полдень, а он все сидит.

Уж возвращается с рыбалки игумен, весь красный, потный, с длинной удочкой в руке. Проходя мимо отца

Пиомия, он вынимает из кармана две еще шевелящиеся крупные форели и, находясь в веселом настроении, показывает их ему.

— Погляди, отец Пиомий! Шевелятся еще.

Отец Пиомий поднял голову и поглядел на игумена таким жалобным, сокрушенным взглядом, что тот отступил шага на два, сразу став серьезным.

— Что такое, отец Пиомий? Что случилось? — участливо, испуганно спросил он.

Отец Пиомий со вздохом встал. Лицо его бледно, как на иконе. У бедняги такой вид, будто его только что переехала телега.

— Что случилось, отец Пиомий? Уж не заболел ли ты? — повторил игумен еще более испуганно.— Сидишь, думаешь, вздыхаешь? Что это ты? Такой молодец!

— Ну, подумай, отец игумен,— замогильным голосом ответил отец Пиомий.— Отдал столько времени, столько труда и забот, а захотел порадоваться делу рук своих — и вдруг...

— Господи, помилуй нас, грешных! — крестясь, воскликнул игумен в изумлении.— Да что же случилось, отец Пиомий?

— Я убит, отец игумен, я в отчаянии... Как зыбки надежды человеческие! — промолвил отец Пиомий с глубоким вздохом.

— Успокойся, отец Пиомий. Может, не все еще потеряно?

— Нет, все, все погибло! — произнес дрожащим голосом отец Пиомий.

— Не отчаивайся, отец. Скажи, поведай мне. Грех ли совершил ты какой? Искушение ли тебя посетило, болезнь ли какая постигла?

— Хуже, отец игумен.

— Господи боже! Уж не влюбился ли ты опять? Только этого не хватало. Говори же...

— Этак и в добро, и в бога, и в труд, и во все можно веру потерять,— промолвил отец Пиомий, опустив руки и опять садясь на порог.— Вино-о, винцо двухлетнее ушло, как не бывало! — вдруг заплакал он и сквозь слезы прибавил: — А знаешь, отец игумен, что из него получилось бы? Утекло, утекло безвозвратно!

— Да неужто?! — всплеснул руками игумен.

И оба долго молчали, не глядя друг на друга. Один поведал о своем несчастье, другой всецело проникся сообщением и глубоко прочувствовал его. Игумен подсел

к отцу Пиомию и проникновенно, как человек, объединенный со своим собеседником общей любовью, общей верой, сочувствием и пониманием, стал его расспрашивать.

— Вот беда-то! Да как же это приключилось-то?

— Нынче ночью обруч один на бочке лопнул,— вино все до капли и вытеки.

— До капли?!

— До последней капельки!

— Экое несчастье!

— Пойдем, пойдем: сам погляди,— сказал отец Пиомий, вставая.— Я с горя ничего там не трогал. Увидал, вынул втулку и бегом: глаза бы мои не глядели.

Тут показался куда-то поспешающий отец Герасим. Увидев их обоих, встревоженных и печальных, он остановился и своим женским голосом спросил:

— Что случилось, скажите, пожалуйста?

— Что случилось! У отца Пиомия запечатанный бочонок вытек,— с досадой объяснил отец игумен.

— Ах ты!.. Ох ты!.. Как же теперь быть-то? — присоединил и свою скорбь отец Герасим.

Вскоре подошел отец Никифор, за ним отец Максим, потом отец Теодосий... Собралась почти вся братия монастыря. Пришла даже бабушка Аглида, оставив прялку. И все соболезнующе щелкали языком, все волновались, все о чем-то перешептывались, словно в присутствии покойника.

Отец Пиомий повел их в свой маленький погреб, где произошло несчастье. Там все с любопытством столпились около бочонка, еще точившего слезы сквозь разошедшиеся пазы.

Слабый свет, проникая через единственное окошко, меланхолично озарял безвременно скончавшийся бочонок. Благоухание пролитого вина наполняло маленький погреб. Отцы теснились около бочонка, и бородатые лица их выражали глубокую жалость, словно перед ними был не треснувший бочонок, а разбитое горем большое человеческое сердце.

— Упокой господи! — таинственно произнес кто-то.

И все поглядели со вздохом на отца Пиомия, который стоял в стороне, подавленный, утративший веру и надежду, и все молчали, и никто не находил ни единого слова ему в утешение.

1905

АДВОКАТ

Окружной суд заседал в полном составе. Слушалось дело Митре Мариина из села Горосек, на которого сосед его, Петр Мариин, подал жалобу за убийство какой-то лошади.

Стояла невыносимая жара. В окна зала суда уныло и безнадежно глядели дома с противоположной стороны улицы, сверкая на солнце белизной стен. В помещении душно и почти пусто. Только два-три крестьянина, вызванные в качестве свидетелей, неподвижно, робко сидят на своих местах и слушают разинув рот.

Выступает защитник — невысокого роста, тучный адвокат, с солидным брюшком, лысый, в потертом костюме. Он не сводит глаз с председателя, время от времени вынимает руку из кармана и указывает на подсудимого — из кожи лезет, стараясь ошеломить, потрясти слушателей. Но голос у него глухой, дребезжащий, как у треснутого ружья. Защитник кричит, вопит, взывает к небу, вперив глаза в потолок, и после каждой фразы величественно выпячивает грудь, широко расставляя руки. Но неподвижные, апатичные лица судей выражают лишь обычное невозмутимое равнодушие и терпение, не подающее никаких надежд.

Председатель погрузился в раздумье о совершенно посторонних предметах. Один судья рисовал лошадок. Другой, наделенный музыкальными способностями, написав большую ноту, старательно увеличивал ее карандашом.

Подсудимый Митре Мариин, маленький русый мужичок, босой, в рубахе, стоял с шапкой в руке и, ничего решительно не понимая из того, что говорил защитник, смотрел, как большая черная муха бьется, жужжа, в оконное стекло. Когда адвокат на мгновенье умолк, чтобы проглотить слюну, Митре повернулся к рассыльному, который стоял у двери, с безучастным видом ковыряя себе ногти, и громко сказал:

— Милый, выпусти ты ее, окаянную. Будет ей гудеть-то!

Судьи посмотрели на него с насмешкой и сожалением. Председатель позвонил.

— Митре Мариин, вы должны понять, что ваше положение подсудимого не особенно завидно. Приличие требует, чтобы вы молчали.

— Ха! Улетела! — сказал Митре, указывая на окно.

Судьи засмеялись. Адвокат строго поглядел на своего

подзащитного, потом, снова изобразив на лице благостную улыбку, продолжал:

— Да, господа судьи! Эти обстоятельства тоже нельзя упускать из виду. Другими словами, мы должны понять психологию момента, так сказать! Представьте себе: ночь, черная, как дьявол, деревенская ночь. Хоть глаз выколи! Мой подзащитный лежит посреди двора или где-нибудь там на гумне и, осуществляя священное право гражданина, караулит снопы и груду зерна, добытые им в поте лица. Оберегает плоды своих страданий, так сказать. Лежит, изнуренный повседневным трудом. Он забыл все на свете. Все: жену, детей, даже небеса, как сказал поэт. (Свидетели в недоумении переглянулись.) Утомленный, он крепко спит. Но вдруг... Что происходит, господа судьи? Что? У меня не хватает слов, чтоб выразить это! Человеческий язык немеет!.. Да, вдруг мой подзащитный просыпается и видит... О, ужас! Жизнь его висит на волоске. Что такое? У него над головой стоит чудовище, огромное, страшное, безобразное, готовое его проглотить. Вполне естественно, мой подзащитный от страха, так сказать, теряет сознание. Он видит огненные языки, пышущие из ноздрей чудовища, видит его налитые кровью, горящие пьян... хищным огнем глаза. Он дрожит в ужасе. Он не знает, где он и что с ним! Спросонья хватает ружье и — тр-р-ах! — стреляет. Чудовище падает, потом встает, прыгает через плетень, мчится в поле, находит кучу соломы, зарывается в нее, корчась от боли, и... умирает. Господа судьи! Я спрашиваю вас: разве виноват мой подзащитный, что чудовище оказалось ничем другим, а, так сказать, лошадью какого-то Петра Мариина? Что я говорю — лошадью? Какой-то жалкой клячей, которой и цена-то пятьдесят левов! Да где тут преступление? В чем оно? Итак, господа судьи, рассудите и решайте. Не забудьте, что существуют два закона: божеский, который повелевает нам каждую минуту оберегать свою жизнь от чудовищ и вообще от всего, и человеческий, разделяющий деяния на преступные и не имеющие в себе элемента преступности... И оба эти закона оправдывают моего подзащитного!

Адвокат важно огляделся вокруг, отер пот со лба и сел, улыбаясь своему подзащитному.

Судьи долго перешептывались между собой. Наконец председатель, позвонив, возгласил:

— Подсудимый Митре Мариин!

— Здесь! — отозвался Митре по-солдатски и встал навытяжку.

— Что ты можешь сказать по этому делу?
— Кто? Я-то?
— Понятно, ты... Я тебя спрашиваю.
— Ну и я — то же самое. Так оно и было.
— То есть как — так?
— Да вот насчет лошади этой самой! — громко заговорил Митре.— Повадилась ко мне через плетень сигать. Сколько раз Петру толковал: сосед, запирай коня, волки его ешь! Он у тебя вредный, понимаешь? Огород у меня вытоптал. Только стемнеет, хоп, махнул через плетень. Разорил совсем! И ни за что мне так не обидно, господа судьи, как за тыкву... Вспомню — сердце кровью обливается. Тыква была... ну такая была тыква — во! А кляча эта — потоптала. Терпел я, терпел,— погоди, думаю, покажу я тебе, своих не узнаешь. Зарядил ружье, жду. Ночью — только лечь собирался — слышу: хоп, перемахнул! Повадился, окаянный!
— А потом что? — спросил председатель.
— Потом? Что ж потом-то. Навел и... наповал...
— Потом?
— Потом вытащили мы его с женой за село, зарыли там в соломе... Спрятать думали, ан не вышло...

Адвокат слушал чистосердечное признание своего подзащитного, дрожа от бешенства. Он вперил в него уничтожающий взгляд, но Митре, казалось, совсем забыл о своем защитнике и смотрел на одного председателя.

— Сколько, по-твоему, стоила лошадь? — спросил председатель.
— А кто его знает? Конь добрый был,— ответил Митре.

Адвокат сердито бросил бумаги на стол и порывисто встал.

Суд удалился на совещание. Защитник вызвал Митре в коридор и, не помня себя, дрожа от гнева, крикнул:

— Скотина, коли врать не умеешь, зачем адвоката берешь!

И, разъяренный, пустился вниз по лестнице.

1904

ПЕЧЕНАЯ ТЫКВА

Как-то раз архивариус окружного управления Душко Добродушков, явившись к господину управляющему на дом с бумагами на подпись, застал его кушающим с женой и детьми печеную тыкву.

Подписывая бумаги, управляющий отрезал ломтик и любезно предложил архивариусу.

— Прошу вас, господин Душко, отведайте, какая чудесная тыква! Подгорела немного, но ничего. Вы извините.

— Покорно благодарю, господин управляющий,— смущенно ответил архивариус.— Так что я... не люблю тыквы.

— Как? Сами из деревни, а не любите тыквы!

Душко всегда огорчался, когда ему, нарочно или нечаянно, напоминали, что он — из деревни. Он покраснел.

— Да, но... желудок, знаете ли, господин управляющий, отвык от такой пищи,— ответил он, отрицательно качая головой и морщась.

Глаза его не могли оторваться от посыпанного сахаром ломтика с зарумянившейся, аппетитно подгоревшей корочкой. У него слюнки потекли, но он не рискнул проглотить их, чтобы не обнаружить своей слабости.

— Не стесняйтесь, прошу вас,— любезно уговаривал управляющий.— Я сам сколько лет тыквы в рот не брал, а ничего — желудок терпит.

— Не могу, господин управляющий, душа не принимает. В рот взять не могу,— отвечал Душко, думая в то же время: «Душа не принимает. Экий я дурак,— надо было брать...»

Чтобы избавиться от искушения, он скромно поклонился, сказал: «До свиданья»,— и ушел.

На улице он уже без опаски проглотил слюну и опять стал корить себя:

«Дурак я, дурак. Ведь сказано: «Дают — бери, бьют — беги». Где голова твоя была, Душко?»

И он неодобрительно постукал себя пальцем по лбу.

Вкусный ломтик опять встал у него перед глазами,— привлекательный на вид, теплый, сладкий — и над ним вьется тонкий, приманчивый паро́к.

«В сущности, если я что люблю на свете, так это — печеную тыкву,— размышлял Душко, шагая с опущенной головой.— Лопаю ее, как свинья. Но слово-то уж больно скверное: тыква. Глупое, мужицкое, грубое такое, черт его возьми совсем. Как скажут про кого: он, мол, тыкву ест,— и конец; сразу ясно: некультурный человек, невежа, одно слово — свинья. Вот как-нибудь поеду в деревню, там одни тыквы буду есть. Где народу нету».

И в его воображении стали возникать тыквы, тыквы,— сладкие, вкусные, душистые.

С этого дня Душко Добродушков потерял покой, стал нервничать. Призрак печеной тыквы преследовал его.

Сидит он в канцелярии, работает, а мысль грызет. Пишет, пишет до изнеможения. А перо как будто быстро этак по бумаге скрипит, шепчет: тыква, тыква, тыква...

Поссорится ли с кем из сослуживцев, сейчас же либо прямо тыквой печеной его назовет, либо скажет: «Чего краснеешь, как тыква печеная?», а то: «Погляди, мол, на себя — какой ты пьяница, у тебя от головы пар идет, будто от тыквы печеной».

Ночью, только заснет, мучительный призрак тыквы тут как тут. Ему снится поле, да какое! Длинное, широкое, конца-краю нет. И все-то оно усеяно этими самыми печеными тыквами, и от каждой сладкий пар идет. Душко ходит по полю, смотрит на тыквы. И хочется ему сорвать, да только наклонится поднять одну, как она сразу исчезла. Он дальше, а перед ним уж не поле, а канцелярия — широкая такая. Вдруг откуда ни возьмись большая тыква — и катится прямо на него все быстрей и быстрей и растет, растет, становится как дом, как церковь, как гора, все больше и больше... Душко, дрожа от страха, старается убежать, но у него подкашиваются ноги. Чудовищная тыква настигает и кидается на него.

Душко вздрагивает и просыпается, весь в поту.

Этот сон стал мучить его каждую ночь.

Как-то раз писари из управления устроили пирушку.

Заказали трактирщику Калчо гювеч[1] и собрались, чтобы повеселиться. А гювеч велели сделать поострее, чтоб выпить вина побольше. Само собой, был приглашен и архивариус.

Вино, речи, песни! Хочешь — любовные, хочешь — патриотические. Потом пошли тосты. Пили за здоровье господина управляющего и, конечно, за то, чтоб он «у нас остался», за местных представительниц прекрасного пола, за величие Болгарии, за царя, за болгарский народ, за канцелярских блох и прочее и прочее.

Наконец встал и господин Душко. Поднявшись на стул, он откашлялся и торжественно поднял бокал.

— Господа, уважаемое собрание, коллеги и мои добрые друзья!..

Но посреди излияний перед умственным взором его вдруг бесцеремонно выкатилась непрестанно его преследу-

[1] Гювеч — блюдо из мяса и овощей, запеченных в специальной глиняной миске.

ющая ужасная печеная тыква и перепутала у него в голове весь архив мыслей, накопленных за четырнадцатилетнюю службу.

Душко пытался продолжать. Энергичным жестом он воздел руку к низкому потолку и замер в этой позе, вдохновенно глядя на друзей.

— На началах равенства, так сказать... отчасти... по силе возможности...

Но тыква снова вторглась в поток его мыслей. Душко совсем обессилел. Он опустил руку и проговорил мягким, прочувствованным, ласковым голоском, без всяких намеков на пафос:

— Знаете что, господа? Давайте испечем как-нибудь тыкву. В складчину! Стоит она не бог весть сколько. И еще попируем.

Наступило короткое молчание. Потом закричали «ура», и ресторан Калчо дрогнул от рукоплесканий.

— Принято! Принято!

— Сейчас же! — раздался чей-то голос.

— Приня-то-о-о!

В какие-нибудь пять минут была открыта подписка, собрана нужная сумма и тыква куплена и отправлена в пекарню.

Душко находился наверху блаженства.

И когда через час тыква была готова, он пожелал сам принести ее.

Но...

Возвращаясь с подносом, распространявшим аромат печеной тыквы, Душко в темноте повстречал господина управляющего.

— А-а, господин Душко! — воскликнул тот.— Вы испекли себе тыкву? Очень, очень рад. Значит, желудок ваш исправился?

Душко будто воды в рот набрал,— ни слова не мог вымолвить.

Когда он принес тыкву на стол к приятелям, они сразу заметили, что он бледен как мертвец.

— Что с тобой? — удивились они.

— Что-то плохо себя чувствую,— ответил Душко, бессильно опускаясь на стул в углу.

Он просидел там весь вечер, мрачный и безмолвный. Погрузившись в какие-то невеселые размышления, он даже не смотрел на приятелей, уплетавших за обе щеки сладкую тыкву.

— Душко, попробуй, братец! — предлагали они.

— Аппетита нет,— отвечал он с печальным, убитым видом, жалобно добавляя: — Плохо, плохо мне, милые. Видно, помру скоро...

1904

ДУША УЧИТЕЛЯ

Крестьяне села Криво-Школо давно знали, что учитель их болен и вот-вот умрет.

Он начал сохнуть от какой-то непонятной болезни и с каждым днем становился темней лицом и худей телом, а глаза у него горели все ярче и делались совсем светлыми, страшно светлыми. В узкой груди его завелся сухой кашель, безжалостно разрывавший ее, и бедняга никак не мог его выкашлять. Крестьяне видели, как вечером больной учитель возвращается из школы, усталый, измученный, через каждые двадцать шагов останавливается и долго кашляет.

— Ишь мается, сердешный,— говорили они.— Видать, недолго протянет.

— Съела его школа чертова. Всю кровушку хлев этот высосал!

В самом деле, школа была низкая, тесная, пол земляной, без половиц, окна узкие, в комнатах грязно и не повернуться — полно ребят: вот в какой обстановке работал учитель. Целые годы слабая грудь его вместе с воздухом, который дан богом на то, чтоб освежать кровь, непрестанно вдыхала пыль и миазмы всяких деревенских болезней.

И вот в один прекрасный день, окончив занятия в школе, учитель пришел домой, лег и помер. Как по писаному. Ничего не поделаешь — все под богом ходим!

Освободилась душа бедного учителя, оставила сухое, безжизненное тело и села у ворот — дожидаться, когда посланцы небесные отведут ее куда полагается: либо в рай, либо в ад.

Ждет-пождет душа — никого нету.

«Что за притча? — подумала она, сидя на пороге.— Коли так, мне и вернуться недолго».

Но поглядела на тощее, мертвое тело, которое только что оживляла, и поняла, что не много счастья сулит ей возвращение. Опять скитаться из одного села в другое, опять заимодавцы, опять старосты, опять грязь, холод...

И сильно душа вознегодовала:

— Какая несправедливость! Держать меня здесь, чтоб я нюхала запах этого мертвого тела, что так глупо растянулось вон там, а прежде столько лет таскало меня, кормя одними мечтами да идеалами. Я сыта по горло. Мечтала я о том свете и отправлюсь на тот свет. Посмотрю, как там. Неужто опять заметки в газеты писать?

Душа задрожала от гнева и холода.

Дело было зимой. Сухой мерзлый снег покрывал все вокруг. Холодный синий туман стлался как плащ по полям и лесам. Деревья скрипели от мороза. На дорогах — ни души.

Вдруг из тумана выбежали гуськом двое неизвестных. Они так торопились, что из-под ног у них — снежная пыль столбом.

«Э! — вздрогнув, подумала душа.— Уж не инспектор ли? Вот история! Нынче будний день; войдет он в школу, а там пусто... Где учитель? Помер. Как? Без разрешения? И пошли выговоры... штрафы... увольнения... Впрочем, теперь мне все равно».

Душа еще не успела опомниться от страха, как оба путника оказались возле нее.

Это были Ангел и Дьявол. Они еле дышали от усталости.

Душа учителя сделала кислую физиономию и даже не пожала им руку.

— Извини, милый друг,— с такими словами без церемоний, по-товарищески, обратился к ней Дьявол.— Мы задержались, заставили тебя ждать на морозе... Это все Ангел. Говорит: «Учительская душа приучена к терпению. У нас есть знаешь какие нетерпеливые? Высшие чиновники, например... Как сердятся, коли вовремя не услужишь! Давай, говорит, сперва их заберем».— «Ладно, идет»,— говорю. Как он меня потащит!

И Дьявол захохотал во всю глотку, потирая замерзшие руки.

Душе это понравилось.

«Какой приятный господин этот Дьявол,— подумала она.— Его изображают хвостатым, рогатым и не знаю еще каким. А он весельчак!»

— Очень рад познакомиться, приятель,— промолвила душа учителя, протягивая Дьяволу руку.

— Да мы знакомы,— ответил тот, горячо отвечая на рукопожатие, и опять засмеялся от всего сердца.

— Хорошо бы покурить! — промолвила душа учителя.— У вас нет табачку?

— Пожалуйста,— ответил Дьявол, протягивая ей папиросу.— Пустяк, а все-таки удовольствие, правда?

И опять весело, беззаботно засмеялся.

— Юноша, не обольщайся! — наставительно вмешался Ангел, до тех пор молчаливый, стоя в задумчивости со сложенными крыльями.

Голос его был строг, лицо имело выражение повелительное, как у начальника отделения в каком-нибудь министерстве.

— Нельзя ли повежливей, господин Ангел,— возразила душа.— Я не юноша, а достаточно взрослый, сам видишь!

— Вот,— заметил Дьявол, указывая на Ангела.— Все они такие, ангелы. Ни на грош самостоятельности, а разговаривает, как начальник. Гордятся тем, что божьи служители. А на поверку — попросту слуги. Вот мы, дьяволы, совсем другое дело. Мы — вольные, в этом наша сила.

Эти слова тоже пришлись по вкусу душе.

— Ты мне очень нравишься, господин Дьявол,— заявила она.

— Ну, приятель, поехали! — сказал Дьявол.— Садись ко мне на крылья.

— Нет! — воспротивился Ангел.— Этот — сомнительный. Надо проверить его счет. Он столько страдал, что может оказаться праведником.

— Да, я много страдал,— подтвердил учитель.

— Знаю, что страдал,— возразил Дьявол.— Вы, люди, глупый народ. Любите хвалиться своими страданиями. Ты похвались чем-нибудь другим: тем, чтó ты завоевал, преодолел, приобрел своей мощью, усилием воли! А вы... много страдал, много вытерпел. Ну, и тут как тут ангелы, счета, счета! Человек умирает, чтоб освободиться от счетов, а они — опять счета!

— Хоть бы тут в покое оставили и от этих самых счетов освободили,— поддержала душа, которой речи Дьявола были до того по сердцу, что она глядела на него с восхищением.

Ангел открыл большую тетрадь, долго смотрел в нее, потом заговорил тонким голосом, как сельская учительница:

— Ты праведен, учитель, и я приказываю тебе отправиться за мной — в рай!

— Приказываешь? Вон как? — иронически промолвила душа.— Вот это «приказываю» и выдало сразу твою жандармскую натуру... Я таких терпеть не могу!

— Ты должен быть в раю, праведник,— значит, надо идти.

— Чего там хорошего, в вашем раю-то; только народ обманываете,— сказал Дьявол.

— Там — все, что захочешь! Реки молока и меда текут; всюду чисто, светло, ясно. Все всё знают; там нет ничего тайного для человеческого ума.

— Видал, учитель, чем хвалится? Молоком и медом! — засмеялся Дьявол.— Этим, приятель, любой богач на земле может похвалиться. Молоко и мед! Да разве в этом — счастье человека? Все светло, все ясно, все понятно! А душа человеческая не может жить счастливо без тайны, без неясного, непознаваемого. Она гораздо более гордая, чем думают у вас на небе. Ей нужна темнота, потому что она хочет стать солнцем. Человек борется с целым морем загадок. Без этой борьбы он не может жить, дорогой мой. Без нее он погибнет, покроется плесенью... Вы у себя в раю, наверно, не знаете, что такое плесень. Понюхай какого-нибудь старого профессора,— узнаешь, что это за штука.

Дьявол стал потирать руки от холода, попрыгивать с ноги на ногу, посвистывать.

— Вам, я вижу, холодно? — спросила душа учителя.— Мне тоже.

— А вот ангелок — так даже вспотел,— ответил Дьявол, лукаво поглядывая на Ангела.

— Я опять дедушке Господу пожалуюсь,— промолвил ангелок и заплакал от обиды.— Вот увидишь! Ты своей философией сбиваешь с толку простых людей.

— Вот они, рабские душонки,— заметил Дьявол.— Только и знают, что песенки петь своему господину, подслуживаться к нему, ябедничать. Больше ничего не умеют. А чуть обидишь их, сейчас в слезы.

И Дьявол принялся снова насвистывать, смеясь.

— Э, дорогой мой,— похлопал он по плечу плачущего ангелочка.— Я вот никому не жалуюсь, и мне никто не жалуется. Вот он я: сам себе господин, сам себе слуга! Свободен как ветер. Трам-тара-ра-рам, ра-рам...— запел он и, обернувшись к душе, прибавил: — Ну, учитель, идем со мной! Брось этого сентиментального ангелочка.

— А я с вами на самом деле буду свободен как ветер? — спросил учитель.

— Само собой! — ответил Дьявол.— Это наш принцип: делать всех свободными. Из-за ангелов земля переполнилась несчастными и рабами.

— И можно будет говорить все, что захочешь? Ну,

там... насчет партий, газет, политики? — с воодушевлением продолжал учитель.

— Да будет тебе,— закрыл ему рот рукой Дьявол.— Идем!

— Идем! — воскликнул учитель.

— Остановись, ты ведь праведник! Не ходи с ним! — воскликнул ангелок.

— Отстань! — с презрением оттолкнула его душа учителя и, вскочив на крылья демона, полетела в пространство — вольно, весело, как ветер.

1904

ХИТРЮГА

Арестант Петко Лисичка, мелкий вор, идет впереди, а в трех шагах позади него, с винтовкой на плече, шагает полицейский Иван Безбородый.

В поле ни души. Дорога грязная, и ей не видно конца. Земля вокруг мертвая, мокрая, словно старуха утопленница. Небо нависло над ней, полное туч, угрюмое, беспросветное.

— Выбрали время вести меня, господин унтер-офицер! Не могли подождать,— говорит Лисичка, шлепая по грязи, засунув руки в карманы своих линялых, грязных по пояс шаровар. Маленькие серые глазки его так и шныряют по сторонам, словно высматривая, нельзя ли чего стащить.

— Не мое дело. Начальник приказал — и веду! — отвечает полицейский, топая следом.

— Начальник ослеп, не видит,— так у тебя что, языка нету сказать ему? — возражает арестант.

— Как я ему скажу? Начальник он, а я обязан приказы его исполнять. Не положено мне с ним разговаривать,— важно заявляет полицейский, поглаживая несуществующие усы.

— А как же я с тобой разговариваю?

— То дело другое.

— Как другое? Ты ведь тоже начальник, можно сказать, а я — твой подчиненный.

— Ты по службе не подчинен,— объясняет полицейский.— А так, вольный...

— Дай тебе боже такую волю!

Лисичка, обернувшись, тихо засмеялся в лицо полицейскому.

— Ну, а ежели, к примеру, начальник прикажет тебе родного брата побить, ты что сделаешь, господин унтер?

— Побью — и вся недолга!

— Как это так — побью? И не пожалеешь? За грошовое жалованье брата родного бить! Неужто совести хватит? — продолжал Лисичка.

— Оно, конечно, коли поразмыслить, так, пожалуй, не того... Да что поделаешь — приказ! — смущенно ответил полицейский.

— Ну, так и тебя нечего жалеть!

Арестант опустил голову и продолжал молча шлепать по грязи.

— Ишь ведь какой ты вредный! — проворчал полицейский.— В самую грязь норовишь влезть. Шел бы вот здесь, по следам, где люди шагали...

— Находился я по чужим следам; оттого и в лапы к вам попал, господин унтер-офицер.

Лисичка отлично знает, что конвоир его — вовсе не унтер-офицер, но нарочно льстит ему.

— По речам твоим, приятель, видать, что ты не глуп. А воровством занялся...

— Если б в Болгарии умные воры перевелись, что бы с этой страной стало! Несдобровать бы ей, господин унтер-офицер!

Наступило молчание. Лисичка шел понурившись и о чем-то думая. Полицейский подобрал полы шинели и выругал погоду. Поле кончилось; дорога пошла в гору, взбираясь на поросший кустарником холм. Крупные капли недавнего дождя висели на голых ветках. Сваленные в кучу при дороге огромные мокрые камни напоминали каких-то странных животных, спящих, как всё вокруг. Над путниками бесшумно пролетела какая-то птица.

— Эх, жаль, я не птица! — вздохнул полицейский, еле переставляя ноги в тяжелых подкованных сапогах.— Как мне было бы легко!

— Славное дело — летучий полицейский! — засмеялся арестант, продолжая думать о своем.— Вы и так-то суетесь куда надо и не надо. А стань вы птицами, что бы было!..

— Лишь бы не попадать в капкан — вот как ты! — ответил полицейский.

Наступило опять молчание. В нескольких шагах от них на дорогу выскочил и застыл от страха заяц.

Лисичка, остановившись, громко крикнул:

— Целься, господин унтер-офицер!

Спугнутый заяц метнулся в кусты. Полицейский и арестант остановились и долго смотрели ему вслед.

— Экая ты разиня, господин унтер-офицер. Увидал — стреляй! Прозевал добычу. Для чего только полено это на плечах таскаешь? Эх, растревожилось во мне охотничье ретивое... Увидать зайца и не выстрелить! Экая досада...

Арестант сел на камень, достал цигарку. Сел и полицейский.

— Так ты, значит, охотник? — спросил он Лисичку.

— Эх...— вздохнул арестант.

— А я — больно не целкий: поставь сена воз — и то не попаду.

— Прямо скажу, друг, досадно мне на тебя. Упустили зайца. Ну-ка пошли ему пулю вдогонку, пускай хоть струхнет косой! Уж не для меня ли бережешь?.. Не бойся, я никого не убил, и бежать мне незачем. Я б и так, без конвоя, пошел, куда послали. Ну, от силы три месяца посижу — и выпустят. Не бойся, господин унтер-офицер, не убегу. Мне еще жизнь мила. Эх, из твоей винтовки я бы за триста шагов в воробья попал!

— Дядя у меня вот такой же. Крив на один глаз, а посмотрел бы ты на него,— с гордостью заметил полицейский.

— Я, веришь или нет, когда в солдатах был, с трехсот шагов из винтовки в воробьиное яйцо попал.

— Все может быть. Дядя мой... в просяное зернышко в котомке попадал,— насмешливо согласился полицейский.

— Вон на дереве, на самой верхушке,— сойка,— показал арестант.— Ежели я не сниму ее первым выстрелом... плюнь мне в глаза.

— Больно далеко...

— Чего там далеко... Садану, шевельнуться не успеет. Давай на спор, господин унтер-офицер!

— Ой, проспоришь!

— Нет. Давай винтовку!

Полицейский стал закуривать, а Лисичка, не отрывая глаз от сойки, потихоньку вытащил зажатую между его колен винтовку, вскинул, прицелился. Полицейский внимательно следил за его действиями.

— Неудобно я сел... погоди! — промолвил Лисичка и встал. Потом взглянул на конвоира и шикнул на сойку:

— Кш-ш!

Та крикнула и улетела.

— Ну, вставай, господин унтер-офицер! Теперь я пойду за тобой. Марш вперед!

Полицейский, видя, что Лисичка не отдает винтовку, побледнел.

— Лисичка, не валяй дурака. Отдай винтовку!

— Ты встанешь? А впрочем, твое дело. Не хочешь — счастливо оставаться!

И арестант юркнул в кусты.

— Что ты делаешь? Эй, Лисичка!.. Пойдем дальше.

— Иди один, господин унтер-офицер,— мне с тобой не по пути.

Лисичка быстро продрался сквозь кусты, пересек овражек и поднялся на ту сторону.

— Куда ты, эй! Брось баловать! — в ужасе закричал полицейский.— Что ты делаешь? Хочешь, чтоб я вместо тебя в тюрьму попал? Вернись сейчас! А то плохо придется, слышишь?

— Мне лишь бы самому не сидеть, а другие — на здоровье! — не оборачиваясь, ответил Лисичка и скрылся в лесу, на который пал густой туман.

Полицейский оглянулся по сторонам, словно прося помощи, но кругом не было ни души. Холмы глядели хмуро друг на друга. Лес безмолвствовал. Между кустами, словно окаменевшее стадо, тут и там белели скалы. Вспорхнула крикливая сойка, посмеялась над этим молчанием и улетела неизвестно куда.

Полицейский сел у края дороги и, не зная что делать, заплакал.

1904

СКВОРЕЦ

Пастушата прибежали бегом на село и сообщили испуганно, что нашли в поле Скворца мертвого.

Был праздник. Стоял погожий, веселый майский день. В корчмах было полно народу, на площади водили хоровод, и новость быстро разнеслась повсюду. Староста принял меры, позвал писаря, лесничего, полевого сторожа. Взяли бумаги, чернил, чтоб составить протокол, прихватили из корчмы понятых и отправились на место происшествия. Хоровод разбежался: девушки, парни, бабы и ребята — все кинулись следом.

Помер Скворец! Вот неожиданность! Он был не здеш-

ний. Все его знали, но никому не было известно, откуда он. Появился в селе недавно, играл на гусле [1], пел, веселил народ, терпеливо сносил насмешки, всегда приветливый, улыбающийся. Никому он не был особенно близок, но все к нему привыкли, и эта весть всех поразила и опечалила. Каждому стало вдруг чего-то не хватать, как будто село опустело. Не Скворец помер, а душа угасла, песня оборвалась.

Скворец пришел в село осенью. Весь оборванный, как пугало, раздетый и голодный. Его нашли спящим на лавке перед общиной. Староста стал его расспрашивать, решил, что он подозрительный, и посадил его в подвал общины, с тем чтобы на другой день отослать к окружному начальнику.

И тотчас из маленькой тюрьмы понеслись веселые, живые звуки гуслы.

Мимо проходила Зуза, дочь старого цыгана Мехмела; она остановилась послушать и нагнулась к железной решетке окошка.

— Эй ты! Чего туда забрался? — наивно спросила она парня, в котором, по-видимому, узнала соплеменника.

— Так. Посадили меня,— ответил музыкант и, отложив гуслу в сторону, вдруг засвистел, как соловей, высоко, звонко, заливисто. Потом залаял собакой, запищал, как скворец.

Девушка, засмеявшись, прижалась лицом к окошку, чтоб лучше разглядеть.

Из общины вышел староста.

— Чего тебе здесь надо? — строго спросил он цыганку.

— Да слышу — в подвале скворец свистит, дай, думаю, послушаю...

— Я славного скворца поймал, посмотрим вот, что за птица.

Цыганка выпрямилась, помолчала, потом вдруг простодушно, умоляюще промолвила:

— Господин староста, выпусти его. Выпусти Скворца. Он — хороший.

— Из ваших, что ль? — усмехнулся староста.

— Из наших, из ваших ли, того не знаю, а только выпусти его, выпусти, господин староста.

Зуза изогнулась, как пружинка, протянула руку и погладила старосту по рукаву, устремив на него детский взгляд своих черных глаз.

---

[1] **Гусла** — народный двухструнный смычковый инструмент.

— Выпусти его, господин староста. Выпусти Скворца!

В это время Скворец заиграл на гусле. Проходившие мимо крестьянин и крестьянка остановились рядом со старостой.

— Выпусти, господин староста. Выпусти Скворца,— продолжала Зуза.— Завтра свадьба у моего брата. Пускай он придет, поиграет.

— А коли сбежит? — спросил староста.

— Коли сбежит, меня посади. Я за него три года отсижу,— пошутила Зуза и опять начала просить.

У старосты было доброе сердце. Немного подумав и с удивлением поглядев на Зузу, он выпустил арестованного.

Так и прозвали того парня Скворцом.

Зуза привела его к отцу своему в корчму. Дед Мехмел угощал своих гостей-цыган, собравшихся из окрестных сел на свадьбу его сына. Скворец сел в сторонку и заиграл на гусле. Деду Мехмелу понравилось; он подозвал Скворца, поднес ему чарку, усадил рядом с собой, чтоб играл. Зуза постояла в дверях, поглядела и ушла.

Цыгане гуляли всю ночь, и всю ночь Скворец играл им. В корчму собралось много крестьян, принявших участие в общем веселье. Скворец без устали забавлял пирующих; пел соловьем и скворцом, кричал перепелом, сойкой, сорокой. Он всем пришелся по нраву; все на него дивились и радовались. Улыбка, не сходившая с его физиономии, открыла ему двери ко всем сердцам.

На другой день началась цыганская свадьба, длившаяся целую неделю. Гремели барабаны, заливались зурны, вился хоровод. Скворец со своей гуслой творил неслыханные и невиданные чудеса. Все село сбегалось смотреть и слушать.

Когда пиршество кончилось, музыканты, прибывшие из другого села, взяли Скворца с собой и поехали по свадьбам в соседние села. Но через месяц он вернулся, и дед Мехмел, корчемный завсегдатай, стал всюду таскать его с собой, чтоб он играл ему.

Вскоре сын деда Мехмела поссорился с отцом и ушел из дому, переехал с женой в ее родное село. Тогда старик взял Скворца к себе — помогать в кузне и играть для него по корчмам.

С тех пор как Скворец — оборванный, с бледным лицом, курчавой, колечками, шапкой волос и доброй улыбкой на лице — остался в селе, его гусла не умолкала. Он уж не прятал ее в кожаную сумку, висевшую через плечо, а прицеплял к петлице, у своего молодого певучего сердца.

В кузнице деда Мехмела было немного работы: наточить топор, поправить кочергу либо еще что — только и всего. Мехмел даже перестал ходить туда. Работали Скворец и Зуза. Зуза раздувала мехи, вертела точило, а Скворец бил молотом.

По вечерам, когда дед Мехмел уводил Скворца в корчму, а Зуза оставалась одна, ее охватывала тревога. Но она уже не шла, как прежде, побродить по селу, или поболтать с кем из подруг, а садилась на порог кузницы, строгая, задумчивая, и ждала. Если же дед Мехмел и Скворец задерживались, шла в корчму, звала их и уводила домой.

Как-то Зуза сказала Скворцу:

— Перестань шататься с отцом по корчмам, слышишь? А то зелья наварю. Отравлю тебя!

Скворец взглянул на Зузу с испугом. В глазах ее горели злые огоньки.

— Как же мне быть? — спросил он.— Не стану слушаться отца твоего, так он меня выгонит.

— Пускай выгонит.

— Тяжко мне будет без тебя, Зуза.

Она улыбнулась, сверкнув белыми зубами.

— Я уйду с тобой,— сказала решительно и нежно обвила его шею руками.

Тут вошел дед Мехмел, на этот раз не пьяный.

— А-а-а, вот как? — закричал он.— Скворец, пошел вон отсюда. Чтоб духу твоего здесь не было!..

И указал ему на дверь.

Скворец, смущенный, испуганный, выскочил наружу. Зуза пошла за ним.

— А ты стой! — крикнул отец.— Зарежу!..

И он втолкнул ее назад, в кузницу, потом вышел и запер дверь.

С той поры Скворец исчез. Исчезла и Зуза: отец не выпускал ее из кузницы. Целых две недели продержал ее взаперти. Пищу и воду подавал через маленькое окошко со двора. Зуза молча терпела.

Наконец, решив, что все кончилось, старый цыган выпустил ее.

Зуза вся потемнела. Лицо ее поблекло, черные глаза погасли, улыбка пропала. Она нигде не показывалась, не встречалась с подругами, не плясала в хороводе, не пела и не заходила в корчму за отцом.

По вечерам видели, как она стоит, прислонившись к двери кузницы,— задумчивая, устремив глаза на запад, туда, где средь пылающих над горами облаков заходило

солнце. Позади них, словно из какой-то страшной кузницы, так и пышет огонь. Зуза, не отрываясь, глядела на закат, и в душе ее пылал такой же огонь. Так простаивала она допоздна, пока совсем не стемнеет, и потом уходила молча к себе.

Как-то вечером дед Мехмел не застал дочери дома. Пошел искать ее, обошел все село: Зузы нет как нет, и никто ее не видел.

Разнесся слух, что Зуза сбежала. Дескать, пришел Скворец и увел. Старый цыган заявил в полицию. Всюду искали: ни ее, ни Скворца нигде нету.

Только через месяц привел Зузу жандарм. Нашли ее в одном дальнем селе. Она всюду бродила — искала Скворца. Пришла, обессилевшая, голодная, измученная, оборванная, босая. Не узнать. Только огненные черные глаза — прежние.

— Я Скворца искала. Жить с ним хотела. А он, убей его господь, как сквозь землю провалился. Забыл меня, бросил,— сказала она отцу и больше не проронила ни слова.

Прошло порядочно времени, и эта история позабылась. Но вдруг недавно, с неделю тому назад, среди ночи послышались звуки гуслы. Печальный напев ее облетел все село, проплыл по всем улицам.

— Это Скворец был, не иначе,— толковали на другой день крестьяне.— Ох, и до чего же играл жалобно.

Но никто Скворца не видел.

...А теперь вот нашли его мертвым в поле. Все село туда сбежалось. Только Зуза не пошла.

У пестреющей цветами межи, на глухой тропинке среди буйно зреющих нив лежал Скворец, словно спящий. В одной руке гусла, скрипочка, в другой — беленький платочек. У молодого красивого лица такое выражение, будто он вот-вот запоет. Черные глаза прикрыты длинными ресницами. Народ толпился вокруг Скворца, рассматривая его с любопытством, жалея, но ни у кого не защемило сердце при виде этого чужого человека.

— От пенья разорвалось сердце у него,— заметил кто-то.

— С голоду помер, бедный,— промолвила одна старуха.

— От любви помер, сердешный,— сказала одна девушка подругам.

И все были правы.

1922

АИСТОВЫ ГНЕЗДА

ИВА ДЯДИ СТОИЧКО

На бедном дворе дяди Стоичко выросла чудная ива. Уже у самой земли она разделялась на пять крепких одинаково толстых братьев-стволов. Каждый из них выбрасывал пышную крону, и все вместе образовывали огромный шатер, высоко вздымавшийся над домами, сараями, под вечер кидавший тень, словно холм, на всю поляну — от Стоичковых палат до соседнего села.

В ветвях этой чудной ивы с незапамятных времен было двенадцать аистовых гнезд, и каждую весну на них прилетали и выводили там птенцов двенадцать пар аистов — самая многочисленная живность у дяди Стоичко.

Какое это было радостное событие, когда длинноногие гости возвращались из дальних краев в родные гнезда! При первом живительном дыхании весны, только фруктовые деревья пустят почки, только начнут ребятишки бегать босиком по нагретой, но еще сырой земле, только небо очистится от туч, вот уже по улицам и дворам села проносится быстрая тень, мелькнет у тебя под ногами, перекинется на ближнюю стену, потом на крышу и пропадет. Подымешь голову — и что же? Над тобой летит аист. Медленно, спокойно, празднично вьется он над селом, то взмывая ввысь, то низко спускаясь, кружит над знакомыми дорогами и дворами, стрелой проносится над лугами, совершает первый облет знакомых, родных уголков. Потом, быстро крутясь, спустится в гнездо, на иву дяди Стоичко. Ребятишки радостно выскакивают из дому, бегают по грязному двору, где, погруженный в сладкие мечты, греется под первыми лучами весеннего солнца осел, прыгают, кричат:

— Мама, аист! Мама, аист!

И распевают, приплясывая:

Аист сел — я полечу!
Аист сел — я полечу!

Куры, вспугнутые шумом и неожиданной тенью аиста, разбегаются во все стороны с тревожным кудахтаньем. Петух подает им с навозной кучи успокоительный сигнал, поспешно взлетает на телегу и становится на стражу.

Застигнутая врасплох поднявшейся во дворе суматохой, из-за низкой двери с любопытством высовывается тетка Стоичковица. Руки у нее в тесте, сарафан перепачкан мукой.

— Чего разорались, бесенята? — кричит она на всю деревню.

Но, увидев аиста, который, поворачивая во все стороны шею, осматривает свою родину, с высоты гнезда, она останавливается в умилении, восклицает:

— Боже милостивый, да у нас гости. Добро пожаловать!

Тут откуда-то из-под покосившегося навеса вылезает сам хозяин, дядя Стоичко. На одежде его и сплющенной, как блин, вытертой шапке висят длинные соломинки. Он лениво шагает, равнодушно глядя на жену.

— Стоичко, аисты! — кричит она, возбужденная непривычно праздничным видом, который приобрел их бедный двор, и указывает рукой на иву.

— Тятя, аисты! — что есть мочи вопят ребятишки.

Дядя Стоичко притворяется, будто не слышит этих проявлений детской радости, и старается скрыть любопытство под навесом густых бровей. Человек он упрямый, с тяжелым нравом. Его ничем нельзя расшевелить: лень сделала его спокойным, как вол, и равнодушным, как камень, ко всем житейским радостям и печалям. Целые дни он без дела угрюмо слоняется по двору, таскается по корчмам, слушает с досадой разговоры и шутки и возвращается домой злой, как турецкий перец, и хмурый, как туча. Плохо пришлось бы детям, не будь работящей Стоичковицы.

Но как ни равнодушен Стоичко ко всему на свете, даже у него душа просыпается от веселого детского гомона. Он снимает шапку, задирает голову, долго шевелит косматыми бровями, нависшими на глаза, словно соломенные стрехи, и, щурясь, смотрит вверх.

— Это Змеёвник,— объявляет он.

— Нет, Лягушатник,— возражает жена.

— Какой там Лягушатник! Не видишь — выше колена желтое кольцо? У Лягушатника такого нету. У Пономаря тоже есть, только на левой ноге, ниже колена.

— Ну, может, и Змеёвник,— говорит примирительно жена.

С этого дня у дяди Стоичко в доме поселяется радость — праздник во всем селе. Огромная ива ожила. Двенадцать влюбленных пар трещат клювами в двенадцати гнездах.

Ива — счастливая, словно только того и ждала: сразу вся покрылась листьями, и в каждом гнезде начинается жизнь. Весь день аисты, не зная покоя, улетают, прилетают, милуются, тащат щепочки, тряпки, солому, налаживают свое хозяйство, радуются жизни — в мире и согласии со стоичковыми домочадцами. Они уже подружились с ними со всеми и расхаживают по двору, где лежит собака, такая же обленившаяся и облезлая, как ее хозяин.

Раз мастерил что-то Стоичко на колоде посреди двора. Солнце сильно пекло. Стоичко скинул вечный свой кожушок, с которым не расставался ни зимой ни летом. Холщовая рубаха его взмокла от пота. Рядом, на кучу щепок, он бросил свою вытертую шапку, пропотевшую и сальную, как пирог.

По двору важно расхаживал Змеёвник, тщательно осматривая мусор в поисках щепочек и соломинок. Завидев шапку, он подошел к ней, два-три раза клюнул ее и, видимо, найдя ее подходящей, схватил и унес к себе в гнездо. В пищу ли решил употребить, подстилка ли ему понадобилась — его дело.

Увидев, что шапка его возносится кверху, Стоичко вскочил, взял горсть щепок и кинул их вслед вору. Но аист был уже в гнезде и долбил добычу своим красным клювом.

— Кш-ш! Эй, проклятая гадина, отдай шапку! — взревел Стоичко и разразился бранью.

— Тук... тук...— долбил аист по шапке, стараясь оторвать кусок.

Стоичко вскипел, нагнулся и, схватив камень, запустил им в густые ветви ивы. Из двенадцати гнезд во все стороны взмыли вспугнутые аисты. Улетел прочь и Змеёвник, оставив шапку в гнезде. Рассвирепев еще больше, дядя Стоичко стал собирать камни по всему двору и кидать их в иву, над которой вились аисты, встревоженные, испуганные за судьбу своих яиц. Но вот Змеёвник вернулся, сел опять на гнездо и задолбил клювом по шапке.

— Погоди, сукин сын, я тебя проучу! — крикнул Стоичко, схватил топор и ударил несколько раз по стволу ивы.

Аист не обращал на него внимания. И, словно назло, продолжал клевать шапку, наступив на нее ногой.

Стоичко рассвирепел, закричал еще громче, зашикал, но аист, занятый своим делом, и не думал улетать. Окончательно взбешенный, Стоичко опять схватил топор и принялся рубить иву. Дети, откуда-то прибежав, с веселым криком носились по двору.

— Змеёвник тятину шапку унес! Змеёвник тятину шапку унес!

— Убирайтесь! — заревел Стоичко, замахнувшись на них. Брови надвинулись на самые глаза, и даже уши от злости зашевелились.

Ребята — врассыпную и попрятались кто куда.

Стоичко снова взмахнул топором. Все быстрей мелькало лезвие, глубоко вонзаясь в мягкое тело ивы. Белые, сочные щепки разлетались по всему двору. Могучее дерево сотрясалось от боли, пять громадных развесистых братьев вздрагивали в предсмертных муках.

Аисты метались в воздухе, охваченные ужасом. Они то быстро-быстро улетали куда-то, то опять возвращались, приводя с собой целые стаи товарищей. Над стоичковым двором носилась туча встревоженных, испуганных птиц, в ужасе кружась над трепещущими верхушками ивы, где вздрагивали от сотрясения и рушились двенадцать гнезд.

А Стоичко, в ярости, с диким наслаждением продолжал работать топором.

Скоро огромное дерево странно закачалось и наклонилось. Ветви его затрепетали в смертельной муке, ствол хрустнул, будто вскрикнув от боли. Убитое дерево медленно пошло вниз и с треском и проклятиями рухнуло на поляну. Ветки его с плачем переломились. Из разрушенных гнезд поднялась пыль.

Стоичко отскочил и угрожающе зарычал. Потом влез в гущу ветвей, достал выпавшую из гнезда шапку, расправил ее об колено, нахлобучил на глаза и, что-то бормоча, пошел к воротам.

Услыхав шум падающего дерева, Стоичковица в испуге выскочила из дому. На пороге остановилась как вкопанная и зарыдала в голос:

— Стоичко, Стоичко, чтоб тебя разорвало! Экий грех, убей тебя господь!

— Молчи! — прошипел Стоичко, с свирепым видом обернувшись к ней.

Женщина убежала в дом, хлопнув дверью. А Стоичко пошел в корчму.

Целых два дня кружились аисты над разоренными гнездами...

1912

РАДУНИЦА

Сырой, туманный осенний день придавил маленькое село. Мелкий дождик моросит не переставая и стряхивает последние желтые листья с обнаженных тополей, что маячат возле старой церковки горькими печальными вдовами. На неогороженном старом кладбище возле церкви полно женщин, которые бродят между могилами, серьезные, печальные. Нынче — радуница, день памяти усопших, и каждая вливает свою скорбь в общую скорбь об отошедших. Старые каменные кресты, покосившиеся и позеленевшие, украшены букетиками сухих осенних цветов. На поросших бурьяном безыменных могилах постланы пестрые скатерти, лежит хлеб, стоит кутья.

Седой священник отец Серафим с кадилом в руке быстро переходит от могилы к могиле, читает молитвы и поминанья, сердито торопит женщин. Два маленьких близнеца его таскают за ним мешок, куда пономарь дядя Тодор усердно складывает приношения.

Под покосившимся навесом паперти выстроились школьники. Впереди, дрожа от холода, стоит учительница — худая, длинная, сухопарая девица — и сердито одергивает шалунов.

Женщины разносят кутью расписными ложками от гроба господня, приговаривая:

— Возьмите и помолитесь за упокой души...

Ребятишки, шмыгая носом, протягивают руки один из-за другого и наперебой кричат:

— Царство небесное! Царство небесное!

У церковной стены, возле самых водостоков, сидят на корточках похожие на поставленные в ряд ульи бедные сироты в широкой, с чужого плеча старой одежде и, жалобно глядя, протягивают руку за подаяньем. Тут же с виноватым видом стоит дурачок Христо, то и дело подбирая обтрепанные полы своего широкого пиджака, в дыры которого видно посиневшее от холода тело.

Немного дальше жалостно поет слепец.

И над всем этим печальным зрелищем, потонувшим в

сыром, пропитанном тонким запахом воска и ладана тумане, стоит смутный, беспокойный шум, среди которого отчетливо и монотонно выделяется густой голос священника.

В этом женском муравейнике мелькает долговязая фигура Станчо Поляка, который, будто женщина, разносит кутью — на помин души своей покойной супруги. Сухое, унылое лицо его, с тонкими обвисшими усами, отмечено печатью царящего здесь серьезного, скорбного настроения. Он переходит от группы к группе, от ребенка к ребенку и раздает кутью вдумчиво, как бы священнодействуя перед памятью покойной Божаны. Завидя в толпе куму свою, тетку Дивдену, он проталкивается между женщинами и подходит к ней.

— Возьми, кума, и помолись за упокой души Божаны.

— Ой, кум, а я тебя и не узнала — богатым тебе быть! Как живешь? Дети как? Что ж их-то не привел мать помянуть — упокой, господи, ее душу.

— Да ведь с ними совестно на людях показаться, кума,— сама знаешь.

— Упокой, господи, бедняжку Божану, мало она на свете пожила,— участливо заводит кума.— И тебя одного-одинешенька оставила, словно кукушку, людям на смех, бабам на страх, как говорится. Ну, да ты — что! Твое дело мужское: погорюешь и перестанешь, другую найдешь, забудешь покойницу-то, будто не было ее на свете. А детишки, детишки вот бедненькие! Они уж матушку себе никогда не найдут! Как цыплята попискивают об ней — упокой, господи, ее душу, царство ей небесное, посади ее одесную свою, чтоб ей хоть там-то лучше было.

И тетка Дивдена, покачав головой, взяла баклажку с водкой и, встряхнув над ухом, основательно отхлебнула.

— На, кум, выпей и ты. Господи, день-деньской работаю — никак времени не выберу птенчиков твоих — деток проведать. Болит, болит, у меня сердце об них, да-а-а...

— Эх, будь жива Божана, все по-другому было б,— грустно промолвил Станчо, и глаза его налились слезами.— А теперь вот одному о них хлопотать приходится.

— Божья воля, кум,— ничего не поделаешь.

Станчо всхлипывает и, расчувствовавшись, сморкается с помощью двух пальцев.

— Пей, кума, пей. Все под богом ходим. Для того на свет родимся, чтоб горе мыкать. На то и бедность.

— Не печалься, кум, горе с радостью вместе ходят. Пришло горе, придет и радость. На-ка выпей! По мне так:

упокой, господи, мертвых, а живым пошли здоровья и долгой жизни.

Станчо берет оловянную баклажку и опять порядочно отхлебывает.

— Царство небесное!

— Царство небесное — это правильно, кум,— развязался язык у тетки Дивдены.— Ты не тужи, не думай, а норови какую ни на есть найти, чтоб за домом смотрела. Так уж, знаешь, приходится. Люди мы. Покойникам земля пухом, а живой о живом думать должен.

— Подай, господи, мертвым — гроб, а живым — полный зоб,— говорит Станчо, повеселевший от водки и утешительных слов кумы.— Сказать по правде, кума, уж я и сам подумываю...

— Да, да, кум. Плохую ли, хорошую ли, а найди.

Тут подходит к ним Станчова теща, мать покойной Божаны.

— У-у, Станчо-о-о, сыночек! Жалко мне глядеть на тебя, бедного! Как есть сиротинка. Вижу, и людей сторонишься, ровно бычок какой. Ты побольше с людьми-то будь, милый. А Божане, упокой господи ее душу, видно, так уж на роду было написано.

От этих слов Станчо снова приходит в мрачное настроение. Темные, страдальческие глаза его наливаются слезами, слегка увлажняющими ресницы.

— Ээ, матушка,— говорит он со вздохом,— лучше б я, а не она...

— Ох, лучше, лучше бы, сынок, да на все воля божья. Ребятишки, вестимо, без отца проживут, а без матери...

Станчо вынимает из пояса платок и начинает тереть себе нос и глаза.

— Не плачь, сынок! Погоревал о Божане, а теперь найди себе хозяйку: так жить негоже.

— Как она, другой не найдешь,— говорит Станчо и опять берет в руки баклажку.

— Знаю, знаю, сынок. Больно прост ты, трудно тебе будет жену найти. Бабы привередливые. Работать-то работаешь ты как вол... Ух, сынок, да какой же ты грязный!

Станчо глядит на испачканные, оборванные рукава рубахи и глубоко вздыхает.

— Глядеть на тебя, кум, жалость берет,— снова вступает в разговор кума, маленько заболтавшаяся с монашкой Пиомией.— Намедни мы с кумом твоим Димо о тебе толковали. Он то же говорит: скажите, мол, ему, чтоб не жил так, а опять женился. Молодой ведь еще...

— Какой же молодой,— смущенно возражает Станчо, вытирая обвисшие усы.— Молодость моя прошла, а только вот...

Глаза его опять полны слез. Он прикладывается к баклажке.

Кума заговорила с женщинами, теща уходит куда-то с попадьей, и Станчо остается опять один — торчит, как жердь, с глупым видом, держа блюдо в руках.

Все глядят на него с сожалением: мужчина, а разносит кутью! Вдовый. Видно, старался приодеться, подтянуться, а какой смешной в старых штанах, которые сам стирал и чинил, сажая заплаты снаружи. Две-три насмешливые молодки лукаво смотрят на него, о чем-то перешептываются, посмеиваясь, но тотчас, вспомнив, что нынче радуница, опять становятся серьезными.

А дождь, мелкий-мелкий, как пыль, идет не переставая, мочит одежду, и холодная сырость проникает всюду.

Люди стали расходиться то группами, то в одиночку, исчезая, как призраки, в синем, сыром тумане. Сухопарая учительница с хмурым видом увела нахохлившихся от холода ребятишек, и кладбище понемногу совсем опустело. Станчо посмотрел-посмотрел, устало опустился на каменный пол паперти под навесом и принялся мирно жевать хлеб с брынзой.

Возле него стала топтаться Стоилка, вдова пастуха Янечко, высокая, костлявая, светловолосая, с вытянутым лицом, серыми глазами и большим ртом, который крепко сжат, словно из боязни, как бы люди не увидали ее крупных белых зубов, но женщина добрая и хорошая хозяйка.

— А, Станчо, что-то давно тебя не видно,— начала она нараспев при виде его.— Как поживаешь? Что детки? Растут? — принялась она расспрашивать громко и отчетливо, как привыкла говорить с Яначко, который был глуховат.

Станчо стыдливо подобрал свои длинные ноги и пробормотал полным хлеба ртом:

— Да как люди, так и мы, Стоилка. Живем потихоньку. На-ка вот, помяни.

И подал Стоилке баклажку.

Она, взяв его баклажку, подала ему свою.

— Так уж повелось. Помяни и ты, Станчо!

— Покойникам царство небесное, а живым — здоровья и долгой жизни! Ты что поделываешь? Свыклась с долей одинокой своей?

— Упаси господи, Станчо,— врагу не пожелаю.— И она отхлебнула два глотка из Станчовой баклажки.

— Упаси, упаси, а вот нас с тобой не упас, Стоилка.

— Нельзя, видно, было. Его господня воля!

— Одна кукушка нам с тобой куковала, Стоилка,— вздохнул Станчо и задумался.

— Видно, одна, Станчо,— вздохнула Стоилка и тоже задумалась.

Туман становится все гуще, все темней и сырее. Станчо и Стоилка сидят на камне, глядят в землю, молчат, думают.

— Трудно так-то, Стоилка,— вдруг произносит Станчо, не глядя на нее и уныло качая головой.

— Просто беда,— со вздохом отвечает она, не подымая глаз.— Думаешь, думаешь, всю ночь не спишь, а что делать...

— Я тоже все думаю, ничего придумать не могу. Так больше нельзя. Надо конец положить. Главное дело — для детей: чтоб присмотреть за ними кому было. А пропадать так пропадать,— один конец. Божана, покойница-то, уж как мне досаждала. Прямо поедом ела. А я ее любил, пальцем ни разу не тронул. Как говорится,— кто жену бьет, ангела бьет своего...

— Ох, Станчо, не говори!.. Мало ли какие бывают. Других не то что бить хочется, а впору в могилу вогнать,— отвечает Стоилка, печально покачиваясь, как сухое дерево.

— Я не из таких,— возражает Станчо.— Хочешь верь, хочешь нет,— как померла она, я полчеловеком стал. До того тяжко...

Станчо говорит искренне, жалобным голосом. При воспоминании о Божане глаза его наливаются слезами. Водка развязала ему язык.

— И Яначко мой, бедный, тоже добрый был, царство ему небесное. Хорошо, помер вовремя. Протяни он еще годок, все как есть пропил бы,— говорит Стоилка, прикрывая рот рукой, чтоб не показывать своих больших зубов.— Ничего, ну ничегошеньки бы не оставил. Детишки по миру пошли бы.

Стоилка еще раз отхлебывает из баклажки и передает ее Станчо. Тот берет не глядя и опять задумывается.

На кладбище больше никого нет. Одиноко, печально торчат теперь украшенные цветами старые кресты. Туман сгустился еще сильней. Крыша старой церкви роняет крупные слезы. Капли стучат уныло, образуя ручейки на мокром песке. Кажется, вросшее в землю здание безутешно плачет, изнемогая под бременем лет. Через кладбище,

вниз по склону, опираясь на громадный кизиловый сук, идет нищий Богдан, закутанный в рвань и похожий на ком. В ближней корчме жалобно запищала, заплакала волынка, потом, издав несколько отрывистых звуков, умолкла. Сразу поднялся веселый, пьяный крик и тоже умолк.

Станчо со Стоилкой переглянулись.

— Кто это веселится? — спросила погруженная в свою печаль Стоилка.

— Беднота,— ответил Станчо.— Гуляют...

— О чем ты думаешь, Станчо?

— О чем думаю?.. Да так, пустое дело. Уговаривают меня жениться.

— Ну и женился бы.

— Хорошо бы, да как? Первым долгом, кто за меня пойдет,— с четырьмя детьми-то? Да и старый уж я, некрасивый...

Станчо вытирает обвисшие усы, подкручивает их мышиные хвостики и откашливается.

— Нет, ты не старый, а только... И не такой уж некрасивый, хотя худ и черен,— утешает его Стоилка.— Тебе, мужчине, это просто: мигни — сразу десять прибежит. Не то что нам: наше дело женское.

— Да вы, бабы, больно привередливы. Поневоле робеешь...

Станчо отхлебывает из баклажки и протягивает Стоилке. Та берет и улыбается. А крупные зубы только и ждали, чтобы сверкнуть.

— Знаешь, Станчо, мне ведь сколько раз про тебя толковали. Где уж там, говорю,— Станчо меня нипочем не возьмет. Ему красивую подай. Вон Божана, говорю, какая красавица была...

— Что правда, то правда, Стоилка. Божана была красавица. Глаза какие!..

Целый рой воспоминаний о молодых годах нахлынул на Станчо и мешает ему говорить. Он вздыхает, наклоняется, сплевывает и умолкает.

— Дескать, Станчо добрый. С ним царицей заживешь,— продолжает Стоилка.

— И мне, коли на то пошло, про тебя говорили...

— А ты небось и слушать не стал,— прерывает Стоилка, поводя плечами, как девушка.

— А я почем знаю, что ты скажешь. Да и теща — как пойдет: Стоилка, мол, такая, Стоилка сякая. Во сне, говорит, приснится, не отчураешься. Она, говорит, плодущая. Детей тебе народит. Что ты делать будешь?

— Ну как только ей не грех!

— Нешто не знаешь, какая злая она, окаянная. Божана в нее была.

Стоилка вздыхает. Она сидит на камне, съежившись, засунув руки под кожушок, за пазуху, посинев от холода и стыдясь взглянуть Станчо в глаза. Ей до боли обидно, что его теща так отзывается о ней.

— Послушай,— снова заводит речь Станчо.— А посватайся я за тебя, ты пошла бы?

Стоилка пошевелилась, но ничего не ответила.

— Соберем вместе беды свои и ребят своих — и господи помоги! — набравшись смелости, говорит Станчо.— Полтора года один да один. И чего мыкаюсь? Гляжу, все как люди живут... А? Что скажешь?

— Почем я знаю,— краснея, отвечает Стоилка.— Ишь какой! Только насмешничаешь...— И она сделала ему глазки.

— Это ты брось. Мы с тобой не парень с девушкой друг дружку приманивать. Наше время прошло.

— А может, опять вернется,— улыбается Стоилка, прикрыв рот ладонью.

— Значит — так. Мое слово твердо. Коли согласна — хорошо.

— Согласна, что ж поделаешь. Одной нешто прожить? Не за тебя, так за другого...

— Ладно. Коли согласна — нынче же пойдем к попу, скажем.

Станчо встал. Стоилка поглядела вокруг своими серыми глазами, взяла блюдо и тоже встала.

Оба молча пошли. Навстречу сеял дождь, брызжа свежими, студеными каплями им в лицо и заставляя их краснеть от холода. У Станчо от водки шумело в голове и заплетались ноги. Стоилка шла рядом с ним, съежившись от холода, с баклажками и двумя блюдами в руках, и проклинала погоду.

С холмов надвигались новые клубы серого густого тумана, нависая над селом.

Станчо стало весело. Заглядывая, словно молодой парень, в серые и влажные, как туман, глаза Стоилки, он твердил:

— Знаешь, что я попу скажу? Батюшка, скажу, господь Божану у меня взял, а Стоилку мне послал. А? Так и скажу, вот увидишь.

Стоилка ласково улыбалась, прикрывая рот ладонью.

1903

СТАРЫЙ ВОЛ

Всякий раз при воспоминании о детстве, о тепле домашнего очага, о родной деревеньке на высоком холме под самым солнцем, о речушке, на берегу которой мы играли, в памяти моей возникает и огромный костлявый вол — наш старый Белчо.

Долгие годы безропотно, в великом безмолвии своей воловьей души, тянул он соху и наконец постарел, обессилел. Отец мой, сам его вырастивший из маленького теленочка, знал всю жизнь этого существа, полную труда и покорности судьбе. Он любил старого труженика, своего товарища, которого ни в чем не мог упрекнуть, всем сердцем жалел его и, когда тот стал не нужен, не захотел ни продавать его, ни мучить работой, а оставил старика жить привольно, на покое.

Бедный Белчо! Какой у него был мученический вид и какая кроткая душа! Он был самым крупным животным на селе. Белый, будто снежный сугроб, с большими темно-жемчужными рогами, возносящимися над лбом наподобие лиры...

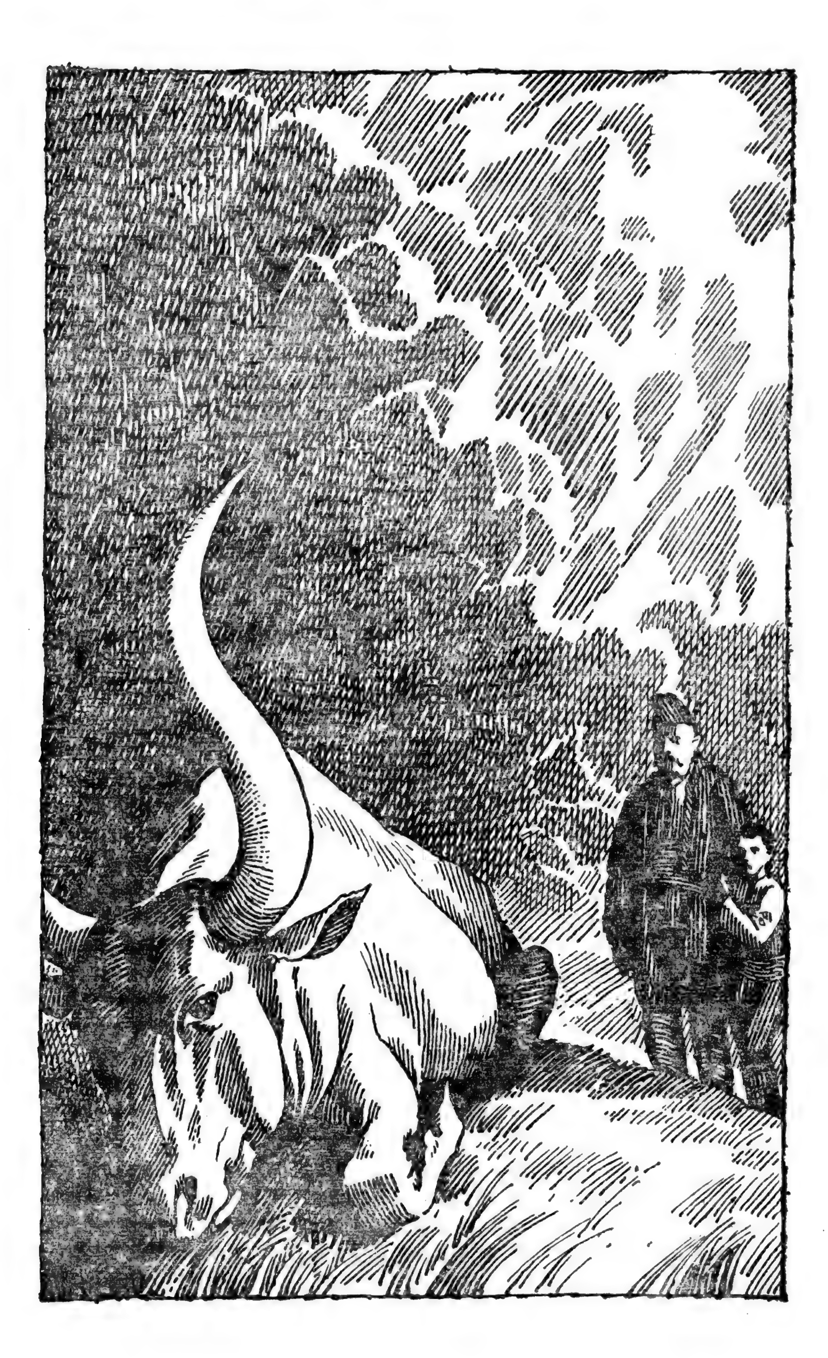
Обычно Белчо лежал на дворе, под навесом, окруженный заботами ребятишек. Мы его вычесывали, гладили, носили ему еду, украшали рога букетами цветов. Он выглядел в них немного смешным, похожим на старого поезжанина из свадебной процессии, но на наши затеи не обижался. Этот старый добряк глядел на нас дружелюбно своими большими черными глазами, такими спокойными, милыми, умными и печальными, будто хотел что-то сказать. Заглядывая в них, мы дружески спрашивали:

— Что, Белчо! Тебе надо чего-нибудь, а?

Белчо качал головой и, глубоко вздохнув, начинал медленно пережевывать своим беззубым ртом жвачку.

Кормили мы его вволю. Он вечно ел, вечно жевал и все-таки был страшно худ. Бока у него глубоко ввалились, ребра можно было пересчитать, кости, лопатки, позвонки на спине торчали, словно зубцы Стара-планины.

Каждое утро Белчо вставал, отряхивался от соломы, облизывал належанные места на своем теле, выходил из-под навеса и шел к реке на водопой. Ступал он медленно, спокойно, равнодушно, голову держал гордо, словно сознавая, какой огромный труд совершен им в прошлом. Поджарый, хорошо начищенный, с красивыми рогами, на которых висели наши букеты, он всем своим величественным



видом внушал встречным такое уважение, что все останавливались поглядеть на него.

Белчо подходил к реке, пил, потом так же спокойно, не глядя по сторонам, возвращался на свое место под навес. К вечеру он, опять совершенно самостоятельно, без постороннего зова или понуждения, повторял свой рейс. Маленькие прогулки эти совершались всегда в определенный час дня, так безошибочно точно, что по ним можно было узнавать время, как по часам.

Летом мы иногда отправляли его с деревенским стадом на пастбище. Но коровы уходили далеко в лес, карабкались по крутым холмам и каменистым склонам, а ему это было уже не под силу. Он отставал и возвращался поздно вечером. А как-то раз чуть совсем не пропал, и мой отец всю ночь искал его в лесу.

Оказалось, что он отбился от стада и, усталый, лег на дороге.

Тогда отец решил посылать Белчо не с коровами, а с телятами. Они паслись ближе, в лес не забирались, и от них он не мог отбиться.

В первый день Белчо не пожелал ходить с такими молокососами и, обиженный, еще не выйдя из села, повернул обратно. Напрасно пастушонок пытался угнать его. Белчо так сердито заревел и так угрожающе наставил рога, что тот испугался и махнул на него рукой. На другой день мы опять выгнали Белчо с телятами. Он пошел. Но в обед вернулся недовольный, мрачный, глубоко уязвленный в своем самолюбии. Телята, эти озорные мальчишки, скачущие, как полоумные, задравши хвост, возмутили его своими проказами.

Однако через несколько дней его упорство было сломлено. Он покорился судьбе со смирением мудреца. Люди нарочно выходили из домов — посмотреть, как важно он шествует. Когда телята, подгоняемые пастухом, трогались в путь, подняв тучу пыли, Белчо присоединялся к ним и шел сбоку, как учитель, сопровождающий школьников. Время от времени он издавал рев по адресу какого-нибудь шаловливого теленка и показывал ему свои острые рога.

Рано утром, заслышав зов пастуха, Белчо выходил из ворот. Дойдя до площади, он останавливался, устремив взгляд на зеленое поле, озаренное первыми лучами солнца, уже осушающими капельки росы, и глядел на ниву, которую когда-то пахал, на луга, где, молодой и сильный, работал и пасся. Глядел долго своими влажными печаль-

ными глазами, словно не мог наглядеться, и глубоко вздыхал, как человек.

Что делалось в этой молчаливой, безропотной душе?

Но вот Белчо заболел. Не пошел на площадь любоваться полем, а остался лежать под навесом. Тело его раздулось, шерсть взъерошилась; он дрожал как в лихорадке, взгляд его выражал муку. Мы накрыли беднягу попоной, принесли ему корму, но он к нему не притронулся. Дали воды — он окунул в нее морду и сейчас же с отвращением отвернулся, тяжело застонав. Мы побежали за кузнецом, умевшим лечить. Тот внимательно осмотрел больного, подергал его за хвост, потянул за уши, вывернул ему веки, наконец вдунул ему в нос через трубку какого-то едкого черного порошка и ушел.

Несколько дней Белчо лежал страдающий, измученный, не обращая внимания ни на корм, ни на воду. Он страшно похудел, стал плоский, как доска. Потом понемногу начал есть и наконец поднялся, еле держась на ногах.

Как-то в праздник, погожим весенним днем, народ, веселый, нарядный, возвращался из церкви. Старые сливы нашего сада стояли в полном цвету, с улыбкой склоняясь друг к другу, словно старушки, разодевшиеся на свадебный пир. Ночью шел дождик. Воздух был свежий, небо чистое, ясное. Солнце взошло над холмами сияющее, светлое, праздничное, будто вышло из церкви вместе с народом.

Белчо выглядел бодрей. Обрадованные его выздоровлением, мы украсили его рога большими пучками молодой крапивы, примулы и цветов сливы, вычистили его, расчесали. Он глядел на нас ласково, жмурясь от удовольствия.

Вдруг он встал и медленно отошел от нас. Потом, с трудом переступая дрожащими ногами, вышел за ворота, такой же величественный и красивый, как прежде, хоть и страшно исхудавший. Мы думали было удержать его, но мать не велела. И мы пошли за ним.

Белчо отправился на реку. Люди, давно его не видевшие, останавливались, говоря: «Бедный Белчо!»

Он подошел к мостику, напился воды, постоял, но потом, против обыкновения, не повернул к дому, а перешел через речку и направился к нашей ниве, тут же неподалеку, где колыхалась только что вышедшая в трубку рожь. Из волн ее доносился голос перепела, над нею порхали мотыльки. Белчо остановился на краю нивы, поглядел на нее, как на что-то знакомое, близкое, и отщипнул несколько травинок на меже. Потом переступил с ноги

на ногу и вдруг, зашатавшись, с глубоким болезненным вздохом рухнул на землю. Мы в испуге кинулись домой — сообщить о несчастье.

Когда мы вернулись с отцом, Белчо лежал мертвый, вытянув морду к цветущей меже, с широко раскрытыми и устремленными в синее небо глазами, печальными, безмолвными, прекрасными, но уже не видящими.

Так умер этот старый труженик, этот наш молчаливый друг.

Возле нивы, которую он когда-то пахал и к которой пришел сложить свою усталую голову, мы и похоронили старого вола, вырыв ему глубокую могилу, как человеку. Окруженная изгородью из белых камней, она по весне зарастает густой травой.

Местность, где находится эта одинокая гробница, люди назвали «Белчовой могилой».

И до сих пор каждый раз, приехав в родное село, я обязательно иду поклониться двум дорогим мне могилам — моей матери и Белчо.

1909

СПАСОВ КУРГАН

Дед Захари медленно шагает, поддерживая сидящего у него на спине маленького Монку. Тот обхватил деда худыми ручонками за шею и бессильно повис. Струйки пота избороздили загорелое лицо старика, бегут по напряженно вытянутой шее. Руки Монки душат его и давят так, что в глазах стоит кровавый туман, но он шагает полегоньку, заботливо поддерживая свою ношу.

Солнце уже заходит. Отовсюду — с душистых лугов и зеленых нив, из кустов и темных рощ, убегающих вдаль,— затаив дыханье, таинственно крадется ночь.

Сколько кругом народу! Со всех сторон, по всем тропинкам спешат, обгоняя друг друга, все в одном направлении, вон к тому высокому, крутому, островерхому холму, к Спасову кургану. На вершине его — развесистый старый дуб и маленькая белая часовенка рядом. Ползут по голой зеленой крутизне, кишa как муравьи. Дед Захари понять не может: откуда взялось столько народу? В телегах, верхом, пешком, из ближних и дальних сел, со всех сторон спешат сюда люди. Кого только здесь нет! Бедняки, в лохмотьях, полуголые. Богачи, празднично разодетые. У всех

какой-нибудь недуг и надежда на исцеление. Одни — с переломанным хребтом ползут по земле, как змеи, другие тащатся на костылях, у третьих — гнойные язвы на теле. Слепые, калеки...

— Куда они идут, дедушка? — спрашивает Монка.

— Все туда, милый.

— Они все — больные, дедушка?

— Все на свете чем-нибудь да больны, сынок. Кто одним, кто другим. Здоровых на земле нету. У того, глядишь, тело железное, а душа гнилая.

С вершины поплыл тихий церковный напев деревенского клепала; он разлился, как благословение, по всей зеленой окрестности.

Дед Захари, вздохнув, устало присел на землю.

— Перекрестись, милый.

Монка отпустил шею деда, и оба долго крестились, сидя в придорожном зеленом бурьяне.

— Я теперь, дедушка, сам пойду.

— Слабенький ты, мальчик мой. Уморишься.

— Нет, нет, дедушка, я сам хочу,— плаксиво возразил Монка.

Дед Захари осторожно поставил его на ноги, взял за руку, и они пошли. Монка, хилый, болезненный десятилетний мальчик, двигался рядом с дедом, как тень. На бледном исхудалом лице его виднелись синие жилки, ноги заплетались от слабости, руки висели, тонкие как спички. Большие, страшно расширенные синие глаза все время двигались, с умиленным удивлением следя то за птичками, молча спешащими к гнезду, то за сизыми голубями, исчезающими в вечернем сиянии в сторону темной дубравы, то за золотистыми мушками, мелькающими в воздухе, словно водяные брызги.

Дед Захари шел совсем медленно, чтобы не утомить мальца, но заметив, что солнце уже садится и людей на дороге мало, опять посадил его к себе на спину и зашагал быстрее.

По гребню холма бродили человеческие фигуры — бесцельно, будто заблудившиеся.

— Вон уж люди места выбирают. Опоздали мы, сынок,— сказал старик.

— Скоро бог туда придет, дедушка?

— Какое скоро? Он будет ждать, когда все соберутся, кто вышел. Есть ведь и дальние, есть хромые, слепые, есть которые дороги не знают, а кто, может, и заблудился... Когда все придут и заснут, позовет господь ангела, велит

посох подать и скажет: «Идем». Спустятся они молча вон оттуда, сверху, между звездами, и полегоньку вниз сойдут. Пройдет господь среди всех, кто здесь, тихо, чтоб никто его не увидел, не услышал, и всем пошлет исцеление. А потом опять на небо подымется полегоньку, как пришел. Точь-в-точь как тогда вознесся на горе в этот вот самый день — завтрашний спасов день.

— И кто болен — все выздоровеют, дедушка?

— Все, все,— с глубокой уверенностью ответил дед Захари.— Может, нынче, может, через год, через пять, через десять лет. Кто верит, тот спасется.

Монка слушал проникнутые горячей верой таинственные слова деда, и, хоть не понимал их,— на душе у него становилось светло и тепло. Он прижался бледным личиком к плечу деда, поднял глаза к высокому деревянному кресту на вершине холма и задумался. Все, все выздоровеют. Кто нынче, кто через пять, кто через десять лет. Почему же господь, коли уж дает людям здоровье, так не даст нынче же, сегодня? Все бы завтра вернулись домой здоровые. Вот дед Захари измучился нести его сюда, а он, может, выздоровеет только через десять лет. Нет, Монка хочет выздороветь уже нынче ночью, а завтра вернуться домой здоровым, бегать по лугам, рвать цветы, ловить бабочек, играть в мяч с другими ребятами. Как давно-давно не играл он в мяч и как ему хочется поиграть!

— А бывает, что через двадцать лет? — вдруг спросил Монка.

— На все божья воля, милый! Бывает, и через двадцать,— глубокомысленно ответил дед Захари и вздохнул.

Монка опять задумался. Через двадцать лет! В детском мозгу больного мальчика это не умещается, и в исполненную радости и надежды чистую душу его закрадывается разочарование. Кабы он знал, так попросил бы, чтоб дед отвел его к доктору. Правда, говорят, доктор требует много денег, но, если попросить хорошенько, может, взял бы и меньше.

— А доктора могут сразу вылечить? — спросил Монка.

— Что может доктор без божьего согласия? — ответил дед и прибавил укоризненно: — Чего зря спрашиваешь?

Монка не ответил.

Дед Захари молча с усилием шагал по извилистой тропинке, ведущей на холм, и пот ручьями струился по его лицу.

Когда они поднялись наверх, было уже совсем темно. Звезды густо усыпали небо, одна к другой, как никогда.

Чудное, кроткое их сияние словно придавило мрак к земле, и Монка, кроме сонных призраков окрестных гор, не видел ничего: ни рощи, ни поля, ни своего села, ни дороги, по которой он с дедушкой пришел сюда. Дедушка собирал в терновнике листья и сучья для костра, а он вертелся около него, испуганно всматривался в темноту, и какой-то таинственный страх наполнял его душу. Окошко часовни глядело во тьму, словно светлый глаз, неподвижно и страшно; силуэт развесистого дуба возле нее стоял огромным грозным медведем с открытой пастью. В темноте безмолвно и таинственно мелькали тени людей, как призраки, внезапно возникающие из-под земли и снова проваливающиеся сквозь нее. Там и сям горели костры, вокруг них слышались обрывки разговоров либо протяжные, мучительные вздохи, от которых у Монки волосы вставали на голове. Кто-то жалобно простонал в темноте:

— Мама, мамочка, подыми меня, родная. Я умираю!

— Дедушка! — всхлипнул Монка и уткнулся в колени деда, разводившего костер.

— Не бойся, милый, не бойся,— приласкал его старик.

Поужинав, дед Захари хорошенько закутал Монку в ряднину, и они улеглись бок о бок возле тлеющего костра.

Но Монке не спалось. Он слышал обрывки разговоров людей, что лежали у костров, темные и неподвижные, как мертвецы, слышал тяжелые вздохи больных, и ему вспомнилась большая икона в сельской церкви, на которой было изображено второе пришествие,— с адом, с дьяволами и грешниками, над которыми грозно царит в облаках господь бог, большой, сердитый, с золотым венцом на голове.

— Дедушка, когда будет второе пришествие? — спрашивает Монка.

— Чего? — откликается спросонья дед Захари.

— Когда второе пришествие?

— Спи, спи, сынок,— сонно отвечает старик и опять начинает храпеть.

Монка скинул с головы одеяло, лег навзничь и стал глядеть на небо. Там милые, хорошенькие, как живые детские глазки, мерцают рядышком звезды. Монка смотрит на них с улыбкой, и сердечко его наполняется радостью, тихой и кроткой, как их лучи. Он не будет спать, он подождет, когда среди этих прекрасных звездочек покажется господь бог с маленьким ангелочком и спустится на землю. Монка уже видит в воображении этого всемогущего исцелителя — господа бога.

Вдруг ему становится плохо. Сильная дрожь пробегает по телу, голова кружится. На глаза упала черная пелена, за ней — вторая, третья, четвертая... Он хочет позвать деда, но черные пелены исчезают одна за другой, ему становится легко, хорошо, будто кто тихо-тихо его баюкает. Он открывает глаза и видит, что небо и звезды поднялись высоко, страшно высоко. Одна звездочка сорвалась оттуда и опустилась к самой земле. Стало светло-светло. Небо открылось, и господь бог, большой-пребольшой, спускается на землю в золотом венце — такой, каким написан на иконе. За ним идет ангелочек, несет его посох и гордо глядит на ребятишек вокруг, совсем как Ценко Попов, когда кадит перед отцом своим на литургии. Какой ласковый, какой добрый старец — господь бог! Спустившись, он подходит прямо к Монке, берет его за руку и говорит ему: «Будь здоров — и пойдем. Я отведу тебя к матери». Монка никогда не видал своей матери. Он идет с господом богом на небо, к звездам. Кругом так просторно, так красиво. Где-то, будто медные колокольчики, звенят песни. Монка идет с господом богом и радуется, что увидит мать. Вот они все выше, выше,— земля осталась где-то далеко внизу...

— Мама,— впервые крикнул он.— Мама!

И это чудное слово прозвучало так сладко, так мило. У него стало тепло на душе, и он, здоровый, радостный, пошел дальше, держа господа бога за руку.

Дед Захари проснулся рано, до восхода, и посмотрел вокруг. В сумраке по всем тропинкам, ведущим с кургана, по каменистым склонам и крутизнам без памяти бежали вниз люди. Мужчины, женщины, дети, слепые, калеки,— кто на костылях, кто на четвереньках, кто на телегах, кто верхом,— все улепетывали, рассыпаясь, как призраки.

Дед Захари вспомнил, что, по поверью, коли хочешь выздороветь, беги отсюда перед восходом, оставив болезнь на месте. Он стал будить Монку.

— Монка, милый... пойдем, сынок!

Но Монка лежал навзничь — неподвижный, холодный, лицом к небу, с закрытыми глазами. Чудная, легкая детская улыбка застыла на губах его.

Он был уже далеко, под сердцем матери.

1905

ПЕРВОЦВЕТКА

Маленькое стадо овец и коз, разбредясь на припеке по склону холма, щипало вкусную молодую траву, шуршало в едва зазеленевших кустарниках, блеяло. Веселый колокольчик мерно и нежно позванивал, и звук его, похожий на песню кузнечика, разносился далеко в свежем воздухе, полном света и запаха весны. Животворное солнце щедрыми волнами изливало тепло на воспрянувшую землю. В ней снова пробуждалась жизнь, бурная, стремительная, кипящая, обновляющая все вокруг.

Шестнадцатилетняя Первоцветка, босая, в безрукавке, медленно бродила среди стада с прялкой в руках, погруженная в свои ребяческие мечты, и время от времени покрикивала на какую-нибудь четвероногую озорницу, как мать на ребенка:

— Кш-ш ты, Колокольчатая! Куда полезла в терновник? Всю шерсть обдерешь...

— Вот я тебя, Серая, вот я тебя!

Несколько овец смирно шли рядом с нею, лизали ей руки, тычась в них влажными мордочками, глядели на нее глупыми, простодушными глазами умильно и многозначительно, словно прося утешить их вечную, глубокую молчаливую печаль.

Первоцветка вытаскивала из висевшего у нее через плечо мешка хлеб, кормила их с руки, потом ласково гнала прочь:

— Ступайте, ступайте, убирайтесь! А то и другие просить станут.

Овцы брали хлеб, глядя на нее благодарным взглядом, съедали и отходили, опустив голову, будто в самом деле хотели скрыть от остальных, что их угостили.

На полянке, пестревшей желтыми первоцветами и крокусами, молодая пастушка, отложив в сторону прялку, принялась с увлечением рвать цветы. Детское лицо ее, свежее и невинное, сияло так же, как этот весенний день, и в глубоких синих глазах, веселых и ясных, росинками блестела беззаботная радость.

Она бегала по поляне, рвала цветы, что-то говорила им и, собирая в букет, напевала вполголоса.

Вдруг овцы разбежались, чем-то испуганные. Колокольчик зазвенел быстро и тревожно.

Первоцветка вскочила на ноги, взобралась на большой камень, где стояла коза, и поглядела вокруг, словно испуганная серна, почуявшая охотников.

Из кустов вышел лесник с ружьем на плече, весь красный и потный от долгой ходьбы.

— Добрый день, красавица! — громко, бодрым голосом промолвил он, увидев ее на камне.

Первоцветка смутилась, испугалась. Этого незнакомого лесника она уже дважды видела в лесу. До него лесником был дедушка Мартин — того она хорошо знала,— добрый, тщедушный низенький старичок, ничуть не похожий на высокого, статного черноусого молодца с горящими, как у лесного зверя, глазами, который стоял теперь перед ней.

Она спрыгнула с камня, созвала овец и погнала их, торопясь уйти от этого человека, внушающего ей какой-то непонятный страх.

— Куда спешишь? Вон цветы забыла,— обратился он к ней, как к ребенку, протягивая букет.— Славных цветов нарвала!

Потом вынул большой пестрый платок и стал утирать потное лицо, говоря:

— Плохо еще местность знаю, сбился с дороги, о кусты всю одежду изорвал... Экая жара!

Первоцветка забыла о своем намерении поскорей уйти; она стояла как вкопанная, слушая его, глядела, как он утирает себе лицо, и при этом оно то белеет, словно бумага, то опять начинает пылать, будто обожженное.

— Ты чья? — вдруг спросил он.

— Я Николы-мельника дочь.

— Значит, мельница у вас?

— Нет... отец на чужой работает.

— Все одно. Какая разница?

— Очень даже большая,— ответила Первоцветка и улыбнулась.

— А звать как?

— Первоцветкой...

— И девушка красивая, и имечко под стать.

Он шутливо потрепал ее по щеке.

Первоцветка вспыхнула от стыда. Хотела убежать, но осталась.

— Сколько овец пасешь? — спросил лесник, садясь на камень.

— Одиннадцать.

— А коз?

— Девятнадцать.

— Да ты еще! — промолвил лесник, хлопнув в ладоши и с веселым смехом глядя ей в лицо.

— Да я еще. Выходит, со мной двадцать! — игриво подхватила Первоцветка, и ее упругие молодые груди, обрисовывающиеся под узкой одежонкой, словно два спелых плода, задрожали от смеха.

— Ты — веселая барышня,— сказал лесник, ударив себя по колену.

— А ты, видно, городской? — спросила она, так как слово «барышня» показалось ей странным и смешным.

— Я из самой Софии.

— У-у! — с детской наивностью удивилась Первоцветка.— Будь я на твоем месте, никогда бы не уехала из города. Там лучше.

— Ошибаетесь, барышня! Мне куда больше нравится жить в деревне: больно девушки хороши. В городе таких нет. И я дал себе слово: коли женюсь, так обязательно на деревенской.

— О! Так ты неженатый? — еще больше удивилась Первоцветка, внимательно слушавшая лесника, не сводя глаз с его красивого румяного лица.— С такими усищами и не женат!.. Врешь!

Лесник захохотал, потом, разглаживая усы, тихо спросил:

— Дружок-то есть?

— Фу, как тебе не стыдно! — воскликнула Первоцветка.— Я ведь еще маленькая.

И, вся красная от стыда, хотела уйти.

— Что ж, что маленькая. А я вот увидал и влюбился,— сказал лесник, уставившись на девушку таким бесстыдным взглядом, что та испугалась.

— Ну и шут с тобой! — сердито ответила она и пошла прочь, гоня перед собой стадо.

— Послушай, Первоцветка, не сердись. Давай опять встретимся здесь. Придешь? И тогда скажешь, любишь меня или нет. А не придешь завтра, так больше не увидимся,— сказал вслед ей лесник.

Он долго глядел, как она пробиралась между кустами, прикрывая свои полные обнаженные ноги, загорелые, исцарапанные. Потом, повесив ружье на плечо, ушел в лес довольный, испытывая внутреннюю дрожь охотника, искусно расставившего ловушку.

Первоцветка решила никогда больше не ходить на это место и не встречаться с новым лесником. Но на другой день, выгнав стадо, она, сама не зная как, оказалась на той же самой полянке.

«Буду дуться и не стану с ним разговаривать. Покажу

ему, как надо говорить со мной!» — мысленно оправдывалась она.

И, угомонив стадо, стала собирать первоцветы, а потом села на теплую землю и принялась вить венок.

Она вила его, как и накануне, медленно, старательно, напевая и что-то рассказывая цветам.

Но теперь она рассказывала им о леснике.

Погода опять была теплая, ясная. Все вокруг сияло, дышало свежестью. Крылышки сновавших в воздухе мушек отливали золотом. Первоцветка поймала пеструю божью коровку, посадила себе на руку и пропела ей песенку, чарующую детское воображение таинственностью и похожую на мечту:

— «Божья коровка, покажи мне ту сторонку, где мой суженый живет!»

Букашка расправила крылышки, встрепенулась и вдруг вспорхнула высоко-высоко.

Первоцветка потеряла ее из вида, и какая-то тяжесть легла ей на сердце. Кругом все затихло. Даже колокольчик перестал звенеть. Испуганная этой внезапно наступившей тишиной и тайной, которую она поведала маленькой букашке, девушка боязливо оглянулась и запялась венком.

Вдруг все стадо кинулось врассыпную. Колокольчик тревожно зазвенел. С шумом раздвинув кусты, появился лесник, такой же румяный и красивый, как накануне.

— Добрый день, девушка! — промолвил он.

Первоцветка хотела ответить, но не могла произнести ни слова.

Лесник сел рядом с ней, взял у нее венок, стал рассматривать.

— Что ж не доплела?

— Дай сюда! — воскликнула она и вырвала венок у него из рук.

— На, возьми. А как доделаешь — мне дашь.

— Это еще посмотрим,— насупившись, ответила Первоцветка.

И ее вдруг охватил гнев на этого усатого. Она вспомнила доброго дедушку Мартина и пожалела о нем.

— Где дедушка Мартин? — вдруг спросила она.

— Его перевели.

— Он такой добрый был!.. И какие расписные прялки умел делать...

— Добрый! Понятное дело... Почему бы такому старику добрым не быть. У него ни одного зуба во рту нет. А у

меня — гляди! — И лесник оскалил зубы, как волк при виде ягненка, прибавив со смехом: — Так тебя и съем!

Это Первоцветке не понравилось. Она вскочила и выпрямилась.

Наступило тягостное молчанье.

— О чем задумалась? — спросил лесник.— Садись, кончай венок-то.

Немного поколебавшись, Первоцветка собрала рассыпавшиеся по траве цветы, села и молча взялась за венок.

— Сердитая ты еще краше! — сказал лесник.

Первоцветка ничего не ответила.

Лесник достал из сумки кусок сахару и кинул ей в передник.

Первоцветка с сердцем швырнула его прочь.

Лесник бросил еще кусок.

— Экой ты! — промолвила она и не могла удержаться от смеха.

Лесник бросил третий. Первоцветка взяла и замахнулась им на лесника. Тот наклонился к ней, открыв рот.

— Прямо в рот кидай!

Первоцветка ударила его сахаром по лбу и весело засмеялась.

— Получил?

— Теперь ты открой рот. Увидишь, как ловко я попаду,— сказал лесник.

Первоцветка, быстро сменив гнев на милость и по-детски увлекшись игрой, открыла рот.

Лесник приблизился к ней и положил кусочек сахара в ее открытые, словно распустившаяся роза, уста.

Первоцветка со смехом стала грызть.

Лесник высыпал на траву целую кучу колотого сахара и начал расставлять кусок за куском вокруг нее в виде изгороди.

— Посмотрим: хватит, чтоб огородить тебя, или нет?

— Послушай, оставь хоть дверь, а то мне не выйти,— весело промолвила Первоцветка, глядя, как он хлопочет вокруг нее.

Каждый раз, когда он наклонялся, она чувствовала тепло, волнами исходящее от его красивого, мужественного лица. Игра ей понравилась. Лесник уже не казался ей дурным человеком. Он был совсем не похож на других. У него столько сахару, он такой веселый, такой балагур, так складно говорит! Она глядела на него, словно зачарованная, со страхом и трепетом, не в силах уйти. Он казался

ей каким-то царем, богатым, могущественнным, которому все покорно, который может сделать все, что захочет.

— Вот наш дом,— сказал лесник, достроив изгородь.— А ты, скажем,— моя женка!

И поглядел в глаза девушке долгим взглядом, как орел, высматривающий с вышины полевую мышку.

Первоцветка потупилась.

— Больно нужен мне такой дом. От первого дождя растает! — сказала она.

— Я для тебя другой построю. Только выйди за меня,— ответил лесник и схватил ее руки в свои могучие лапы.

— Пусти! Только зря болтаешь! — рванулась она.

Тогда он сжал ее, как ребенка, в своих сильных объятиях и заговорил тихо, нежно:

— Ты красавица, Первоцветка! И уже не маленькая. Взрослая девушка! Я люблю тебя, хочу жениться на тебе. Ты в городе царицей будешь. Красивей всех. Я тебе платьев нашью, каких только захочешь. Все, все, чего ни попросишь, для тебя сделаю.

Завороженная этими речами, побежденная его нежностью, застигнутая врасплох, растерянная, Первоцветка, замирая от стыда, упала к нему на грудь, словно ягненок под ударом ножа.

— Мил ли я тебе, скажи, Первоцветка? — шепнул ей на ухо лесник, и в чудной тишине весеннего дня упоительные слова его донеслись, казалось, с самого неба.

— Ты мил мне, мил,— еле слышно пролепетала она.

Тогда он тихо, осторожно положил ее на покрытую травой теплую землю.

Под вечер, когда этот прекрасный весенний день уже догорал, Первоцветка шла, наклонив голову, за своим стадом по направлению к селу. Рядом, ростом вдвое выше ее, с ружьем за спиной, шагал лесник, говоря:

— Ни о чем не тревожься. Завтра пригоняй стадо опять туда. Всю неделю будем каждый день встречаться. А потом обручимся — и дело с концом.

Первоцветка доверчиво слушала его, и детские мечты рисовали ей чудное будущее, в котором она запутывалась, как мушка в золотой паутине.

На другое утро она опять погнала стадо на ту же поляну.

Было все так же тепло и ясно, но Первоцветка уже не

пела и не покрикивала на овец, смирно пасшихся среди кустов. Сидя, как на троне, на большом камне, босая, с распущенными волосами и прялкой в руках, она была похожа на осиротевшую сказочную царевну. Взгляд ее был устремлен на лощину, где извивалась дорога в лес. Как только вдали показывалась человеческая фигура, девушка вскакивала, словно дикая коза, тревожно выпрямлялась на скале, вся замирая от волнения, и впивалась в эту фигуру таким пристальным взглядом, что у нее темнело в глазах. Она протирала их и, прикрыв ладонью, смотрела опять. Ноздри ее расширялись, душу охватывал непонятный сладкий трепет.

Целый день провела она в лихорадочном ожидании, но лесник так и не пришел. Лежавший рядом букет увял. Вечером она вернулась со стадом в село подавленная, полная отчаянья.

На следующий день она опять пришла на то же место и ждала. И опять напрасно. Цветы, приготовленные для него, вяли, умирая у нее в руках. Кроткие овцы осторожно подходили к ней, глядели на нее спокойным, долгим взглядом, и в бесстрастном взгляде этом был безмолвный, печальный и ласковый вопрос. Но она не гладила их, не кормила из рук, и они отходили с тяжелым вздохом.

Лесник опять не пришел. Не пришел он и на четвертый и на пятый день. А вместо него пришел дедушка Мартин.

— Ты опять здесь, дедушка Мартин? А тот где? — с удивлением и трепетом спросила Первоцветка.

— Он в Варненскую область уехал... Его туда перевели. У него жена заболела. Ты как живешь? — спросил добрый дедушка Мартин.

Первоцветка ничего не ответила. Все поплыло у нее перед глазами. Ошеломленная, она села на камень.

И ее бедное сердечко пронизала такая боль, какой она еще никогда не испытывала.

1906

САМОДИВА

Это лето я проводил в селе, в моем прекрасном селе, всегда залитом лучами солнца, расположенном на живописной возвышенности, с которой открывается, в широком обрамлении далеких гор, неоглядное пространство холмов и равнин, сверкающее под небесами, устланное большими по-

лотницами черных паров, зеленых посевов и пестрых лугов.

Мне исполнилось восемнадцать лет. Я не знал никаких забот. У меня были ружье и собака; охотничья страсть владела мной. Летние сельские ночи, напоенные дыханьем полевых трав, сладко убаюкивали меня на груди матери-природы. Утром, когда над сонным лесом белой вуалью плыли тонкие, легкие испарения, тающие в первых лучах дня, я вскидывал на плечо ружье и уходил бродить до вечера по окрестным лесным дебрям, богатым родниками и дичью. Я дышал горным воздухом, пил ключевую воду, питался черствым хлебом, который всегда носил в сумке, беседовал с птицами, подражая их голосам, обнимал стволы больших буков или ветви стройных дубков и резвился в лесу, словно какое-нибудь молодое животное. И когда откуда-то с полей доносился звучный хор молодых девичьих голосов, я вздрагивал, слыша шум горячей крови, наполнявшей мои жилы, издавал ликующий крик, стрелял из ружья, и лес посылал мне восторженный отклик. По вечерам, когда горные вершины покрывались золотом, долины наполнялись тенями, лес затихал и в него крадучись проникала, ведя за собой странные призраки, ночь, я со своей собакой спускался по каменистым склонам и, мимо Лиловых кошар, шел к себе в село.

Я всегда возвращался именно этой дорогой. Там в это время гнала домой свое стадо молодая пастушка Калинка Лилова, и что-то тянуло меня туда.

Идя низом, я видел на высокой скале у дороги тонкий силуэт Калины, как бы вырезанный на вечернем небосклоне. Она стояла на скале, босая, без платка на голове, с палкой под мышкой, вязала чулок и пела. Вокруг мирно паслось разбредшееся во все стороны стадо, и нежный звон колокольчиков умиротворяюще дрожал в вечерних сумерках. Увидев меня, она переставала петь, что-то кричала овцам и скрывалась из виду. Через некоторое время вдали опять слышалось ее полнозвучное пение, громкое, протяжное, со странными выкриками.

Голос ее разносился в спокойной вечерней тишине с какой-то дикой удалью, вызывая в моем воображении страшные картины злодеяний, грабежей, убийств. Собака — и та, словно чуя какую-то опасность, шла у ноги, боязливо озираясь.

Калине было шестнадцать лет. Эту худенькую, стройную, хорошенькую девушку прозвали Пшеничкой. У нее были большие ясные глаза, синие, как васильки, а лицо

такое миловидное и нежное, будто само солнце лелеяло его.

Меня неудержимо влекло к ней: мне хотелось слышать ее голос, видеть ее, и казалось, что она тоже тянется ко мне. Но когда я заговаривал с ней, она вся вспыхивала, сзывала овец и убегала.

Как-то раз я застал ее возле родника в лесу. Наклонившись, она плескала водой себе в лицо. Увидев меня, она вздоргнула. Лицо ее, мокрое и покрасневшее от холодной воды, дышало юностью и свежестью. Смутившись, она поправила концы платка на голове и застыла над родником, словно маленькая трясогузка. Я хотел было поздороваться с ней, но промолчал. Собака подбежала к лужице и начала шумно лакать воду.

— Ишь как пить захотела,— промолвила девушка.

— Устал пес,— ответил я.

— Еще бы не устать: целые дни шатаетесь! — сказала она со смехом и принялась внимательно рассматривать собаку, которая отбежала в сторонку и, тяжело дыша, облизывалась, а с мокрой морды ее капала вода.

— У, противная, видеть ее не могу! — сказала девушка с жестом отвращения.— Бродишь ты, бродишь, а ни разу я не видала, чтобы с добычей домой шел,— прибавила она, обращаясь уже ко мне.

Зная, что слова ее не могут не задеть меня, она засмеялась. Я ничего не ответил. Она глядела на меня в упор своими чудными синими глазами.

— Видала я таких охотников!

И на лице ее опять заиграла загадочная, вызывающая, очаровательная улыбка. Сверкнули ее белые, будто сгрудившиеся овцы, зубы.

— Позавчера, кабы не я, ты зайца убил бы...

— Как так?

— Собака хорошо по следу пошла, а я ее обманула, сбила...

— Зачем?

— Тебе назло.

На лице ее снова промелькнула и спряталась улыбка. Словно солнце: выглянет из-за туч, озарит на мгновенье поле и снова скроется.

— Значит, ты меня ненавидишь?

— С какой стати? Разве нельзя позлить кого-нибудь просто так?

Солнце опять скрылось за тучу.

— Ты куда ходила?

— Колокольчик искала... Тебе нигде не попадался колокольчик?

— Нет. Какой колокольчик?

— Да Серая вчера колокольчик потеряла.

— Какая Серая?

— Серая, овца наша. Не жалко мне колокольчика, а жалко ошейника, что я из монист ей сделала. Такой хорошенький, и я была такая маленькая, когда его мастерила.

— Ты и теперь маленькая.

Она обиделась и сделала строгое лицо.

— Не такая, как тебе кажется. Господи,— прибавила она,— все-то меня дразнят, что я маленькая. Все насмехаются.

— Не может быть. Такая хорошенькая девушка...

— Да, хорошенькая! Видишь, какая желтоволосая. За это и окрестили Пшеничкой; говорят, похожа на спелый колос. А глаза у меня как у кошки. У нас не любят русых.

— Ты скорей похожа на пион в поле, чем на колос.

— Еще чего выдумал! Господи, в кого я только уродилась? Ни на кого в селе не похожа. Все черные, словно цыгане, одна я русая, как самодива.

— Ты должна гордиться: волосы у тебя золотые, а глаза морского цвета...

— Как, как? Морского?

Она захохотала. Смех ее, свежий, певучий, словно выплескивался из родника.

— А тебе нравятся русые? — вдруг спросила она.

— Конечно.

— Глупый какой!

Калина поглядела на меня долгим проникновенным взглядом. Радость и обида боролись в моем сердце. Я чувствовал, что погибаю, что это маленькое создание, похожее и на серну, и на лисицу, и на колос, и на цветок, и на воробья, и на бесенка, целиком овладело мной.

Вечерний сумрак понемногу проникал в лес. Мы с Калиной молча пошли вместе. Вокруг все притаилось. Только где-то вдали без умолку тревожно ворковала горлинка. В воздухе пахло сыростью и листвой. Не обменявшись ни словом, поднялись мы на холм, с которого были видны их шалаши, и спустились по каменистой тропинке вниз. Закат догорал. Душа моя, полная чем-то теплым, отрадным, неизъяснимо прекрасным, таяла, подобно угасающему дню, в нежном дыхании тихого летнего вечера. Калина, Пшеничка, идя рядом со мной, по временам наклонялась, чтобы сорвать цветок с куста. Она казалась мне прекрас-

ней сказочной царевны. Она шла легкой поступью, и мне чудилось, будто какое-то видение вышло из недр лесных, чтобы проводить меня с букетом полевых цветов в руках.

— Кого ты любишь? — спросил я.

Она остановилась, поглядела на меня и ничего не ответила. В сумерках глаза ее казались темными.

— Наш батрак Лукан часто говорит о тебе.

Она засмеялась и вдруг повернула — прямо сквозь кусты — к шалашам.

— Прощай!

Я остался один, и сердце мое сжалось от боли.

Сам не знаю, почему заговорил я с ней о нашем батраке Лукане. Это был бедный, тихий, робкий парень лет двадцати пяти, с доброй, безмятежной, мечтательной душой. Мы с ним часто ночевали в дощатом шалашике возле нашего луга, там, где начинались посевы кукурузы, неподалеку от шалашей Калинки. По вечерам, сидя у тлеющего костра, Лукан рассказывал мне длинные сказки о бедных юношах, которым с помощью всяких колдуний, разных волшебных предметов, воронов, лисиц удавалось жениться на царевнах. Его тихая, плавная речь была похожа на однообразное шуршанье кукурузных побегов. Иногда он садился на пороге и, вынув свирель, принимался задумчиво наигрывать протяжные, печальные мелодии. Мечтательная душа его изливалась потоком упоительно нежных звуков, в которых было все: и ширь полей, и шум колосящихся нив, и веселое журчанье ручья, и пение речных струй, и далекий отзвук девичьего смеха и девичьей песни, и устрашающая таинственность сумрачной лесной чащи.

— Ты знаешь Калину, Пшеничку? — спросил он меня как-то раз.

— Знаю.

— Красивая девушка, правда?

— Очень красивая.

Он вздохнул.

— Ты что вздыхаешь? — в свою очередь спросил я.— Или влюбился?

— Что ты, что ты! Куда мне до нее? Ведь она — солнце, а я — земля в грязи.

Он произнес это так хорошо, так сердечно, так поэтично, взглянув на меня при этом печально своими кроткими глазами. Дивная мечта вспыхнула в них — и тотчас угасла. Исполненный тоски вздох вырвался из груди. На лице застыло скорбное выражение...

Вскоре я опять встретил в лесу Калинку. На голове у нее красовался венок из буковых листьев, цветов и бурьяна. Глаза ее были необычайной синевы. Она шла по тропинке, вертя в руках длинную палку, подпрыгивая и беззаботно напевая. Увидев меня, она смутилась.

— Все колокольчик ищешь? — спросил я.

— Нет. Кто его знает, куда он девался. А если ты найдешь — отдашь мне?

— Я его Лукану отдам, чтоб он тебе передал,— опять невзначай напомнил я о Лукане.

Шутка моя оказалась неуместной. Калинка рассердилась, сверкнула, как молния, глазами и, встав прямо передо мной, вперила в меня злой взгляд разъяренной гадюки. Мне стало тяжело на сердце,— я раскаялся, вернее, испугался того, что натворил. Но, почувствовав жестокий укус ревности, продолжал:

— Лукан — хороший парень. Я знаю: ты его любишь.

— Что ты в глаза мне тычешь своим Луканом? — со злостью спросила она.

И отрезала:

— Конечно люблю.

Слова эти пронзили мне сердце мучительной болью.

А она подошла ко мне вплотную и, постучав кулачком о кулачок, промолвила сквозь зубы:

— Вот и мучайся, голубчик.

И злорадно захохотала, так что смех разнесся по лесу. Я чуть не заплакал. Вдруг она смягчилась, поглядела на меня с состраданием, уронила палку, протянула свои маленькие ручки, молча страстно кинулась ко мне на шею, впилась губами в мои губы и замерла у меня в объятиях.

Прижав к себе ее трепещущее маленькое тело, вдыхая лесной запах, исходивший от ее волос, я от неожиданности не знал, что сказать. Наконец она выпустила меня и отскочила.

— Понял?

Потом, нежно ударив цветком по лицу, шаловливо прибавила:

— Барчук!

И скрылась в кустах.

Голова моя пошла кругом,— я был не в силах позвать беглянку. От волнения у меня дрожали колени; я сел на траву. В листьях плясали солнечные лучи, рассыпаясь червонцами по земле. Веселые лучи эти залили мою душу, и она весь день была полна светом и теплом.

А лес благоухал дивными Калинкиными волосами.

Спускаясь вечером по козьей тропе к их шалашам, я вдруг так и обмер: наверху, на высокой скале, стояла Калинка, без платка, босая, белея рукавами рубашки, с развевающимися волосами, с палкой под мышкой, и плела венок. Фигура ее выступала на огненном небосклоне, подобно бронзовой статуе какой-нибудь легендарной пастушки библейских времен.

Она пела с выкриками. Казалось, какая-то добрая птица подает сигналы, указывая путнику дорогу.

Заметив меня, Калинка умолкла и исчезла. Мне так хотелось увидеться с ней! Весь день ждал я этого вечернего часа. В сладостном утомлении я остановился на дороге.

Вдруг на голову мне посыпались цветы — целая охапка. Надо мной раздался певучий смех Калины и быстрый топот убегающих босых ног. Я прижал к сердцу цветы, упавшие мне на грудь, и стал ждать. Но она так и не появилась.

Всю ночь напролет, лежа в дощатом шалашике на постели из свежего сена, мы с Луканом проговорили о Калине — до тех пор, пока звезды не начали таять в посветлевших небесах.

На другой день, когда она проходила по тропинке через наш луг, возвращаясь от колодца с полными ведрами воды, я остановил ее.

— Дай напиться.

— До колодца рукой подать. Пойди и напейся, коли жажда одолела,— сердито ответила она.

Взгляд ее был строг и насмешлив.

— Дашь ты мне пить или нет? Это штраф за то, что ты ходишь по нашему лугу.

— Еще что вздумаешь? — спросила она с вызовом.

Кровь закипела у меня в жилах; я онемел от гнева, любви и обиды. А она глядела на меня испытующе и насмешливо своими большими синими глазами. От этого взгляда так и веяло холодом.

— Говори что хочешь,— сказала она,— только не воображай, будто ты больно мне нужен!

И, захохотав, убежала. Мне показалось, что увяли все цветы на лугу, умолкли все кузнечики, улетели все птицы и я остался один-одинешенек где-то между небом и землей. Светлый мир моей юности потемнел, лучезарное настроение затмили черные тени.

На другой день рано утром в дверь шалашика кто-то постучал.

— Вставай, соня! — послышался веселый голос Калины.— Зайцы по тебе соскучились.

Я вскочил. Лукан уже ушел на работу. За дверью стояла Калина.

— Спишь, как младенец божий. Хорошо тебе! А я вон когда встала... Знаешь что?

Она сияла радостью. Нависшие над моей душой черные тучи стали расходиться.

— Что? — спросил я.

— Я нынче весь день одна.

Я стоял на пороге и глядел на нее, сгорая от любви и замирая от страха, как бы она не ушла.

— Дай-ка я посмотрю твой шалаш.

Я посторонился.

Она порхнула внутрь, словно воробей в гнездо, и кинулась на сено.

— Да у тебя царское ложе! Иди сюда. Что стал, как пень?

Я покорно вошел. Она захлопнула дверь ногой...

С тех пор я уже редко ходил на охоту. Калина стала для меня всем на свете. Мы постоянно встречались в шалаше, в лесу, у родника и в бузиннике между посевами кукурузы, где устроили себе волчье логово. Разлучаясь, мы умирали от страстного желанья снова видеть друг друга. Калина, Пшеничка, нежный колос, превратилась в роскошный, полный жизни, хищный цветок; она целые дни распевала, кричала, жаждала объятий. А я сник, побледнел, и в глазах у меня появилось виноватое выражение.

В это время к нам приехали на лето дальние родственницы из города — две старые дамы и хорошенькая барышня Николина, только что окончившая гимназию. Две длинные каштановые косы с синими бантами вились у нее по спине. Она еще ни разу не была в деревне и все рассматривала с любопытством, словно попала в чужую страну.

На другой день я повел гостей на тот самый луг, где ночевал. Николина стала бегать по траве, кричать, петь, словно вырвавшаяся из клетки птичка. Все здесь было ей внове. Она никогда не видала косцов, аистов. Эта большая благородная птица, всегда одиноко летающая в лугах, страшно ее заинтересовала. Николина спрашивала у меня названия деревьев, цветов, гор, дивилась моим познаниям и глядела на меня с благоговением. В этот день я надел не рваную охотничью одежду, а парадный костюм, воротничок и новую соломенную шляпу. После завтрака в тени большого дуба мы с Николиной отправились к роднику.

Николина шла, опираясь на мою руку, тесно прижавшись ко мне, и не было конца ее расспросам и восторгам.

У родника стояла Калина. Увидев меня под руку с какой-то девушкой, она побледнела. Видимо, и я обнаружил волнение, так как моя спутница, поглядев внимательно на нее и на меня, спросила:

— Кто это?

— Здравствуй, Калина! — промолвил я.

Калина не ответила, быстро подхватила ведра и ушла с поникшей головой.

Вечером мне не удалось с ней повидаться, как между нами было условлено. Но на другой день я встретил ее возле ее шалашей. Она возвращалась с охапкой колосьев и серпом в руках. Завидев меня, она метнулась было в сторону, но я преградил ей дорогу.

— Ты что от меня убегаешь?

Поглядев на меня укоризненно и враждебно, она ответила:

— Уйди с дороги. У тебя есть невеста!

— Неправда.

— Я видела. Уходи!

Серп сверкнул у нее в руках. Замахнувшись им, она чуть не выколола мне глаза, потом что-то буркнула злобно, угрожающе и убежала.

После этого случая я несколько дней нигде ее не встречал, не видел ее тонкого силуэта на скале, не слышал ее пения. Это терзало меня. Я бродил вокруг шалашей, подстерегал ее, спрятавшись в кукурузе,— все напрасно. Лукан ночевал теперь один в шалаше на лугу. Я несколько раз спрашивал его, не видал ли он Калины. Он сухо отвечал: «Нет!»

Однажды лунным вечером, когда я выходил из своей засады в кукурузе, мне показалось, будто из нашего шалаша выбежала женщина и быстро скрылась в рощице. Вслед за тем послышались звуки свирели; это играл Лукан. Громкие, страстные, томительные звуки наполнили мою душу мукой ревности.

Кто эта женщина? Уж не Калина ли, моя маленькая Пшеничка? Я был вне себя.

Решил их выследить. Как-то вечером я дотемна просидел, спрятавшись в роще, потом прокрался к оставленному до утра на лугу возу сена и влез на него. Оттуда я увидел освещенный костром шалаш Калины. Там долго мелькали человеческие тени. А когда все стихло, на лугу показалась темная фигура Лукина; подойдя к возу, на ко-

тором я лежал, он сел и заиграл на свирели. Так проникновенно, так трогательно, с таким увлечением он еще никогда не играл! И вот на его страстный зов откликнулось одно сердце. Легкая женская фигура, с белым платком на голове, отделилась от шалаша и перебежала через луг. Свирель Лукана умолкла. Послышался шепот, и я узнал голос Калины под самой телегой.

Любовный шепот! Умолкшая свирель! Тихая летняя ночь! Аромат сена. Ревность, любопытство, угрызения совести... Мне казалось, что я растворился в воздухе вместе с этим запахом сена, превратился в какое-то никому не нужное, жалкое ничто.

— Не могу,— уловил мой слух угрюмое возражение Лукана.

— Трус! Как заснет, выстрели в него из ружья, подожги шалаш и беги.

— Что ты, что ты!

— Когда он придет спать в шалаш?

— Завтра вечером.

— Подумай до завтрашнего вечера, а то и тебе плохо будет.

— Калина, я ему расскажу.

— Ах, Лукан, Лукан, ты не любишь меня,— зашептала она, сопровождая свои слова поцелуями.

Они затихли, и я больше ничего не слышал. Наконец две темные тени их, прильнув друг к другу, пересекли луг и исчезли, как призрак.

На другой день я сидел у нас в саду, размышляя о ночном происшествии. Мне хотелось отыскать Калину, объяснить ей, как я страдаю, сказать, что мне стал известен ее замысел, и гордо, великодушно простить ее. Ко мне подошел Лукан; он был подавлен и избегал моего взгляда.

— Не нравится мне что-то погода нынче вечером,— запинаясь, промолвил он.

— Почему? А я как раз собираюсь прийти на ночь к тебе в шалаш.

— Нет, мне сегодня не хочется ночевать там. Я не пойду.

— Ну так я переночую один.

— Ночи теперь холодные, сено убрали, в поле — никого. Что ты будешь делать в шалаше? Переночуем лучше здесь, на току. Я расскажу тебе хорошую сказку. Не все ли равно, где ночевать?

Лукан долго уговаривал меня остаться; в голосе его звучали страх и отчаяние.

— Брось ты этот проклятый шалаш. Мы не волки, чтобы спать в лесу. Сказать по правде, мне дурной сон приснился... Насчет шалаша.

Я долго молчал. Лукан почесал себе затылок и тоже умолк в ожидании. Я понял, что он боится Калины и в то же время хочет предупредить меня об опасности.

— Ну, коли так, ладно: не пойду,— сказал я наконец.

В прекрасных глазах доброго парня сразу заиграла улыбка, заблестела слеза. Он отвернулся и медленно зашагал прочь. У него отлегло от сердца.

Утром я кружным путем, через рощу, пошел на луг. Шалаш сгорел. Дотлевали последние угли. На скале у дороги стояла Калина и, не отрываясь, глядела на дым. Увидев меня, она вздрогнула, как-то странно на меня посмотрела и, словно испуганная птица, с легким криком скрылась из глаз.

1910

МЕЧТАТЕЛИ

Сельский знахарь дядя Горан, завернув штанины шаровар до колен, повесив сумку на плечо, согнувшись, бредет в реке, ища пиявок. Он идет медленно, внимательно переворачивая каждый уснувший в спокойной водице камень и всматриваясь в нежно ласкаемый струями бархатный песок возле берега. Шапка его сдвинулась на затылок и еле держится на одном ухе, но он, увлеченный своим занятием, не находит минутки свободной, чтобы поправить ее, и шагает дальше, вытянув шею, попыхивая трубочкой, засунутой в угол рта, и продолжая поиски. Полуденные лучи майского солнца падают на него в отвес, и потную рубаху у него на спине облепил целый рой блестящих маленьких мушек, предвестниц засушливого лета.

Так проходит он овраг, пробираясь под наклоненными вербами и ракитами, и выходит на простор лугов, где река течет медленно, разливаясь вширь, и греется на солнце между совсем почти голыми берегами. Покрытые буйной травой просторные луга смеются в солнечных лучах, кузнечики трещат дружно, усердно, празднично. Река, обласканная солнцем и привечаемая жаждущей ширью, течет тихо, неспешно, лаская золотой песок на берегу и время от времени чуть всплескивая, словно вздыхая. И трава и цветы вокруг тянутся к ее освежающему дыханию.

Дядя Горан выпрямился, посмотрел вокруг.

Далеко в лугах бродит человек. На каждом шагу он останавливается и долго копает палкой в траве,— видно, что-то ищет.

Дядя Горан заслоняет мокрой рукой глаза от солнца, долго всматривается,— потом, вынув трубку изо рта, кричит:

— Рустем! Эй, Рустем!

Парень на лугу остановился, прислушался, обернулся. Дядя Горан махнул ему рукой, и Рустем направляется к нему — с улыбкой, которую словно кто-то забыл у него на лице. Подойдя, он останавливается на берегу, опершись на палку, как овчар. Юное, худощавое, смуглое лицо его перестает улыбаться. Из-под ветхой, вытертой шапки над ушами выбились тяжелые черные кольца волос. Разорванная грязная рубаха распахнута и открывает узкую худую грудь. Стройное тело высоко подпоясано рваным алым поясом, будто обвито тюрбаном. Штанины вылинявших латаных шаровар снизу до колен расстегнуты и свободно мотаются над босыми ногами. Он стоит на берегу, легкий как ветер, похожий на какое-то водяное насекомое, готовое вот-вот взлететь над тростником. Черные глаза его глядят из глубины глазниц, пламенея какой-то далекой мечтой.

— Чего по лугам шатаешься, как неприкаянный? Или кошель с деньгами потерял? — спросил дядя Горан.

Молодой цыган засмеялся, смущенно опустил голову и принялся постукивать палкой по камню.

— Да так... Хожу себе... от нечего делать!

Дядя Горан опять углубился в свое занятие.

— Поймал, поймал сколько-нибудь? — спросил Рустем, двинувшись в том же направлении по берегу.

— Поймал немного; пускать кровь — хватит.

— А правда, доктора нынче не позволяют пиявки ставить?

— Чего они понимают, доктора-то...— проворчал дядя Горан, выпрямляясь.— Только и знают деньги брать. Какой от них толк? Заболел — возьмут тебя в больницу: тут постукают, там постукают, язык высунь, глаза вытаращи, дыхни, кашляни,— да не разобравши, что за болезнь, на пять грошей отравы пропишут — и дело с концом. А на другой день закурили папиросы, засмеялись и давай брюхо пороть: чем, дескать, ты болен был?

Дядя Горан вышел из реки, вытер руки о шаровары, набил трубку, и, махнув рукой, с раздражением продолжал:

— Ты думаешь, кто эти самые болезни развел, что всем светом завладели? Доктора из Европы принесли — для опытов. Было время, знали только оспу, ветрянку да сибирскую язву... И то редко, и леченье простое. А нынче?.. И заворот кишок, и чахотки всякие, и нервы, и головные боли, и не знаю — какие еще болезни... И никакого лечения. Сколько докторов, столько способов разных.

Дядя Горан сделал несколько быстрых затяжек и медленно побрел к близким вербам.

— Отдохнем маленько.

Рустем тоже пошел туда. Войдя в тень, дядя Горан скинул с плеча сумку, тяжело опустился на траву и снял шапку. По его продолговатому загорелому лицу бежал ручьями пот. Цыганок остановился против него и стал смотреть, с каким наслаждением и жадностью он курит.

— Садись,— промолвил дядя Горан, продолжавший молча негодовать на врачей.

Цыганок не спеша сел на землю и устремил взгляд в туманную даль.

— Шарлатаны — одно слово,— опять начал дядя Горан.— Племянник мой рассказывает: в солдатах заболел — ну, в больницу его отвезли. Разные микстуры да порошочки пить давали, чуть было не отравили парня. Раз похлебку принесли: черпнул, а в ложке — палец человеческий, и на нем кольцо...

Цыганок испуганно уставился на дядю Горана.

Но тот замолчал. Взгляд его остановился на чем-то вдали. Там, в лугах, по дороге к селу толпой валил народ. Тянулся длинной вереницей среди зреющих нив, заполняя всю дорогу. Слышались пискливые звуки волынки.

— Свадьба? — промолвил дядя Горан, вопросительно взглянув на цыганка.

— Нет, выборы! — ответил Рустем.— Это шуплевские идут.

— Ах ты, волки их заешь! — сказал ведун, пустив плевок сквозь зубы.— Таскаются по выборам, хлопочут, из кожи лезут, пакости друг другу строят,— а что толку? Все хуже и хуже идет, лучше не становится! Народ — волки его ешь! — положился на разных франтов городских, докторов, проходимцев всяких, и думает, будто бог знает какие великие дела вершит. Коли ты беден, друг,— твое дело дрянь. Всякий, кому не лень, вокруг пальца тебя обведет, как хочет будет тобой вертеть... Дома хоть шаром покати — ну и бегай, горемыка, по всему селу, проси муки ре-

бят накормить; а барин городской — кто он там ни на есть, скажет тебе: ты, милый, думаешь, у тебя ничего нет, ан ошибаешься; у тебя, скажет, самое великое богатство на свете — избирательное право. И сунет тебе щеголь этот самый в руки какой-нибудь там бюллетенчик, и ты, почесавши затылок, опустишь этот бюллетенчик в ящик — и вот уже принялся разбойник тобой командовать. Я на такие дела не ходок. С души воротит глядеть на все это. И ребят своих учу так поступать. На кой им все это нужно? Пускай овцы себе овчара выбирают. Хоть Волкана, хоть Волчана — один черт... Стойте в сторонке, ребята, говорю своим, лайте, рычите, как собаки, только овцами не будьте. Подальше от этих гадостей!

Дядя Горан выбивает трубку на ладонь и, откусив соломку, начинает чистить чубук. Рустем сидит неподвижно, чуждый мыслям и гневу знахаря. Взгляд его блуждает вдали, глаза горят, ничего не видя. Солнце жарит, а река словно остановилась в тени верб и не движется.

— Эх-х, сердчишко человеческое, мало ты страдало — еще пострадай! — вздыхает знахарь.

Вода сонно прожурчала у корней и опять заснула.

— Хожу я, парень, по полю,— продолжал он после долгого молчания,— лягу где-нибудь в тени, гляжу в небесную высь и думаю: господи боже мой, что ты не дашь мне способность такую, чтобы вот я сказал — и было бы по-моему. Я бы тебе весь мир раем сделал. Ни болезней, ни страданья, ни бедности бы не было.

Цыганок вздохнул. Повернувшись к знахарю, он робко спросил:

— А можно, дядя Горан, в наших местах разрыв-траву найти?

Тот поглядел на него искоса и промолвил:

— Можно... Только трудно.

— Эх, кабы найти! — вздохнул цыганок, взволнованный далекой перспективой неизведанного счастья.

— Редкая это травинка, Рустем. Больно редкая...

— Я уж два лета ищу, дядя Горан, и еще два искать буду, а найду.

Цыганок горел, как свеча, неясной, темной надеждой.

Оба умолкли. Некоторое время царила тишина. Маленькая тучка проплыла под солнцем и исчезла. Неподалеку дятел стукнул многозначительно три раза по стволу старой вербы и спрятался.

— У кого эта травка есть, тому больше ничего не надо,— вздохнул Рустем.— У того будет все, чего он только

захочет. Коня заведет такого, чтоб звезды с неба доставать, скрытый клад найдет, на девушке женится, которую сердцем пожелает.

— Гмм,— улыбнулся знахарь.— Акима тебе голову вскружила, парень. Не показывай своей слабости женщинам, а то никакая разрыв-трава не поможет. Будешь по полю бродить привидением, сердце себе надрывая.

Цыганок покраснел от стыда, и глаза его подернулись влагой любовного воспоминания.

— Акима не хочет больше идти за меня.

— Не хочет добром, так увозом бери.

— Да я уж схватил было раз, дядя Горан, а она — в слезы, отпустить просит. Ну, я пожалел, отпустил.

— Больно ты жалостливый, братец.

— Она еще прошлый год сказала мне: ждала я тебя, Рустем, больше не могу. Замыкаю сердце свое. Теперь только разрыв-травой разомкнешь его. С тех пор вот повсюду хожу, разрыв-траву ищу. Все поле обыскал, травинку за травинкой. Не ем, не пью — хожу, ищу.

— Ищи, ищи, милый; может, повезет,— ответил знахарь и глубоко задумался.— Как нам жить, не гоняясь за мечтою?

Он развязал кисет и, вытряхнув пепел из трубки, начал, сопя, понемногу набивать ее. Было уже далеко за полдень, и тени верб, словно томимые жаждой, приникли к реке.

— Ты белую кукушку видел, Рустем? — многозначительно спросил знахарь и, важно покачав головой, сильно затянулся трубкой.

— Не видал, дяденька.

— Гм, я — тоже...

— А бывают? — спросил цыганок, вытаращив глаза от любопытства.

— Бывают, как же, да где увидишь? Попадись мне такая, я бы наделал делов. Было время, мы с отцом на Тузлук ходили искать. Говорят, там ее видели.

— А на что такая птаха? Летом — ку-ку, ку-ку, а зимой — улетела в заморские страны.

— Эх, ничего-то ты не знаешь, парень... Еще в старые времена был где-то церковный клад — в пещере одной. Да какой клад-то! Триста буйволовых шкур, полных золота. Как прятали, пятьсот ступенек ко входу пещерному в скале выбили, а потом одну за другой заровняли. А впереди, у самой норы, змей сидит — стережет. Да какой... Страшное дело!

— И-и-и! — воскликнул в испуге цыганок.

— Только не живой, сделанный. И пошло на него сто ок воску, а чешуя — из червонцев, а глаза — камни драгоценные.

Цыганок зачмокал губами от изумления, завороженный волшебными речами знахаря.

— В этой вот пещере и живет белая кукушка, которую господь бессмертием благословил. Значит, не умрет она во веки веков. Та белая кукушка прежде царской дочерью была. Влюбилась в бедного солдата, часового в царском дворце. Отец рассердился и кинул солдата в печь огненную. Дочь с горя тоже кинулась и сгорела. Но бог превратил ее душу в белую кукушку.

Знахарь откашлялся и замолчал. Река тихо, ровно шумела, словно продолжая чудную сказку. Сердце Рустема, взволнованное подвигом влюбленной девушки, колотилось неудержимо.

— А потом что, дядя Горан?

Знахарь вытянул онемевшие ноги, закряхтел и встал.

— Коли увидишь эту кукушку,— сказал он,— поклонишься ей в землю и крикнешь три раза: «Сестрица, белая куковица, он все тебя любит!» — она сведет тебя в пещеру и отдаст скрытый клад.

И он снова вошел в реку, нагнулся и стал всматриваться в песок.

— Будь у меня разрыв-трава, я бы, может, увидел и кукушку эту! — сказал Рустем.

Он тоже встал, поглядел на солнце и пошел по лугу, копаясь палкой в траве.

День притих и, затаив дыханье, стал вслушиваться в мечтательную песню реки, в ее глубокие прерывистые вздохи, недомолвки, томления.

Дятел несколько раз громко стукнул в ствол старой вербы и тоже заслушался.

1910

ВЕСЕННИЙ СОБЛАЗН

В воскресенье утром отец Игнатий вскочил на своего быстрого вороного жеребчика, перекрестился, выехал за широкие монастырские ворота и пустился вниз, в поле — осматривать пашни и луга.

За синими горами на востоке, в море света и сияния, уже показался пламенеющий лик майского солнца, и проснувшееся зеленое поле ликовало, привольно и весело купаясь в его лучах. Всюду пахло весной, зеленью, роскошными всходами, кипенью плодовых деревьев. Где-то ворковала горлинка, вокруг цветущих слив жужжали пчелы. На межах посвистывал перепел, в терновнике шли любовные сражения неугомонных воробьев, поднимавшихся тучей и с чириканьем исчезавших над зелеными нивами. Сердце весны билось быстро, усиленно, и новая жизнь на земле лихорадочно готовилась воспользоваться прекрасным днем. Из соседнего села доносился набожный благовест, мягко дрожа в свежем утреннем воздухе.

Все это радовало отца Игнатия. Он бодро сидел на своем жеребчике, а тот быстро бежал игривой выступкой, довольно пофыркивая. Время от времени всадник гладил его пышную гриву, дружески приговаривая:

— Ах ты, Лука, Лука!.. Ну как? Хорошо тебе?

Лука понимал, фыркал сильней и терся светлой гривой об руку хозяина.

Отец Игнатий давно не выходил из стен монастыря и нынче в этом расцвете весны чувствовал что-то манящее, даже трогательное. Он радовался буйно зазеленевшему полю, и лицо его сияло. Разговаривал с гудящими пчелами и легко носившимися над зеленью пестрыми бабочками. Замкнутое монашеское сердце его расцветало от умиления, как цветок. Он озирался вокруг, словно вырвавшийся из клетки воробей, и смотрел во все стороны, по всем направлениям этой зеленой панорамы, на очертания этих далеких гор, такие чистые и так резко выступающие в просторах ясного, лазурного весеннего неба,— смотрел, дышал, мечтал, мурлыкал веселые песенки и словно молодел. Или — лучше сказать — становился ребенком, потому что и так не был стар.

— Ну, Лука, Лука! Хорошо тебе? — говорил он, трепля жеребчика по шее.

Тот гордо вскидывал голову и переходил на иноходь, а отец Игнатий легко подскакивал в седле, крича:

— Гоп-гоп, вперед, гоп!

Когда солнце взошло высоко и в поле стало жарко, отец Игнатий снял рясу, сунул ее под себя на седло и, придя в восхищение, вынул из переметной сумки бутылку водки. Основательно хлебнув, он почувствовал желание попеть и тихонько затянул на полуцерковный лад веселый напев какой-то деревенской песни:

Село все засудачило
О белой Ноне — вдовушке,
О вдовушке-разводушке,
Уж то ли село глупое!

Вокруг по-прежнему расстилались буйно зреющие нивы, готовые завтра заколоситься. Голос у отца Игнатия был низкий, но он пел тихонько, сладенько, больше для себя,— похожий на большого черного шмеля, вылетевшего из-под листа в лесу после дождя.

В поле пусто. На тропинках, извивающихся и бегущих в разных направлениях,— ни души. Это одиночество было приятно отцу Игнатию, так как позволяло ему мечтать на свободе и петь что вздумается.

Он еще несколько раз хлебнул из бутылки, и монашеская душа его скинула черную рясу, так долго ее скрывавшую. Плодотворящие силы земли заиграли в его крови. Он спел какую-то церковную песнь, благословил двух воробышков, спарившихся на суку прямо у него на глазах, и послал благодарность богу с взвившимся к небу жаворонком. И, частенько прикладываясь к бутылочке, улыбаясь некоей приятной мысли, им овладевшей, завел нечто вроде песни:

Эх, кабы мне!
Эх, повстречать!..

Отец Игнатий долго бормотал это. Одинаково, однообразно, на один и тот же голос:

Эх, повстречать!..
Эх, кабы мне!

Но вот он опять поднял бутылку, и мысль его отцепилась от этого сучка. Пришпорив жеребчика, он тем же голосом, но уже громче, прибавил:

Девку бы мне...
Девку бы мне...
Хоро-шую!

И, вздохнув, с одушевлением крикнул жеребчику:

— Эх, Лука, Лука! Любил ли ты, милый?

Лука фыркнул, словно не поняв, и прибавил шагу. Отец Игнатий запрыгал в седле, закричал:

— Гоп, гоп!.. Вперед, гоп!

И снова запел:

Эх, кабы мне!..
Эх, повстречать!..
Эх, хоро-шую!
Девку бы мне...

Солнце жарило, и в воздухе чувствовалась теперь истома. Вокруг усиленно трещали кузнечики. Нивы слабо волновались. Вдруг отец Игнатий остановил жеребчика, привстал на стременах и начал пристально всматриваться в какую-то далекую точку в поле. По сухому смуглому лицу его, теперь покрасневшему, пробежал призрак предугадываемого счастья. Он схватил себя за кудрявую черную бороду, привстал еще выше в седле, еще внимательней всмотрелся. Где-то далеко, на меже, разделяющей две зеленые нивы, что-то белело, шевелилось.

«Женщина,— решил отец Игнатий.— В белом платке. Сидит, кажись».

Он проехал немного вперед, потом опять остановился и стал глядеть.

«Женщина это? Да. Одна она? Одна».

Отец Игнатий опять проехал вперед, не сводя глаз с белого платка, который будто и двигался в зеленых волнах моря колосьев, и все оставался на одном и том же месте.

«Женщина это? Да. Одна она? Одна,— повторял бедный монах.— И верно, молода».

Он погнал жеребчика быстрей, по-прежнему не сводя глаз с белого платка, спокойно развевавшегося над нивой. Глядел, глядел, пока взгляд у него не затуманился; тогда он протер глаза рукой и опять стал смотреть.

«Женщина это? Да. Одна она? Одна. Кто же такая?»

Кругом, во всем широком поле, не было ни души. Это еще больше удивляло отца Игнатия.

«Женщина одна в поле! За травами, что ли, ушла так далеко?.. Не-ет, спит себе среди нив сном праведницы! Это неспроста».

Отец Игнатий усмехнулся.

«Кто ее знает? А может, и не спит,— подумал он.— Известно, какие они, женщины-то. Увидала меня и решила: сделаю, мол, вид, будто спряталась, так и подманю».

— Не прячься, не хитри, и без того приеду,— громко промолвил он.

Он перебрал в уме всех знакомых женщин того села, что виднелось вдали, стараясь угадать, кто же это.

— Стой, Лука! Стой, хозяину твоему надо подумать...— остановил он жеребчика и опять долго глядел.

Ему показалось, что белый платок вдруг кивнул ему, зовет к себе.

— Постой, постой. Не спеши. Я приду,— промолвил он и опять долго всматривался.

«Черт его знает, которая из них так дразнит меня»,— усмехнулся он, хлестнул лошадь и смело двинулся к цели.

— Вперед, Лука!

Конь полетел стрелой. Отец Игнатий запрыгал на нем, и в глазах его так и замелькала женщина, то показываясь, то исчезая в зеленых волнах ржи.

Когда он поднялся на высокую межу, за которой в нескольких шагах находилась женщина, платок исчез из глаз, так как межа была высоко, а тропинка уходила круто вниз.

Отец Игнатий остановил жеребчика, привстал на стременах, глядел, таращил глаза — все напрасно: ни женщины, ни платка ее. Тогда он, откашлявшись, громко крикнул:

— Доброе утро!.. Доброе утро!

Колосящаяся рожь слабо зашумела, и по ней побежали легкие волны. Но никто не показался и не подал голоса. Он опять встал на стременах и крикнул еще громче:

— Доброе утро!.. Доброе утро!..

И опять — никого. Отцу Игнатию показалось, что в поле стало тихо, как в церкви. Он тронул жеребчика, спустился на ниву и поглядел.

В нескольких шагах перед ним на низком колышке спокойно белел на солнце лошадиный череп, равнодушно глядя на отца Игнатия большими пустыми глазницами и нахально склабясь ему в лицо крупными редкими зубами.

1904

ОДИНОКАЯ

Валит густой мокрый снег, покрывая село Санино, поля, леса, весь мир. Быстро, непрерывно падают крупные хлопья, застилая кругозор, затягивая все густой пеленой. Безумный ветер порывами набегает с полей, гонит большие снежинки, крутит белые вихри и улетает бесследно. Из полуразвалившейся трубы старого здания сельской школы, придавленного тяжестью своей безнадежности, еле курится дымок. Внутри здания, будто пчелы, жужжат школьники, и этот непрерывный жизнерадостный гомон вылетает наружу веселыми волнами. Ветер кидается, хватает их, зарывает в сугробы, душит и улетает прочь. Но они тотчас опять оживают и весело, задорно смеются: а-а, а-а, а-а!

Учительница сидит у себя в комнате за столом, глядит сквозь мутные стекла маленького окошка на снег и думает. Худое, болезненное лицо ее печально. Шум, долетающий к ней из класса, терзает ее слабые нервы, причиняет ей боль. Ветер свистит в дымоходе, и мысли ее крутятся в мучительном вихре. Возле жарко натопленной печи, прислонившись к стене, сидит и дремлет старый школьный сторож, дедушка Кола. В руке у него дымится пахучая трубка; под грязной рубахой с разорванным шитым воротом, как всегда, выступает толстый живот. Одышливая грудь его хрипит на все лады, будто сломанная шарманка, подтягивая ветру, поющему в трубе. Со стен печально и сонно глядят две пыльные географические карты. За шкафом бегают и скребутся мыши.

— Сегодня пятница? — не оборачиваясь, спрашивает учительница.

Дедушка Кола, вздрогнув, открывает сонные глаза.

— Ты чего сказала?

— Сегодня ведь пятница?

— Пятница. Это насчет почты-то? Больно рано; почтарь в три бывает, в половине четвертого... А в такую погоду...

И сторож опять погружается в дремоту.

Учительница уходит в свои безрадостные мысли. Это молодая, хорошенькая девушка, сирота, воспитанная дальними родственниками. Она учительствует первый год, но работа успела ей опостылеть, стать ненавистной. Она чувствует, что больше не в силах здесь оставаться; ей хочется бежать. А что дальше? Есть у нее одна надежда. Когда она окончила курс, в нее влюбился подпоручик, красивый, веселый, и она отдала ему свое сердце. Он сам, под видом родственника, привез ее в это село, устроил здесь, и первые две-три недели они обменивались пламенными письмами, полными любви и нежности. Но потом он перестал писать и отвечать на ее письма. Это страшно мучит ее, но она не хочет верить, что он ее оставил. Если б решил это сделать, то дал бы ей знать: он человек благородный и не будет держать ее в неизвестности. Может быть, письма пропадают? Деревенская почта так плохо работает,— разве можно на нее полагаться! И каждый вторник и пятницу, когда в селе бывает почтальон, Маринка проводит как во сне; задумчивая, рассеянная, она не в силах заниматься с детьми. Часто дедушка Кола видит ее плачущей.

Сегодня она проснулась, полная надежд на то, что получит письмо: во сне она слышала ружейную стрельбу.

— Дедушка Кола, что значит, если услышишь во сне выстрел? — спрашивает она сторожа.

— Это к письму,— отвечает он, зная, что она давно ждет какого-то письма.

— И в соннике так сказано...

— Мне сызмальства известно,— подтверждает дедушка Кола.— Еще как наш Иван в солдатах служил, мать нам, ребятишкам, говорила: «Нынче, детки, письмо придет от вашего братца, мне приснилось, будто из ружья палят». И ежели не с этой почтой, так следом — обязательно, бывало, придет...

Маринка не верит в сны, но у нее становится тепло на сердце. Она мысленно читает и целует это письмо, которое сейчас везет где-то по заваленным снегом лесам почтальон. Ее Стефан просит у нее прощения, пишет, что был болен, но не хотел сообщать ей об этом, чтобы не волновать ее. Маринка мысленно составляет ответ. Она прощает его; ведь у нее нет ни одного близкого человека на свете, никого, кому она могла бы пожаловаться на свою судьбу, с кем могла бы поделиться своими мыслями, печалями и радостями. Он у нее один-единственный, хороший, красивый, живой, веселый...

Она целует его, радуется ему, ждет не дождется, когда увидится с ним.

Снег валит по-прежнему, залепляет стекла окон. Ветер воет в печной трубе, и шарманка дедушки Колы снова подтягивает ему.

Дети в классе, предоставленные самим себе, поднимают страшный шум. Одни поют, другие плачут, третьи носятся по коридору, выскакивают вон, бегают по снегу и пронзительно орут. Маринка ничего не слышит. Она далеко.

Вдруг доносится хриплый рожок почтальона. Учительница вскакивает.

— Дедушка Кола, беги в управление. Почтальон приехал. Принеси мне письма. Да не мешкай ради бога. Иди скорей!

Дедушка Кола встает и медленно удаляется, что-то ворча себе под нос насчет плохой погоды.

Маринка в нетерпении ходит взад и вперед по комнате, заглядывает в окно.

Вскоре дедушка Кола возвращается, весь белый от снега.

— Нету писем,— произносит он.

Учительница бледнеет, кусает губы, в отчаянии садится к столу, закрывает лицо руками и долго сидит так. Де-

душка Кола качает головой и удивленно, соболезнующе смотрит на нее.

— Не плачь, барышня. Может, придет со следующей.

Наплакавшись, учительница берет перо и пишет:

«Милый Стефан! Это — пятнадцатое письмо, которое пишет тебе твоя забытая Маринка. Как ты поживаешь? Почему не шлешь вестей? Хоть бы одно словечко. Для меня и этого было бы довольно: ведь мне никто не пишет, у меня никого нет. Зарытая в снегу, затерянная в лесах, далеко от города, среди чужих, равнодушных людей, я жду помощи и спасения от твоего слова, от твоей любви. Стефан, существуешь ли ты в действительности? Или ты — только исчезнувший милый сон моего детства?»

Из глаз ее капают крупные, горячие слезы. Она чувствует, что у нее нет сил описать, выразить свое горе; она кладет перо и долго плачет, закрыв лицо передником. И сквозь душащие ее рыдания слышит, как в комнату входят староста с писарем и грубыми, хриплыми голосами сердито толкуют:

— Да есть ли тут учитель? Этак ребята друг друга покалечат. Где над ними старший, чтоб их унять?.. Ни надзора, ни воспитания! Что ж это такое?

1905

СЕЛЗА МЛАДЕНОВА

Вот уже несколько дней, как экзамен благополучно окончился, и теперь учительница Селза Младенова, склонившись над маленьким столиком в тесной учительской, дописывала свидетельства для ребят. Стены успели покрыться паутиной. От шкафа с двумя-тремя разодранными книгами, от старой карты полушарий, повисшей сломанным крылом на стене, от доски, от счетов, от пыльного глобуса с нахлобученной на него облезлой шапкой школьного сторожа, от покривившейся железной печки, чье сердце, кажется, никогда не пылало,— от всего веяло печалью, дремотой и неверием в науку. Человеческий скелет с иронической улыбкой отвернулся в угол, а со шкафа глядело на него, наклонив голову, чучело черного ворона, готовое, подобно зловещему ворону Эдгара По, произнести роковое «Никогда!».

Снаружи, на широком неогороженном дворе, припекало ласковое майское солнышко, и привязанная за ногу

коза пощипывала траву среди терновника, беспокойно вереща. Весь народ был в поле, и на селе не слышалось ни звука, кроме сладкого, усыпляющего жужжания пчел да воробьиных ссор.

Учительница быстро, напряженно писала, не подымая головы и не глядя в окно. Время от времени она отстраняла выбивающиеся прядки со лба, не прерывая своего занятия. Она торопилась поскорей все закончить, так как через два дня — ее свадьба. «Осталось два-три дня,— подумала она, кладя перо.— Два или три?»

Уже целую неделю она считала дни и все время сбивалась. Она так занята, что не замечает, как они бегут, и все-таки ей кажется, будто время течет как-то неправильно, будто за ночью следует предыдущий день. И вот она опять не знает, что сегодня — четверг или среда.

— Дедушка Пене, какой у нас нынче день? — вдруг спрашивает она, обращаясь в угол за печью.

Но там не дремлет уже больше с трубкой в зубах добродушная кособокая фигура глухого сторожа дедушки Пене. Его работа окончена одновременно с экзаменами, и вопрос остается без ответа.

Селза Младенова улыбается своей рассеянности. Маленькое птичье личико ее сияет блаженством, мечты уносят к тому счастью, которое уже недалеко и которому она отдала все свое сердце, всю свою любовь. Вот она — новобрачная; милый держит ее за руку; она вся в белом, словно цветущая слива; на голове у нее венок из маленьких белых цветов, который она сохранит навсегда, как священное воспоминание. Фата, тонкая, как пронизанный солнцем туман, окутывает ее с головы до пят. Она грациозно ступает своими крохотными белыми туфельками, ласково приветствуя взглядом сограждан, которые глядят на нее с завистью, стоя кучками у ворот и вдоль всей улицы городишка, до самой церкви. Солнце празднично светит. В садах цветут розы и тянутся к ней через ограду. Торжественно звучит оркестр. Люди смотрят, открывают окна, говорят: «Нынче свадьба Селзы Младеновой». В церкви собрались учителя со всей округи, в том числе двенадцать учительниц, среди которых она — самая красивая. Она входит в храм. Все взгляды устремлены на нее. И она, приподняв платье, как только она умеет это делать, пройдет среди всех под руку с любимым, вся в белом, влюбленная, ликующая, счастливая.

Да, день свадьбы — самый важный день в жизни девушки, и потому его надо отпраздновать как можно тор-

жественней. Она с малых лет трепетно мечтала об этом дне, и вот он близится. Идет — солнечный, улыбающийся.

В памяти ее возникает короткая история ее любви, и сердце начинает биться при воспоминании об этой прекрасной, ласковой маленькой поэме. Как-то раз, в начале учебного года, осенью, в ту пору, когда желтеют и опадают листья, она задержалась в соседнем селе. Вечером ее пошел провожать тамошний учитель, с которым она только что познакомилась, Добрян Горев. Это имя очень ей понравилось; оно до того шло к нему, что она просто удивлялась, как ему такое подобрали. Добрян Горев учительствовал в своем родном селе. У него отец был староста, брат — корчмарь, а сам он — учитель, но, кроме того, занимался огородничеством, пчеловодством, разводил птиц, делал ульи, шкафы и веялки.

Идя вместе, они разговаривали только о школьных делах, о телесных наказаниях как воспитательном средстве, о методических единицах и других важных вопросах.

— Люди выдумали граммофон, кинематограф, рентгеновские лучи, радио, летательные аппараты,— говорил он,— а в педагогической науке толкутся на месте, пользуясь устарелыми формами, изношенными понятиями, всякой формалистикой.

Он говорил, а она шла рядом, глядя в его большие умные глаза, и взгляд его, такой несоответствующий широкому крестьянскому лицу, воспринимался, словно сердечная ласка. Было уже довольно поздно. Светила луна, и Селза не заметила, как они пришли к ней в село! И до чего просто! На другой день она получила от него длинное любовное письмо.

Потом они виделись каждый день, она полюбила его, сблизилась с его семьей и вот теперь — через два дня — выйдет за него замуж.

По ее желанию они обвенчаются в ее родном городке. Там уже все приготовлено. Селза Младенова опять видит себя новобрачной, в белом, как цветущая слива, под руку с ним...

Она вздрогнула. Дверь отворилась, и в комнату шумно входят один за другим — ее жених Добрян, отец его в накинутом на плечи пиджаке и кума их Златана, женщина уже не первой молодости, но набеленная и нарумяненная. Они вошли медленно, солидно. Сразу было видно: пришли с важным делом. А за дверью — какое-то топтанье, шушуканье.

— Ах, Селзочка, такая погода хорошая, а ты тут взаперти сидишь,— начала кума.

— Да вот хочу покончить со свидетельствами.

— Послушай, сноха. Знаешь, что мы решили? — промолвил отец Добряна, поправляя плечами пиджак.

Селза замерла. Предчувствие подсказывало ей, что она не услышит ничего хорошего.

— Мы решили,— продолжал старик,— справлять свадьбу на селе.

— Так лучше,— поддержала кума.

— Чтобы не производить лишних расходов — вот почему. Я уверен, ты не будешь возражать,— сказал жених убеждающим тоном.— Эти свадебные церемонии отжили свой век, и незачем нам, учителям, людям без предрассудков, доставлять удовольствие публике разными зрелищами.

— На селе и отпразднуем веселей,— прибавила нарумяненная особа.

Селза Младенова побледнела и сжала губы. Эти люди, с которыми она еще вчера говорила, как с родными, теперь показались ей далекими, чужими, бессердечными. Они стояли перед ней, как воры, пришедшие затем, чтоб ограбить драгоценности ее роскошных сновидений, и она почувствовала себя беспомощной, жалкой, обиженной, не знала, что сказать. Добрян стоял в стороне, почти безучастный, и с карандашом в руке производил какие-то подсчеты в записной книжке.

— Знаешь, во что обойдется свадьба в городе? — спросил он, кинув на нее быстрый взгляд.— Бросать на ветер такие деньги!

Селза Младенова села и закрыла глаза рукой.

— Плакать-то с какой стати? — удивилась кума.

— Глупости! — объявил старик.

Добрян вышел. За дверью опять послышалось шушуканье.

— Чего деньги бросать,— произнес какой-то сиплый голос.— Пускай спасибо скажет, что ты на ней женишься.

Вслед за тем вышел и старик.

— Говорил я ему: женись на деревенской девушке, нет, не слушается. Ну, получай барышню: всю жизнь нытьем донимать будет! — с досадой сказал он уже за дверью.

— Да ведь деревенская такого дохода не даст...

— Сто восемь в месяц получает, никак? — испуганно спрашивает кто-то.

— Сто восемь,— весело отвечает Добрян.

— Да ты — сто восемь.

— Двести шестнадцать,— говорит Добрян и, смеясь во все горло, добавляет: — Разве плохо?

Селза слушает эти обидные речи жениха как во сне, и сердце ее наполняется горечью.

— Э, поплачешь, поплачешь, да и обойдется. Думаешь, мы деревенские, так нам на шею сесть можно! — говорит кумушка и, выйдя из комнаты, смешивает свой громкий смех с разговорами в коридоре.

Селза поднимает голову и смотрит вокруг. В комнате никого нет. За дверью еще говорит жених. Это его отвратительный, сухой, бессердечный и циничный голос.

— Жену обуздывай, пока не поздно! Сто восемь да сто восемь — двести шестнадцать...

Среди этого грубого мужичья бедная маленькая учительница почувствовала себя ягненком среди волков. Сердце ее, переполненное горечью, раненное обидой, заплакало. Она опустила голову на стол и дала волю слезам.

За ее спиной иронически улыбался человеческий скелет, случайно повернутый кем-то из посетителей лицом в комнату. Чучело ворона, наклонив голову, глядело на нее с высоты шкафа, как бы говоря, подобно зловещему ворону Эдгара По:

— Никогда!

1910

МОИ ДРУЗЬЯ

Вербные луга — так называется одна долина, находящаяся вдали от села, образующая нечто вроде пазухи между высоких лесистых гор и нагреваемая солнцем, как комната.

Посреди долины стоит пышная, красивая купа деревьев — елей, стройных берез, высоких тополей, старых орешин, молодых буков и двух осокорей. Ее пересекает бегущая с горы быстрая речка. Туда, под сень этой рощицы, каждый день, начиная с апреля и до самого конца августа, слетаются для игр и любовных встреч отборные крылатые певцы соседнего леса.

Я любил, тихо прокравшись к этому месту, лечь в душистую траву и наблюдать. Среди этих певучих друзей я многих знал в лицо и в мае почти каждый день ходил к ним в гости. Там вили гнезда два соловья, одетые в серое и отличавшиеся скромными манерами. Молодые супруги их высиживали птенцов. Откуда-то появлялся шаровидный

темно-бурый воробей, которого все любили за остроумие, но мало уважали. Он весьма нахально ухаживал за одной пестрой щеглихой. На макушке березы садились рядом два дрозда, возвещавшие восход солнца и служившие примером супружеской верности. На одной из орешин сидела кокетливая пышногрудая красношейка, завидовавшая дроздихе и кидавшая любовные взгляды на беспечного воробья. На старый кизиловый куст садилась беспринципная кукушка, вечно опаздывающая. К ней подскакивала глупая сойка, кичившаяся красотой своего оперенья и насмехавшаяся над всегдашней траурной одеждой кукушки. Высоко в раскидистых ветвях явора было гнездо щеглов, еще молодоженов, которые страшно друг друга ревновали, умирали от любви друг к другу и были совершенно неразлучны. При всем том самочка успела уже кое-что обещать неотразимому воробью.

На почтенном расстоянии от этого места, на высокой груше с полузасохшими ветвями, простертыми к небу, как руки в отчаянии, жил одинокий голубь, унылый, погруженный в размышления и время от времени начинавший ворковать, словно в забытьи, про себя. Несмотря на явное любовное заигрывание сойки, он держался в стороне и не пожелал знакомиться с этим веселым обществом.

Я лежал на животе, как большая козявка, в пестреющей цветами, душистой траве, и соломенная шляпа на голове моей напоминала выросший на лугу гриб. Веселое население рощицы не обращало на меня внимания и даже не подозревало о моем присутствии. Только воробей, которого однажды взяло сомнение, пролетел низко у меня над головой с тревожным чириканьем, но я громко шикнул на него, и он не стал доносить. Кроме того, я два раза дал ему взятку, кинув потихоньку несколько пшеничных зерен.

Соловьи, сидя на пепельно-коричневых ветках, были почти невидимы. Приходилось долго всматриваться в густую тень среди крупной листвы, чтобы с трудом увидеть гнезда, где они терпеливо, с чудными мечтами и надеждами, выводили своих деток. Оба соловья оставались каждый возле своей подруги и целыми часами пели, не меняя места. Они пели, распустив дрожащие крылышки, подняв головку, и маленькие тельца их трепетали от вдохновения и творческого жара.

Темно-бурый воробей был большой озорник. Он часто отпускал такие остроты, что стыдливая красношейка целый час не смела поднять глаза и на кого-нибудь погля-

деть. Иногда он бывал особенно в ударе. Соберет всех вокруг себя, начнет им что-нибудь рассказывать и вдруг загнет такой вопрос, что все начнут спорить и в рощице подымется страшный шум.

Сойка, как все глупые птицы, не понимающие умного разговора, только кричала, сидя в стороне:

— Дураки! Дураки!

А красношейка, прыгая на уединенном кусте терновника, твердила, вздыхая:

— Господи, как я люблю этого воробья! Какой он дрянной и как я люблю его!

Щеглиха смотрела на него с умиленьем и, толкнув своего ревнивого пеструшку, наивно говорила:

— Какой он талантливый и отчаянный, этот воробей,— знать ничего не хочет!

— Не обращай внимания на этого распутника. У него нет никакого будущего. Видишь, как у него почернел воротник? — отвечал, дрожа от зависти, ее мудрый супруг.

— Напротив, мой миленький, по-моему, он одет с большим вкусом. Посмотри на его крылья: какого они красивого темно-красного цвета, будто кожица спелой вишни. Посмотри, какой у него взгляд; посмотри, какой он веселый. Ну разве не хорош?

— Да, да,— пищал в ответ супруг, дрожа от ревности.— Я знаю, что он тебе нравится, прекрасно знаю,— можешь мне не объяснять. Не надо.

У влюбленного прерывался голос. Глаза наливались слезами. Он отлетал в сторону, чтобы никто не видел его слез, его слабости.

У бедной щеглихи становилось тяжело на сердце. Она спешила к нему и, найдя его где-нибудь в ветвях, осыпала нежностями, милым чириканьем.

Растаяв от ласки, он со слезами просил у нее прощения, называл свою пеструю щеглиху разными нежными, ласковыми словами.

— Милая моя, миленькая! Ты — частичка небесной радуги, спустившаяся ко мне с солнечным лучом! Ты та, для кого бог создал семена подсолнечника! Прости меня, щеглушенька, щеглинка моя. Не сердись на своего скверного, ревнивого мужа. Поверь, моя пестрокрылочка, мне страшно больно, что я обидел тебя, но это — от любви, от ревности. О, если ты меня не простишь, я сам отдамся в когти соколу!

— Я прощаю, прощаю, прощаю тебя, милый! Не говори

так! Твоя маленькая щеглиха знает, что ты глупый, и прощает тебя.

Эти истории повторялись каждый час.

Когда их слышала кукушка, птица ученая и рьяная защитница свободной любви, она говорила им прямо в глаза:

— Фью-ю-ю, несчастные, ваша глупая любовь мне противна.

— А ты? Ты, прельщающая чужих мужей с корыстной целью и делающая несчастными жен! — кричала ей сойка хриплым от ненависти голосом.

Кукушка, презрительно смеясь, улетала со словами:

— Предрассудки! Предрассудки!

— Amour! Amour! — произносил по-французски голубь, сидя на своем старом дереве, и снова погружался в размышления.

Часто появлялся здесь черный дятел, педант до мозга костей. Он слыл ученым мужем. Имел звание доктора философии, читал лекции по эстетике, ненавидел воробья и с вдохновением говорил о соловьях, под чьими деревьями клевал муравьев. Свои глубокие научные познания он приобрел благодаря тем письменам, которые время наносит на кору старых деревьев, и иероглифам, которые люди царапают на сером наряде тополей.

Воробей не испытывал к нему уважения, называл его обманщиком, буквоедом и шарлатаном. Другие птички боялись его и не любили за надменность и злоязычие.

Так как дятел как-то раз сказал приятный комплимент щеглихе насчет ее красоты, она стала с ним кокетничать и решила брать частные уроки по теории поэзии и эстетике.

Воробей чуть не лопнул от злости, узнав об этом. Он встретил мужа щеглихи и наговорил ему с три короба.

Но верный супруг ненавидел воробья по известным причинам и не поверил интригану.

Тогда воробей приступил к делу.

Однажды утром он явился в рощу, любезно поздоровался с красношейкой и подсел к ней, не глядя на щеглиху, которая рассматривала изображение сердца на белой коре соседней березы.

— Спасибо, спасибо за внимание,— обернулась она к нему, с тайной ревностью и мучительной обидой в сердце.

— Извините,— сказал воробей.— Я боялся помешать вашим научным изысканиям. Вы слышали? Ваш профессор открыл в лесу школу для молодых соловьев: учит их рифмовать...

— Да, я знаю это от него самого. Хорошее дело!

— Он хочет также открыть школу любви,— продолжал воробей.— Но ему не хватает практики.

Это сообщение поразило щеглиху в самое сердце. Она села на ветку и заплакала.

А воробей завел разговор со стыдливой красношейкой.

— Вы, видимо, влюблены,— сказал он ей.— Сидите такая печальная, всегда одна и о чем-то думаете.

— Каждый сам знает тайны своего сердца,— умно ответила красношейка.

— А все-таки вы влюблены.

— В одного красивого господина, который не думает обо мне.

— Думает, может быть, больше, чем вы предполагаете,— возразил воробей и подсел еще ближе к трепещущей от любви красношейке.

Тогда щеглиха спорхнула со своей ветки и села прямо против них, чтоб им помешать. Она готова была оторвать красношейке голову своими маленькими лапками, сорвать у нее с шеи красные перья, чтобы они попáдали в грязь, но удержалась.

Непостоянное сердце воробья заметило все это. Он поклонился красношейке, сказал ей «до свиданья» и улетел в лес.

Вскоре маленькая щеглиха, обиженная, готовая устроить отчаянную сцену, помчалась туда же.

Красношейка, в груди которой снова угасли занявшиеся было надежды, осталась опять одна и тихо запела печальную песню. Печальную песню о мимолетности счастья, о непостоянстве любви, о жестокости весны.

Было чудное ясное утро. На лугах трещали кузнечики. Бабочки, гоняясь друг за другом, перелетали с цветка на цветок. Над рекой охорашивались травы. Солнце, тишина. Соловьи пели своим милым утренние песни. Дрозд и дроздиха на макушке березы славословили солнце. Бог благословлял начинающийся день на новую любовь. Мак открыл на лугах свое алое око, и белые маргаритки беседовали о нежных руках влюбленных девушек.

Прилетел в рощу супруг щеглихи и не нашел ее в гнезде. Спросил дроздов, не видят ли они ее где-нибудь с высоты. Они ничего не ответили, так как упоминать падшую щеглиху было бы оскорбительно для их благонравия. Тогда он взлетел на верхушку тополя и долго кричал там:

— Щеглушечка, щеголка, где ты, милая?

Ответа не было. Он слетел вниз, к гнезду. Пустота и заброшенность жилища привели беднягу в ужас. Он сел

рядом на ветку и горько-горько заплакал. Соловьи глядели на него с состраданием. Пораженные его скорбью, они перестали петь. Красношейка, знавшая все и обладавшая мягким сердцем, улетела в лес, чтобы не слышать рыданий несчастного.

— Эй, перестань! — крикнула ему сойка, прилетевшая из лесу.— Изменница не заслуживает, чтоб из-за нее так страдали. Ты здесь плачешь о ней, а она там в лесу, с воробьем, знаешь что делает?

И сойка нахально засмеялась.

Пораженный этим известием, супруг щеглихи перестал плакать и, полный решимости, полетел в лес.

Скоро там поднялся шум, крик, писк. Птички в ужасе покинули рощу.

Посреди луга в траву с шумом упали воробей и супруг щеглихи, сцепившиеся в ожесточении. Полетели крики, перья. Два врага наносили друг другу страшные удары крепкими клювами по голове, сшибаясь в траве, как два резиновых мячика, которых дергают за резинку. Щеглиха с писком носилась над ними, отчаянно крича:

— На помощь, на помощь!

Борьба становилась страшной. Кровь обагрила грудь супруга, боровшегося за свою честь. Два пера выпали из хвоста воробья.

— На помощь, на помощь! Неужели никто их не разнимет? — кричала щеглиха, с ужасом глядя на мужа, который все больше слабел под ударами крепкого воробьиного клюва.

— На помощь, на помощь!

Возмущенный этим криком и шумом, из лесу прилетел сокол, закружил над лугом, стал всматриваться. Все птички вокруг притаились, где кто успел. Только два кровных врага бились не на живот, а на смерть в траве, не видя ничего вокруг.

Сокол застыл над дерущимися, потом с быстротой молнии схватил их обоих...

После этого происшествия жизнь в роще изменилась.

Удрученная скорбью красношейка, ни с кем не делясь ею, ушла в монастырь. Кукушка и сойка по-прежнему ненавидят друг друга. Соловьи и дрозды вывели птенцов и целыми днями предаются заботам о своих малышах.

Много дней подряд плакала овдовевшая щеглиха, сама не зная, кого из двоих ей больше жаль. Она подобрала на поле боя потерянные тем и другим перья и взяла их к себе в гнездо — на память.

Она плакала оттого, что осталась одна, но страшно гордилась тем, что из любви к ней погибли двое.

А голубь, все такой же одинокий, сидит на своем старом, засохшем дереве, думает и, вспомнив о страшном происшествии на лугу, говорит по-французски:

— Amour, amour!

1909

БРАТЬЯ

Отец Кирилл неподвижно лежит на кровати в темном углу своей просторной кельи и еле дышит. В головах у него перед почерневшей иконой мерцает лампадка, и при ее слабом свете по стенам бродят смутные тени.

Возле умирающего дежурят брат Онуфрий и брат Игнатий.

Они сидят друг против друга за столом у кровати, тихо читают псалтырь при свете восковой свечки и время от времени наливают себе по стаканчику водки из стоящей перед ними большой черной бутыли.

Монастырь давно спит. Буйный ветер воет на дворе, стучит в окна, врывается в жестяные трубы горящей за дверью печки, странным голосом завывает: «Упокой, господи!..» Этот таинственный припев мгновеньями заглушает усердные сонные молитвы отца Игнатия, шепчущего толстыми губами:

— Господи помилуй, господи помилуй, гос... мил... гос... ми... луй.

Иногда монах повышает голос, и он разливается по просторному помещению резким, твердым, как камень, шепотом, наполняя большие дощатые шкафы, колотясь о все четыре стены, об пол, о стекла окна и падая в тусклый огонек лампадки, который вздрагивает и трещит.

Старый отец Онуфрий, маленькая фигурка которого теряется в складках широкой рясы, сидит неподвижно, как сброшенный на стул мешок. Голова его поникла над псалтырью, но губы не шевелятся, глаза закрыты.

Ветер еще сильней застучал в окно и печально запел в печке какими-то детскими голосами, доносящимися будто с того света: «Упокой, господи!»

Вдруг отец Онуфрий вздрогнул и поднял голову.

— Что ты? — взглянув на отца Игнатия, спросил он.

— Ты, видно, заснул? — глядя исподлобья на отца Онуфрия, спросил в свою очередь отец Игнатий.

— Мне показалось, что ты меня позвал,— сказал отец Онуфрий, протирая слипающиеся глаза.

— Это тебя рогатый позвал,— проворчал отец Игнатий и продолжал чтение.

— Читай потише,— заметил отец Онуфрий, указывая глазами на больного.

Игнатий, строго поглядев на собеседника, продолжал шепотом читать.

— Послушай, брат Игнатий, у этого человека душа с телом расстается, а ты у него над головой, как мельница, трещишь,— повторил свое замечание Онуфрий.

— Ну и пускай расстается. Ей же на пользу читаю. Ты думаешь, она больно чиста? Не чище твоей. Значит, и давай за нее молиться,— грубо возразил отец Игнатий.

— Да,— вздохнул Онуфрий.— Большой был скряга... Думал, никогда, мол, не умру. Ан нет, пришел срок.

Лицо отца Онуфрия приняло задумчивое, печальное выражение.

Отец Игнатий прервал свой шепот. Наступило долгое молчанье.

— Воды, водицы! — простонал, будто из могилы, больной, и костлявая рука его бессильно свесилась с кровати, как отрубленная.

Оба монаха вскочили и переглянулись, словно спрашивая друг друга, что делать. За ними на стене вытянулись две их темные тени и неподвижно застыли, будто ожидая приказаний. Лампадка сильно замигала, потом вдруг опять принялась гореть ровным пламенем. Шкаф таинственно скрипнул. Ветер застучал в окно, и в печной трубе снова запели далекие, блуждающие детские голоса. В келье стало жутко. Словно туда забрались и начали всюду шарить невидимые воры.

Отец Игнатий, приложив палец к губам, таинственно произнес:

— Смерть пришла.

— Водицы!.. — опять простонал больной и повернул лицо к монахам.

Бледное, исхудалое, оно выражало досаду и усилие сказать еще что-то. Белая как снег борода его дрожала, губы шевелились.

Отец Игнатий подал ему стакан воды. Но больной со стоном отвернулся к стене и не стал пить.

— Не привык к воде-то, бедный,— беззвучно засмеялся отец Онуфрий.

Наклонившись над постелью, они долго прислушивались.

— Дышит,— сказал наконец отец Игнатий.

— Гаснет его свеча,— возразил отец Онуфрий. И, кинув на отца Игнатия многозначительный взгляд, прибавил: — А ведь у него денежки водились.

— Водились,— задумчиво подтвердил Игнатий.

— Как бы нам его обыскать? — наклонившись к самому уху отца Игнатия, прошептал Онуфрий.

— Дай помрет,— ответил Игнатий, приложив палец к губам.

Оба опять сели за стол. Отец Игнатий стал читать; отец Онуфрий, подперев голову рукой, задумался.

Келья снова наполнилась таинственным шепотом читающих губ. Тени вновь беспокойно забегали по стенам. Ветер с новой силой запел в печке.

— Что-то долго ночь тянется,— вздохнул отец Онуфрий.— Когда только ей конец?

— Устал я,— промолвил, поглядев на него, отец Игнатий, закрыл псалтырь и взял лежавшие на столе карты.

— Перекинемся, что ли?

— Так что ж ты молчал? — всплеснул руками Онуфрий, повеселев.

Отец Игнатий наполнил стаканы и сдал карты.

— Ходи!

Онуфрий, засучив широкие рукава своей рясы, взял карты в руки.

В глубоком молчании монастырской кельи послышалось азартное рычание игроков и шлепанье карт, падающих на голую доску стола, словно крупные, редкие капли дождя перед бурей.

Ветер стал еще настойчивей биться в окно. Невидимые блуждающие, бесприютные голоса снова запели в печке свое «упокой, господи», разносясь по келье, заглушая друг друга и замирая.

— Воды, водицы! — еле слышно простонал умирающий, но охмелевшие и увлеченные игрой братья не слышали.

— Воды! — повторил отец Кирилл, и в голосе его прозвучало страшное, нечеловеческое усилие, уже побежденное смертью.

Белая голова приподнялась над подушкой и упала обратно, как отрубленная.

— Кончился! — промолвили братья и, бросив карты, встали разом, как по команде.

Потом, подойдя к кровати и о чем-то перешепнувшись, принялись шарить под подушкой, под тюфяком, на котором лежал мертвец. Нашли дорогой янтарный портсигар.

— Ах! — вздохнул отец Онуфрий, разглядывая его.— Брат Игнатий, уступи мне!

— Нет, я нашел.

— Ты не такой курильщик, как я.

— Все равно.

И Игнатий сунул портсигар к себе в карман подрясника.

— Стой. Кошелек!

Оба подошли к столу, где горела свеча, и с волнением стали рыться в кошельке, который вытащили из-под подушки.

— Один, два, три... двадцать наполеондоров.

— Значит, по десять...

— Будем еще искать?

— Довольно!

Оба опять уселись за стол.

— Какая длинная ночь,— сказал, зевая, Игнатий и перекрестился.

— Сдавай.

— Разве моя очередь?

— Твоя.

Игра возобновилась.

А ночь тянулась, темная, безмолвная, таинственная. Шла медленно, тихо, неслышно. Буря на дворе как будто утихла. В окна кельи заглянуло хмурое утро, застав обоих монахов в азарте игры.

Лампада в головах у мертвого погасла.

1905

МОЛОДКА НЕНА

Тишину раннего осеннего утра нарушил пронзительный женский крик. Нена, жена Колю Загорче, вне себя бежала по селу, босая, растрепанная, с непокрытой головой. Лицо и руки у нее были в крови, которая лилась откуда-то с головы, ручьями стекала по бледному лицу и капала за шиворот грязной рубахи. Ревя изо всех сил диким го-

лосом и захлебываясь слезами, она кричала каждому встречному:

— Люди добрые-е-е, убили меня! Муж убил... Совсем искалечил, чтоб ему не жить на белом свете!

Прохожие испуганно уступали ей дорогу, с удивлением и состраданием глядя ей вслед.

Возле церкви Нена перекрестилась на бегу, перешла босиком через мельничный ручей и, рыдая, остановилась перед школой.

На заросшем бурьяном дворе в этот ранний час никого не было. Нена постояла, потом, что-то сообразив, толкнула дверь.

— Учитель, напиши мне прошение. Муж мой Колю загубил меня!

Никто не отозвался; в пустом коридоре одинокий плач ее звучал еще страшней.

Нена вернулась во двор и обратилась с горькой жалобой к буйволице, мирно чесавшейся об угол дома.

— Господи боже! Что же мне делать?

Буйволица вытянула к ней влажную морду, с удивлением поглядела на нее своими большими глазами и продолжала чесаться. Двое оборванных ребятишек с сумками через плечо, поднявшихся спозаранку, молча жевали хлеб, сидя на корточках у стены школы. Увидев женщину в крови, они испуганно вскочили на ноги.

Нена принялась тереть окровавленное лицо широкими рукавами рубашки и запричитала еще громче:

— Искалечил меня муж, чтоб ему не жить на белом свете!

Дети посмотрели, постояли и поспешно скрылись за школой.

Потоптавшись на месте, Нена кинулась к дому помощника старосты.

Тот что-то тесал в дровяном сарае, но, завидев Нену, бросил работу и пошел ей навстречу.

— Чего ты бегаешь по селу, будто из-под ножа вырвалась? Уходи сейчас же. Ты мне детей перепугаешь.

— Бедная я, несчастная, дядя Симон,— заревела во весь голос Нена.— Муж меня искалечил, чтоб ему не жить на белом свете.

— Замолчи, замолчи! — крикнул дядя Симон.— Экий у тебя голосище! Не ори, не в лесу. Бил тебя кто? Муж? Так это никого не касается — его дело. Захочет — побьет, захочет — приголубит. Ты ему жена? Значит, терпи. Ну побил, да ведь не убил?

Из-за двери высунулась испуганная тетка Симоница. Дядя Симон мигнул ей, чтобы шла обратно в комнату, но она, сделав вид, будто не поняла, продолжала смотреть.

— Иди в дом, а то я тоже тебе покажу! — строго прикрикнул муж, и ее словно ветром сдуло.

Молодка Нена перестала плакать, но из груди ее вырывались подавленные стоны.

— Как мне теперь жить на свете, дядя Симон? Вызовите его, судите. Каждый день бьет-колотит — ни за что ни про что. Будь я железная — и то не выдержала бы. Погубит он меня.

Вокруг стали собираться любопытные — мужчины, женщины, ребятишки.

— Ступай, ступай, молодка! — сказал помощник старосты, повысив голос.— Уходи. Я тебе ничем помочь не могу. Иди к писарю, он лучше разбирается в законах.

Нена опять дала волю слезам и с воплем побежала в общину.

— Что с тобой, молодка? — спросил писарь, выйдя ей навстречу из канцелярии.

Он там спал и теперь, только что умывшись, вытирал лицо полотенцем.

— Муж мой Колю со свету меня сживает, господин Панайот. Хочу прошение подать, чтоб вы судили его!..— проговорила нараспев Нена, растягивая конец каждого слова.

— Где твое прошение? — важно промолвил господин Панайот и, вскинув полотенце на плечо, стал застегивать рукава.

— Вот мое прошение,— протянула сквозь слезы Нена и, нагнув голову, показала писарю свои слипшиеся от крови волосы.

Господин Панайот надел очки и внимательно осмотрел рану.

— Да, раскроил тебе черепушку. Чем ударил-то?

— Чекой ударил, разрази его гром!

— Послушай, Панчо,— обернулся господин Панайот к общинному сторожу, который как раз откуда-то появился.— Достань-ка шерсти. Надо запарить ей рану, а то как бы мозги не вытекли.

— Чтоб глаза у него вытекли! — закричала Нена и, покорно склонив голову, стояла так, пока писарь и сторож запаривали ей рану.

— Так чего ж ты хочешь, молодка? Ежели развода, так подавай прошение архиерею: это по его части.

— Не хочу разводиться,— заревела Нена,— не хочу, не хочу! Хочу, чтоб вы ему задали хорошенько, посудили его и драться отвадили.

— Ежели за побои в суд подашь, так его в тюрьму.

— А-а-а,— опять заголосила Нена,— не надо в тюрьму сажать. Кто в доме хозяином будет?.. Не надо!

— Тогда иди к попу, чтоб он вас помирил. Он венчал вас, он и рассудит.

Нена не стала дольше ждать. Опять заревев, она прошла мимо толпившихся с любопытством женщин и, не глядя на них, сопровождаемая шутками и насмешками, пошла к дому попа.

Поп, без шляпы и без рясы, разливал помои двум откормленным кабанам и что-то ласково говорил им, почесывая у них за ушами. Увидев окровавленную и заплаканную Нену, он остановил ее суровым замечанием:

— Куда идешь? Посмотрела бы на себя-то!

— Бедная я, горемычная, батюшка,— заплакала Нена и поведала незамысловатую историю своих несчастий.— Пришла к тебе с жалобой. Колю убил меня! Ты нас венчал, ты и рассуди.

Слезы ее хлынули потоком, оставляя полосы на окровавленном лице. Она бросилась на землю, вся сжалась, как выгнанная из дому собака, закрыла лицо фартуком и, обхватив голову руками, заголосила, как над покойником:

— Сирота я, сирота бездомная! Злосчастная доля моя. За три года, как замужем, света белого не вижу. Господи боже мой! Нешто я гадкая, безобразная или неплодная какая, что так ему опротивела?

— Замолчи. Замолчи. Будет выть. Чем я виноват, что тебя муж побил? Как пожениться вздумали, так все село своей любовью вверх дном перевернули, а теперь выть сюда пришла. Иди проси у него прощения!

Поп схватил Нену за руку, поднял на ноги и вытолкал за ворота.

Она опять очутилась на дороге, не зная, куда идти. Позади раздавалось жадное чавканье свиней.

Человеческие сердца оказались черствыми, безжалостными. Никто не вошел в ее положение, никто ее не утешил. Она услышала одни только упреки да насмешки, и ей казалось, будто она упала в какой-то глубокий, темный колодец, из которого не выбраться. Никто не спросил ее полное скорби сердце, отчего болит оно. Нена перестала плакать. Больше не чувствовала боли в разбитой голове,

В душе у нее таилась более глубокая рана. И эта боль заставила ее молодое изможденное тело собраться в комок, сосредоточивши в себе целое море страданья, в котором она утопала.

На дороге опять собрались любопытные; они глядели на нее издали, ахали, перебрасывались шутками на ее счет. Жалостливые женщины подходили к ней, трогали ее за рукав, пробовали утешить. Но Нена стояла вся сжавшись, словно потерявшая хозяина собака, в которую каждый готов кинуть камнем... Стояла неподвижно, одна-одинешенька на белом свете, не подымая глаз, ни на кого не глядя, и глухо стонала.

С большого орехового дерева, которое росло перед домом священника, падали на нее, один за другим, жесткие мертвые листья, словно застывшие вздохи. Они осыпали ее, но она даже не пробовала их стряхнуть.

Вдруг на дороге показался ее муж, Колю, с большой палкой в руке.

— Эта ослица тут еще? — закричал он.— Ребята плачут, а она по улицам шатается, беспутная.

Увидев его, Нена опять зарыдала, выкликая:

— Колю, Колю! Как же нам жить с тобой, Колю? Людей не стыдишься, хоть бога побойся!

Колю схватил ее за косу и потащил за собой.

— Иди домой, довольно людей смешить!

Он толкнул ее вперед и стал подгонять палкой, как овцу.

— Эй, Колю! — крикнула одна старуха.— Не бей жену, бог накажет!

— Это с какой же стати не бить? Жена она мне или нет? Жена моя — и кончено! — огрызнулся Колю, поворачивая вслед за своей молодухой к дому.

1905

ВСТРЕЧА

Рота ополченья, в которой служил Стоян Гаштник, шла по следам наступающих войск, неся гарнизонную службу в городах, охраняя мосты, обозы, железнодорожные линии, конвоируя пленных.

От города к городу, от села к селу, завернувшись в свою пеструю бурку, с берданкой в руках, дядя Стоян прошел все завоеванное пространство и где-то далеко-да-

леко, на краю света, задержался дольше, назначенный в охрану какого-то моста на большой шоссейной дороге.

Место было пустынное, глухое. В самые тихие ночные часы, когда даже речка засыпала, сюда не доходило из села ни ободряющего собачьего лая, ни веселого петушиного пенья.

Здесь и остался дядя Стоян с несколькими товарищами охранять мост. Они соорудили себе просторную теплую землянку с очагом и дымоходом в глубине, развесили в ней свою одежду и походные сумки, устроили соломенные постели и приступили к несению своих обязанностей.

Их суровые, молчаливые фигуры, как тяжелые камни, день и ночь торчали вокруг моста, следя за всем совершающимся вокруг с такой бдительностью, что птичка не могла пролететь незамеченной.

По обеим сторонам покрытого грязью шоссе непрерывной вереницей тянулись обозы. Волы усердно, покорно тащили тяжелые возы, и напряженные движения их напоминали о всеподчиняющей, великой, стихийной силе войны, которая толкает всех вперед. В итоге продолжительной дружной работы с человеком у этих животных выработалось инстинктивное понимание трудности задачи и важности конечной цели; поэтому они и влекли возы так неутомимо, не дожидаясь ни грубых понуканий возчика, ни угрожающих взмахов стрекала. Медленная, тяжелая поступь этих благородных помощников и товарищей крестьянина, этих прекрасных, безмолвных и поэтических символов долга и труда, говорила об усердии и добровольном напряженном усилии. Как и их хозяева, они исполняли теперь свой солдатский долг, зная, что тянут уже не плуг.

Дядя Стоян, в вечной своей бурке, стоя с берданкой к ноге, следил глазами за этими бесконечными вереницами телег, не пропуская ни одной подробности. Волы, возчики, колеса, боковые перекладины телеги, разные оригинальные приспособления для более удобной перевозки грузов, созданные во время долгих странствий каким-нибудь изобретательным возчиком,— все это проходило перед наблюдательным взглядом маленьких Стояновых глаз, скрытых под нависшими бровями.

Порой он громко и резко, словно обращаясь к глухому, делал замечания:

— Эй, парень, заснул, что ли? Подбери недоуздок, а то вол наступит — того и гляди разорвет.

Или:

— Эй, дядя, ведро с дегтем потеряешь!

Сменившись на посту, дядя Стоян шел в землянку и с наслаждением грелся у огня в обществе товарищей. Разговор шел по большей части о событиях дня, и дядя Стоян снова корил неизвестных, теперь уже исчезнувших в пространстве возчиков за небрежность:

— У него воз, как пьяный, шатается. Да затяни ты его потуже, умная голова! Нешто в такую дорогу возы так увязывают?

В беседах о политике, которые часто велись в землянке, дядя Стоян участия не принимал.

Он сидел, понурившись, у очага, посасывая свою коротенькую трубочку и время от времени подпихивая головни в огонь.

Погода стояла дождливая, туманная. Солнце не показывалось по целым дням. Рассвет и сумерки наступали незаметно, и ночи казались невыносимо длинными. Часов тоже не было. Это не беспокоило дядю Стояна, привыкшего жить без часов, но один из его товарищей, деревенский лавочник, только и помышлял о том, как бы узнать, который час, и спрашивал об этом у каждого встречного.

Как-то раз дядя Стоян сказал ему:

— Я тебе не часы, а целый будильник достану!

Однажды он после смены вдруг куда-то исчез и вернулся только к вечеру.

— Вот вам будильник, ребята,— сказал он, улыбаясь во весь рот, и вынул из-под бурки большого петуха.

Они устроили для вновь прибывшего уголок в шалаше и каждый вечер запирали его там. Запирая, дядя Стоян приговаривал:

— Дай-ка заведу часы!

Точно в определенное время, ночью и особенно по утрам, отчетливый, звонкий голос петуха оглашал окрестность, сообщая старым солдатам, который час.

Однажды вечером перед землянкой остановился на ночевку большой обоз. Запылали костры, запела волынка, и пустынная местность оживилась.

Дядя Стоян пошел поговорить с возчиками, расспросить, откуда они, куда едут, узнать новости, посмотреть на телеги и скотину. Особенно понравились ему телеги.

— Видно, что не из наших краев,— сказал он.— Загорские: тамошней выделки. Чистая работа!

Он ходил вокруг телег, осматривая их со всех сторон, заглядывал снизу, дергая дроги, и одобрительно похлопывал по боковым перекладинам, словно какого-нибудь знакомого по спине.

Его внимание было привлечено одним ярко раскрашенным и покрытым резьбой ярмом. Когда он его рассматривал, смакующий жвачку вол, на шее которого было это ярмо, вдруг вытянул шею и дохнул дяде Стояну прямо в лицо.

— Э, да ведь это Белчо... Наш Белчо! — в радостном волнении воскликнул дядя Стоян.— Узнал ведь, узнал меня. Жена писала, что его реквизировали, и я подумал: прощай, никогда больше не увидимся. Ан вот он. Ах ты, милый, дорогой мой Белчо!

Дядя Стоян, присев перед волом на корточки, стал нежно гладить и почесывать ему лоб. Животное вытянуло вперед влажную морду и положило ее на колено старому другу.

— Узнал меня, голубчик! Скотина, а узнала,— промолвил дядя Стоян, обращаясь к обступившим его возчикам.

Тут подошли и товарищи Стояна.

— Вот тот самый Белчо, о котором я вам рассказывал, помните? — объяснил он.— Видите, ко мне в гости пришел; а я уж думал, никогда его не увижу! Славная скотинка, прáвда? А тягач-то, тягач какой!

Стоян опять стал гладить вола.

— Милый Белчо, значит, и ты попал на войну? Что ж, он и тут справится. Эй, парень,— обернулся он к возчику,— ты ухаживай за скотинкой, слышишь? Ну-ка дай сюда скребницу!

Взяв железный гребень, он принялся чистить своего гостя, доставившего ему столько радости.

— Встань, Белчо, встань! Вот так. Подыми-ка хвост! У, да какой же ты грязный!

И, говоря ему разные ласковые, нежные слова, дядя Стоян внимательно, заботливо вычистил его, вычесал и обмахнул метелкой. Потом достал отрубей, замешал их в теплой соленой воде, подставил к морде, а сам отошел в сторонку — смотреть, как тот будет есть. Усталое животное с благодарностью принялось за еду, а наевшись, облизнулось и устремило свой кроткий взгляд к другу, все время вертевшемуся около него.

— Ага, понимаю: тебе, видно, холодно,— сказал дядя Стоян и поглядел на прозрачно-ясное небо, где мерцали холодные звезды.

Он снял с себя бурку и покрыл ею вола.

— На-ка вот, согрейся! Ты ведь у меня в гостях и не должен мерзнуть. Да, милый, вот оно как: мы помним добро.

Давно наступила ночь. Старые солдаты уже спали возле очага в землянке, а дядя Стоян все ухаживал за своим дорогим гостем.

Он вернулся поздно и до утра не мог заснуть. Душа его, взволнованная радостной встречей с Белчо, была полна чудных, нежных воспоминаний о доме, о детях, о земле...

Утром он встал, не дожидаясь раннего крика петуха, и опять отправился ухаживать за Белчо.

Когда обоз тронулся в дальний путь, дядя Стоян пошел рядом со своим Белчо и проводил его, докуда было можно. А при расставании остановился, погладил его и поцеловал в лоб.

— Прощай, мой Белчо!

Потом обернулся к возчику.

— Слушай, парень, ты хорошенько ходи за скотинкой — и бог вам в помощь!

Потом полез за пазуху, достал откуда-то из глубины кошелек, развязал его, вынул двугривенный и протянул парню.

— Возьми вот, пропустишь чарочку,— да смотри как следует ухаживай за волом, чисти, корми его.

Обоз был уже далеко, а дядя Стоян все смотрел ему вслед. К товарищам он вернулся опечаленный, словно расстался с самым близким человеком.

1915

СЫН

Дед Никола плачет от счастья. Он покорно хлебает острую фасолевую похлебку, шмыгает носом и старается скрыть слезы, которые подступают все сильней и готовы хлынуть по его доброму, морщинистому, небритому лицу. Холодный туман лег на город, моросит мелкий дождь. В помещении постоялого двора муравейник. Крестьяне сидят за столами, пьют, едят, шумят. Дверь поминутно отворяется, входит и выходит народ, женщины с детьми на руках, закутавшись в кожухи, завернувшись в плащи. Дед Никола, ослабев от счастья, не слышит шума, не видит никого. Только время от времени заказывает еще вина и, не зная, что сказать сыну, повторяет:

— Как я рад, сынок, как я рад, что мы свиделись. Ты будто с неба ко мне упал. Легко сказать: десять лет; ты

мальчонкой был,— с тех самых пор ни весточки от тебя. Не приди я нынче на ярмарку, как знать, привелось ли бы еще увидеться.

Сын его Стоян, навалившись на стол, ковырял шляпку торчащего из столешницы гвоздя и, плотно закрыв рот, надул щеки. Он здорово наелся и теперь опрокидывал рюмку за рюмкой, беспокойно ерзая на стуле и уносясь мыслями куда-то далеко.

— Где ты пропадал, сынок? Столько лет. Слышим — то ты в Америке, а то в придунайских городах. На селе толковали, будто и в тюрьме побывал, а потом — будто помер. Думали уж панихиду служить. Где ни начнем разузнавать, кого ни спросим — ничего не известно.

У деда Николы дрогнул голос. Он замолчал. Родительский взгляд его обнимал сына с ног до головы, ласкал его, радовался ему.

Стоян избегал говорить о себе. Он то надвигал истрепанную кепку на лоб, на самые глаза, то сдвигал ее на затылок, так что из-под нее показывались немытые, сальные, слипшиеся от пота космы. Рубашка на нем была грязная, потертый галстук сзади вылез из ворота и охватывал прямо голую шею.

— Иссохла от горя мать твоя, сынок, все глаза выплакала, бедная. Хоть бы дал о себе весточку. Письмецо бы прислал. Измучились мы, сынок,— продолжал с глубоким вздохом старик, и слова его потонули в слезах.

Вошел жандарм; подойдя к стойке, он что-то спросил у корчмаря, выпил водки и, окинув взглядом присутствующих, опять ушел.

Стоян вынул из кармана какую-то бумагу, натянул кепку на глаза и, склонившись к самому столу, углубился в чтение.

Дед Никола заметил это, поглядел на сына, на жандарма, но прогнал скверную мысль.

И опять сердечно, простодушно продолжал:

— Ты не сердись, сынок, а только мы плохое слышали. Нам стыдно было, сынок...

Стоян промолчал, улыбнувшись. Но улыбка была невеселая.

— Раз пришли жандармы в село, стали тебя искать. Весь дом перерыли. О какой-то краже толковали. Будто вы гдей-то кассу ограбили.

— Ерунда,— промолвил Стоян, наклонившись.

— Такие слухи, сынок.

— Все врут, папаша,— кисло возразил Стоян.— Я бо-

рюсь за правду. Этот прогнивший мир должен погибнуть. Один все имеет, живет по-царски, а другой с голоду дохнет. Где же правда?

Старик заморгал, глядя на сына: он не понял.

— Верно, верно, сынок. Она, правда-то, в человеке. Коли в тебе она есть, значит, есть и на свете. А в тебе нету — и нигде нету.

Тяжелое тело Стояна задвигалось на стуле. Он наклонился и плюнул на пол.

— Ну, да ладно. Не нам свет поправлять,— продолжал старик.— А вот встретились, повидались... Так бросим насчет правды и кривды, а пойдем-ка на село. Порадуй мать. Да останься с нами, перейми хозяйство. Я уж стар стал.

Стоян сунул руки в карманы и расправил плечи в изношенной тесной одежде.

— Так, папаша, и будет; а только сейчас не могу.

— Хоть денька два побудь, сынок. Чтоб мать порадовалась. Дома покажись.

— Не могу, папаша. Какое! Я здесь по срочному делу. На фабрике служу, там... под Кюстендилом. Хозяин на ярмарку меня послал — лошадь покупать. Ну, я купил, и теперь, значит, отвести ее надо.

— Эх, сынок, разлюбил ты нас совсем. Хорошо еще, подошел ко мне. А то я бы тебя и не узнал,— промолвил с горьким вздохом старик.— Вот идти не хочешь. А ведь мне пора, чтоб к утру вернуться. Погода плохая, да и деньги у меня. Скотину продал, чтоб не кормить зимой.

Дед Никола расплатился, завязал свою сумку, встал, накинул бурку.

— Так, сынок. Не хочешь, значит, домой пойти вместе,— промолвил он, обращаясь больше к самому себе.

Глаза у него опять налились слезами. Он подал сыну руку.

— Что ж, с богом, сынок. Прощай. Господь тебя сохрани!

Стоян тоже встал.

— Погоди, папаша, я тебя провожу немного. Я ведь тоже рад, да дело, понимаешь, такое. Нынче никак не могу. Постараюсь в другой раз.

Они вышли.

Непроглядный густой туман наполнял улицы. Моросило. На земле — грязь.

По дороге Стоян разговорился. Он служит. Получает хорошее жалованье. У него лежит немного денег в банке. Когда накопится кое-какая сумма, он вернется в село.

Только вот преследуют его за то, что он боролся против неправды, заступался за бедных.

Старик шел, ссутулившись, молча, с умилением слушая эти речи и время от времени щупая у себя на груди то место, где у него были за пазухой деньги.

Стояла пронизывающая сырость, и Стоян шагал съежившись, засунув руки в карманы брюк; пальто у него не было. Штиблеты были в грязи, дырявые и пропускали воду.

Выйдя за город, отец с сыном долго шагали по грязному шоссе.

Наконец дед Никола остановился.

— Ну, ступай назад, сынок. Что тебе грязь месить? А я тут через луга, напрямик возьму. Туман стал реже, теперь не страшно.

— Да вот пройду немного дальше и поверну обратно; еще рано,— возразил Стоян.

Они свернули на луг. Пошли быстро, молча по мокрой траве, обходя лужи. У ольховой рощи вышли на проселок.

Тут остановился Стоян.

— Ну вот, теперь пойду обратно.

Отец, раздвинув бурку, протянул ему руку на прощанье.

Вдруг он почувствовал, что сильные, железные руки сына схватили его за горло и повалили на землю.

Кровавый туман застлал ему глаза. У него перехватило дыхание. Что-то тяжко навалилось на грудь; он хотел крикнуть и не мог. Потом то теплое, что сжимало ему шею, исчезло. Холод пробрал его до мозга костей; он открыл глаза и понял, что лежит в грязи. В кромешной ночной тьме не видно ни зги.

Старик потер глаза, попробовал встать на ноги, но это ему не удалось. Страшная мысль пронеслась в голове его. Он пощупал за пазухой: жилет оказался расстегнут; денег не было.

«Хоть бы сон, хоть бы сон!» — подумал он, сделал усилие встать, поднял голову и, опираясь на руку, сел. В груди была какая-то страшная тяжесть. Он еле дышал. Холодная сырость привела его в чувство. Он вспомнил все. И все понял.

— Лучше б он убил меня. А теперь как жить?

Дед Никола закрыл лицо руками и горько, отчаянно зарыдал.

1922

ТОТКА

Светало. Село только что проснулось, и по дворам кое-где уже мелькали хлопотливые хозяйки.

Тетка Тодорана со своей пятилетней внучкой Тоткой, державшейся за ее подол, вошла в село с верхнего конца и, только вошла, закричала:

— Вот кизил, кизил! Кому кизила? Кизил на пряжу конопляную меняю!

Тотка, шедшая задумчиво рядом, держа ручонку за пазухой, вздрогнула от крика бабушки, вынула руку и уронила на землю черствую краюху хлеба. Подняв обмотанную старым желтоватым платком головку, она поглядела на бабку. Та закричала еще громче:

— Вот кизил, кизил! На пряжу меняю!

Не обращая внимания на ребенка, женщина шла и кричала; а девочка, не то от испуга, не то от конфуза, прижалась к ней еще ближе, опять спрятала ручку за пазуху и засеменила-засеменила ножками в грубых ременных лапоточках.

Крик тетки Тодораны разносился по всей сонной улочке, вспугнув несколько воробьев, усевшихся на осыпанном полóвой плетне. За ближайшими воротами зарычала собака.

На селе только кончили обмолот. Кровли, изгороди, деревья — все покрывала мелкая пыль половы, а дороги и дворы были усыпаны соломой.

Тетка Тодорана шла себе полегоньку, медленной, спокойной, неторопливой походкой, и кричала. Это была сытая, дородная женщина, с круглым животом, открытым лицом почти без морщин, спокойными живыми глазами и без платка на голове. Нечесаные волосы ее тоже были полны половы и соломинок, упавших с деревьев на пути. Старый узкий сарафан, облепленный заплатами с грубыми нитками швов, еле вмещал ее толстое тело; большая грудь распирала нашивки грязной рубахи.

— Вот кизил, кизил!.. Вставайте, лентяйки, кизил продаю,— выкликала она, поправляя висящий на спине тяжелый мешок.

Крики ее разбудили народ. Из калиток повылезали бабы, босые, без платков, в рваной одежде, сунув руки за пазухи. Сбежались ребята.

Все двинулись гурьбой за теткой Тодораной.

— Что у тебя, тетка Тодорана?

— Кизил, кизил... горный кизил. На пряжу меняю.

На площади тетка Тодорана остановилась и опустила свою ношу на землю у каменной церковной ограды.

Тотка встала около нее, сжавшись от испуга перед всеми этими незнакомыми людьми и стараясь спрятать голову бабке в колени.

Появились бабы и молодухи с мотками пряжи. Тетка Тодорана стала отмеривать им кизил зеленой тарелкой.

— Чего девчушка дрожит? — спросил кто-то.

— Озябла, да и уморилась. С ночи в пути-то.

— Да зачем ты потащила ее, горькую?

— Отдаю, милые, отдаю. Сиротой осталась, без отца, без матери, смотреть некому. Отдаю добрым людям. Может, найдется какая бездетная, сделает доброе дело — себе возьмет.

Тотка слушала, что говорит бабка, и не понимала. Но какой-то страх овладел ее существом, и она еще тесней прижалась к ней.

— Может, возьмут какие бездетные, приютят. Дитё ласковое, умное, послушное... Ну, дадут там чего — ржи, кукурузы либо шерсти, чего найдется,— сама-то я одинешенька, негде взять.

— Замуж иди, тетка Тодорана, не старая ведь еще. Лицо-то будто у девушки,— поддразнил кто-то.

— И пойду,— отчего не пойти? Ищи жениха,— весело, спокойно ответила тетка Тодорана и снова принялась выкликать: — Вот кизил! Кизил на пряжу меняю... И дитё отдам.

— Ах, какая хорошенькая... Глазки какие. Милушка,— воскликнула одна молодуха и протянула руку — погладить.— Как тебя звать?

Тотка спрятала лицо под руку к бабке. И от страха заплакала.

— Не плачь, не плачь, миленькая,— участливо продолжала молодуха.

— Известно, ребенок,— сердито, равнодушно отрубила тетка Тодорана. И почти закричала на молодую женщину: — Бери, бери, молодка. Коли нету детей, бери!

— Ну вот, Стояница,— вмешалась одна из присутствующих.— Вы ведь хотели приемыша взять, а его прямо тебе и привели.

— Да не знаю, что Стоян скажет, бабушка Дойна. Он мальчонку хотел.

— Мальчонку! Да на что тебе мальчонка! Пьяницей станет, все именье пропьет. Бери девчонку — ласковая бу-

дет, послушная. Семейству радость. Тебе помощница. В дом счастье принесет...

Красная, смущенная молодуха выбралась из толпы, перебежала через площадь и скрылась за углом.

— Знаешь, Тодорана, Стояница — добрая. Дитю у ней хорошо будет, коли возьмет.

Слыша эти разговоры, Тотка заливалась слезами, уткнувшись в колени бабке.

— Не плачь, дурочка,— подтолкнула ее та.— Не плачь. У тебя мать будет. Слышишь? Любить тебя станет.

— Не хочу, не хочу,— простонала в ответ маленькая.

Скоро Стояница привела мужа.

Стоян нежно взял девочку за руку и хотел было повернуть ее лицом к себе, чтоб посмотреть, но она отдернулась и заревела еще громче.

Тетка Тодорана раздала весь кизил.

— Пойдем к нам,— сказал ей Стоян.

Тодорана подняла сумку с выменянной пряжей и взяла Тотку за руку.

— Пойдем, пойдем, детка! В гости пойдем.

Девочка, крепко ухватившись за сарафан бабки, пошла.

Стояница на ходу погладила ее по головке, стала ее уговаривать:

— Не плачь, миленькая. Побудешь у нас дня два-три. Всего два-три дня побудешь моей дочкой. Я тебе хорошую новую одёжу справлю, башмачки, платок новый куплю, бусы куплю, браслетку...

Тотка перестала всхлипывать и прислушалась было к теплым, ласковым словам незнакомой тети, но потом опять заплакала.

Пришли к Стояну в дом, чистый, прибранный. В очаге весело горел огонь. Стояница подала Тотке и ее бабке пестрые подушки. Просила садиться.

Тотка немножко успокоилась; все еще держась за сарафан бабушки, она подняла полные слез глаза и осмотрелась.

— Ну как? Хорошо у нас? — приветливо спросила ее Стояница.

— Хорошо,— ответила сквозь слезы Тотка.

— Хочешь погостить у нас два дня?

— Не хочу.

Между тем Стоян, слегка улыбаясь и немного смущенный, сидя в стороне, беседовал с теткой Тодораной.

— Всего нам господь послал, а вот порадоваться-то не на кого.

— Вы сиротке добро сделаете, Стоян. Вас бог за это наградит,— ответила тетка Тодорана.

И обернулась к девочке:

— Послушай, Тотка, деточка. Побудь у дяди с тетей. Бабушке по делу надо. А обратно пойду, возьму тебя.

— Баба, не уходи,— вскрикнула Тотка.— Ба-а-ба, бабушка, не уходи! Пойдем домой.

— Бедняжечка моя! — прослезилась Стояница.

— Привыкнет, милая. Дети быстро привыкают. Бери ее, уведи в горницу-то!

Стояница взяла девочку на руки, прижала к себе и унесла.

Тодорана подхватила свою ношу и быстро вышла.

Тотка подняла крик. Чуть коснувшись своими маленькими ручонками нарядной одежды Стояницы, она тотчас отдергивала их: они искали старую рваную одежду бабки.

Объятья Стояницы, столько лет жаждавшей теплого детского тельца, были полны нежности, окружали ребенка материнской теплотой. Она качала девочку на руках, и прямо из глубины души ее вырывались ласковые, нежные, милые слова, которых она никогда никому не говорила.

Это успокоило девочку. Усталая, измученная рыданиями, она, всхлипывая, прижалась щекой к щеке незнакомой доброй тети и, убаюканная никогда до тех пор не слышанным сладким шепотом, уснула.

1935

СЛУЧАЙНО ОБРОНЕННОЕ СЛОВО

Доктор Харалампий, как называл его весь город, накануне, по обыкновению, играл в карты со своими постоянными партнерами, вернулся домой в два часа ночи и спал до десяти.

Проснувшись, он еще долго лежал в кровати, потом не спеша встал, облекся в плюшевый халат и уселся в кабинете просматривать газеты, которые служанка клала всегда на одно и то же место.

Доктору давно перевалило за пятьдесят, сейчас он приближался к шестидесяти, хотя, как любил говорить, не слишком с этим торопился. Последние десять лет жизнь

его текла размеренно и спокойно, подчиненная, как у всех старых холостяков, одним и тем же, давно установившимся привычкам. Отец оставил ему недурное состояние, так что заботиться о хлебе насущном не приходилось. У него был кабинет, имелась и табличка на дверях с указанием часов приема, но пациентов не было, да он и не старался их приобрести. Медицина давно перестала его интересовать. Больные внушали ему отвращение, и он предпочитал не иметь с ними дела. Поэтому старался поменьше бывать дома, а если и оставался, то всегда приказывал служанке говорить, что его нет.

Доктор Харалампий тщательно следил за своей внешностью. Костюмы у него были превосходные, и он часто менял их. Особенную слабость питал он к галстукам, это стало у него просто манией. В гардеробе висели сотни галстуков, один оригинальней другого. День доктор проводил большей частью в клубе, ужинал неизменно в одном и том же ресторане, с одними и теми же людьми, среди которых были и знаменитости. Круглый стол, который они облюбовали, был озарен блеском их славы и пользовался большой популярностью у посетителей. После ужина доктор шел к кому-нибудь из знакомых и там до поздней ночи играл в карты.

Жизнь однообразная, серенькая, лишенная красоты и движения, зато спокойная...

Только доктор раскрыл газету, как вошла служанка.

— К вам какая-то женщина.

— Какая женщина? — поднял голову доктор.— Почему ты не сказала, что меня нет дома?

— Она так настаивала. С самого утра ждет у дверей.

— Ладно, впусти ее,— равнодушно сказал доктор.

Скоро дверь осторожно приоткрылась, и в кабинет тихо, робко вступило бедное, жалкое, обтрепанное существо — женщина с волосами неопределенного цвета, в черных очках и поношенном желтоватом пальто. В руках у нее был большой букет белых и красных гвоздик.

Она нерешительно остановилась в дверях. Рука, державшая гвоздики, дрожала. Худое лицо искривила странная, виноватая улыбка.

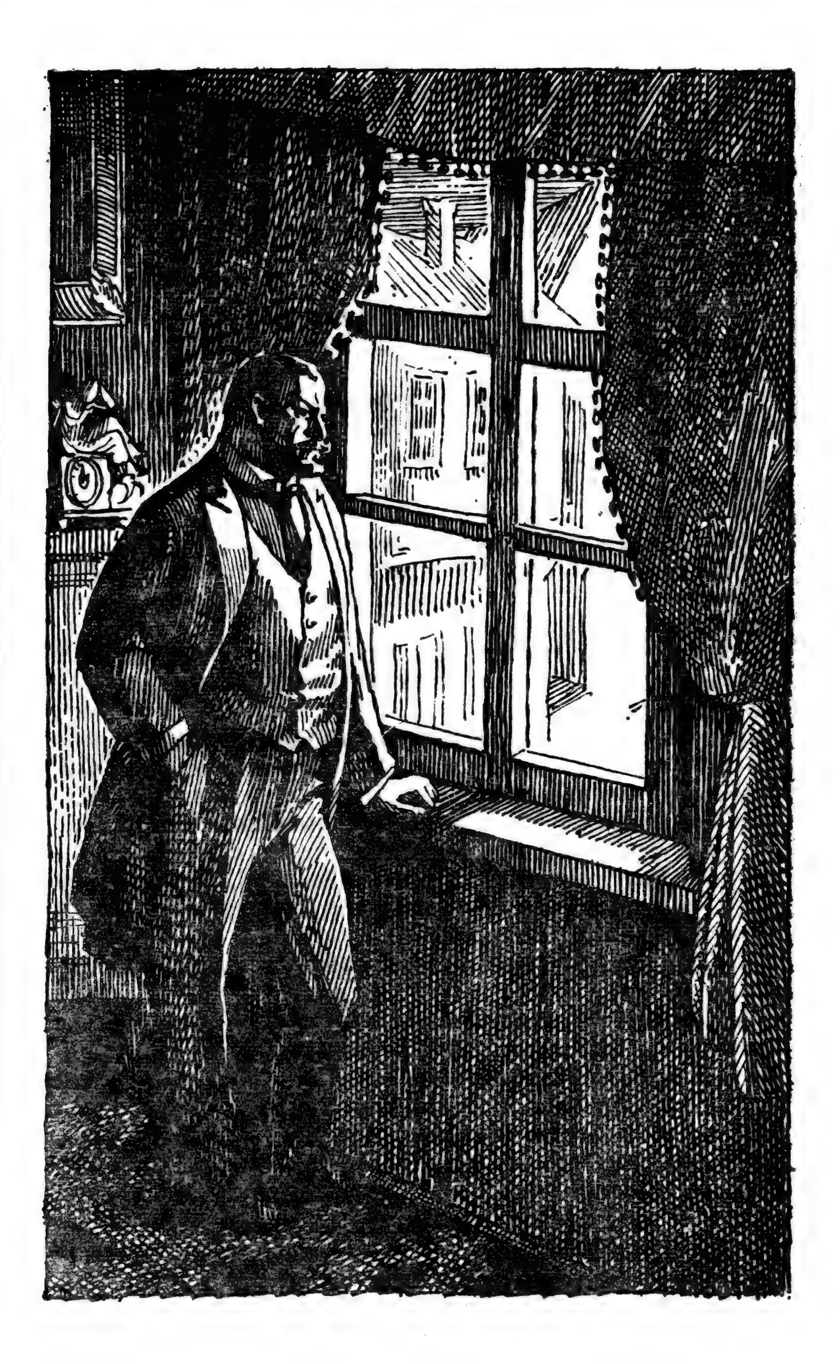
— Что вам угодно? — холодно спросил доктор.

— Простите, я, может быть, слишком рано,— пробормотала женщина и опять виновато улыбнулась.

— Садитесь.

Доктор указал на стул.

Она смущенно села на краешек. Черные очки ее были



устремлены прямо на доктора, гвоздики прыгали в руках, словно их трепал ветер.

— Вы больны? Что с вами? — заметив ее растерянность, спросил доктор.

— Простите, доктор, я здорова. Но сегодня ваши именины, и я пришла поздравить вас и преподнести этот скромный букет.

Она резко встала и протянула ему цветы.

Доктор совсем забыл про свои именины. Такое необычное напоминание показалось ему забавным. Он с легким поклоном взял букет и сказал:

— Очень мило с вашей стороны. Спасибо, что напомнили об именинах; я совсем забыл.

— Меня вы тоже, должно быть, забыли,— промолвила женщина.— А я помню вас и никогда не забуду. Я — Надя... Надежда Николова.— И она опять улыбнулась.

— А, да, да... Очень приятно. Садитесь, пожалуйста.

Это было сказано просто из вежливости,— имя гостьи решительно ничего не говорило доктору. Тщетно старался он припомнить, кто она такая.

— Нет, вы не можете помнить, я знаю. Ведь это было больше двадцати лет тому назад. Вы тогда только что кончили университет и вернулись из Европы. Мне в ту пору было шестнадцать лет. Мы с сестрой поехали на прогулку в горы, в одной компании с вами. Помните, тогда еще была гроза? Ужасная гроза. Никогда не видела я ничего страшней. Но это самое лучшее воспоминание в моей жизни. Гроза разогнала нас в разные стороны, все попрятались кто куда. Помните, сверкали молнии, удары грома раскалывали небо. Вы схватили меня за руку, и мы вместе укрылись в какой-то пещере.

— Хм, что-то такое припоминаю,— пробормотал доктор как во сне.

— Конечно, для вас это только «что-то такое», но для меня в этом воспоминании — вся жизнь. Я тогда прижалась к вам, вы обняли меня и сказали: «Как вы хороши, Надя... Я люблю вас...» Потом мне никто уже не говорил таких слов. Все мои близкие умерли, я долго болела, ослепла на один глаз. Мне не удалось окончить гимназию. Пришлось жить у людей из милости, работать на других, пойти в прислуги, гнуть спину; я огрубела, подурнела. Но никогда я не приходила в отчаяние, покорно несла свой крест. Было что-то, что меня поддерживало. Это были чудные слова, которые вы мне тогда сказали. Я провела с ними всю молодость, они помогли мне перенести болезнь,

все муки и унижения. Они согревали меня, укрепляли, поддерживали... Чудные слова, которые я услышала тогда первый и последний раз в жизни. Как я вам благодарна!

Женщина умолкла.

— Вспоминаю,— пробормотал доктор, испытывая неприятное ощущение от напрасных усилий вспомнить что-то незначительное и давно забытое.

Гостья встала.

— Мне ничего от вас не надо, доктор. Скажите только, вы искренне говорили тогда? От души?

Она заплакала. Доктор смотрел на нее, и первый раз в жизни сердце его дрогнуло от жалости.

— Да, да, конечно,— ответил он.— Я все прекрасно помню и часто вспоминаю эту прогулку. Да, я сказал это от всей души. Вы были так прелестны, что я сразу полюбил вас. Как жаль, что мы с вами не встретились больше.

— Спасибо, спасибо, я счастлива и буду благословлять вас до последнего вздоха.

Она направилась к дверям.

— Простите, если я вам помешала. Прощайте!

Она быстро открыла дверь и вышла.

Оставшись один, доктор Харалампий подошел к окну и выглянул на улицу. Надя Николова, маленькая, жалкая, как брошенный окурок, никому не нужная, шла по мостовой и счастливо улыбалась. На миг она остановилась, обернулась, посмотрела сквозь свои черные очки на дом и пошла дальше.

Доктору показалось, что он впервые видит вот эту улицу, на которой дома по одну сторону сейчас в тени, а по другую освещены солнцем. Улица эта, по которой он проходил каждый день, как слепец, теперь оказалась для него неизвестным путем, ведущим к другой, подлинной жизни, полной, интересной, насыщенной добром и злом, жгучим страданием и неизведанным счастьем. А он стоит так далеко, далеко от нее, затворившись в своем одиноком доме, безучастный ко всему, как мертвец.

1933

ЛАБОРАТОРИЯ

Село проснулось в тумане. В густом осеннем тумане, покрывшем все, повисшем лохмотьями на крышах, на деревьях, на колючем кустарнике изгородей.

Николай Сенов вышел на галерею своего дома и посмотрел по сторонам. При виде непроглядного тумана, в котором все потонуло, на лице его появилась горькая гримаса. У него стало еще тяжелее на душе.

Николай Сенов восемь месяцев тому назад вернулся из-за границы, где кончил на химика. Два месяца провел он в столице в поисках работы и вчера вечером вернулся домой в отчаянии.

Он не жалел энергии, сделал все, что может сделать человек с отличным дипломом в руках, с блестящими рекомендациями от своего пользующегося европейской известностью профессора, чтобы поступить на службу,— но безрезультатно. Мало этого: он унизился до того, что просил рекомендации у только что пришедших к власти видных политических деятелей. Ходил даже кое к кому из министров. Все напрасно.

Он вернулся униженный и оскорбленный, кинул диплом в шкаф, где у него стояли книги, купленные когда он еще учился в гимназии, не стал ужинать, ничего не сказал домашним и лег мрачный.

Утром такой же мрачный встал. Красивое и умное юношеское лицо его было печально. Улыбка, всегда его озарявшая, пропала. И вот теперь, потеряв всякую надежду, он стоял на галерее бедного деревенского дома, глядя в густой туман, непроницаемый, как его будущее.

Что же делать?

Два месяца тысячу раз повторял он этот вопрос, повторил его и теперь — но ответа не было. Ответом был всюду простиравшийся непроглядный туман, в котором терялось все.

Вышел из дома старый отец со своим вечным кашлем и исчез где-то во дворе.

Николай Сенов прикрыл глаза рукой.

«Стыдно старика. Кругом в долгах из-за меня, хозяйство и здоровье свое расстроил, а что получилось? Как оправдываются его надежды, которыми он жил до сих пор?»

В памяти Сенова замелькали унизительные, обидные эпизоды последних двух месяцев, когда он, среди сотен других таких же искателей мест, подолгу стоял у дверей министерств и входил как проситель в кабинеты разных начальников. В то же время он вспомнил, в каких красивых, светлых, просторных, отлично оборудованных университетских лабораториях работали он и его товарищи, облачившись в длинные чистые белые халаты.

Какие чудные годы провел он в этих прекрасных лабо-

раториях! И все же — так спешил окончить курс. Ему хотелось поскорей на работу, в жизнь, которую он в своей юношеской наивности представлял себе какой-то светлой, просторной лабораторией, где царят тишина, живая жажда знаний и спокойный труд.

Но жизнь оказалась лабораторией совсем другого рода — грязной, неприветливой, беспорядочной. Нет здесь спокойных любознательных работников, сосредоточенных иследователей. Здесь алчные, злые, необщительные, нечестные и серые люди протягивают руки, стараясь вырвать друг у друга кусок изо рта.

Что же делать?

Николай Сенов пошел в дом. Мать, хоть и старая женщина, проворно хлопотала возле очага, что-то приготовляя.

Увидев мрачное лицо сына, она попробовала развеселить юношу разными шутками насчет здешних девушек. Николай остался мрачен по-прежнему. Он даже не слушал ее.

— А я тебе вкусное блюдо готовлю. Ты его маленьким очень любил. Но не скажу какое,— продолжала она.

Николай поглядел на часы.

— Нет, мама,— сказал он.— Я не буду обедать. Пойду схожу в Листово.

— По такому туману, сынок?

— Ничего, это близко. Повидаю друзей.

— К учительнице? — весело спросила мать.— Она приходила к нам. Очень мне нравится.

Николай ничего не сказал, оделся и ушел.

Он попал в Листово к обеду и отправился прямо в школу, где у него были старые знакомые — учителя. Оттуда с несколькими из них пошел в корчму, в которой они обычно обедали. В Листове тумана не было. Здесь сияло яркое осеннее солнце, и у Сенова стало легче на душе.

В корчме за одним из столиков сидел агент Лолю с пятью сельскими парнями. Все были пьяны. Лолю что-то громко говорил, но при виде входящих учителей замолчал и нахально уставился на Цвяткову.

— Как неприятно,— заметила она как бы про себя и увела спутников к другому столику, в дальний угол.

— Ишь, ишь, учителя. Интеллигенция. Даже не здороваются,— вызывающе бросил Лолю.

— Мы поздоровались, Лолю, да ты внимания не обратил,— шутливо заметил один из учителей.

Учительница опустила голову.

— Кто это такой? — тихо спросил Николай.

— Не здешний,— ответил один из учителей.— Агент какой-то. Организатор, от наших новых правителей. Назначает на должности, дает рекомендации и пьет. Каждые два-три дня обязательно здесь торчит. Вот Цвяткова может еще кое-что добавить,— сказал он, смеясь.

Цвяткова сконфуженно опустила голову.

— Что же я могу добавить? Отвратительная личность. Грозится меня уволить. Пишет мне глупые письма.

Сенов поднял голову и с презрением поглядел на пьяного агента.

— Что ты на меня смотришь? — обернулся к нему Лолю.— Ты на нее смотри. Ведь ради нее пожаловал... Думаешь, не знаю? Поздравляю, мадемуазель Цвяткова. Наконец-то долгожданный гость приехал. Ура!

Сенов вскочил, но сидевший рядом учитель удержал его.

— Молчи, Николай. Будешь иметь неприятности. Лучше уйдем отсюда.

— Пойдем домой,— сказала Цвяткова.— После обеда занятий нет. Посидим у меня.

Они поспешно встали и вышли вместе с Сеновым, который дрожал от гнева. Вслед им послышался циничный смех и угрожающее рычанье.

Сенов шел молчаливый, гневный, опустив голову. Этот случай вызвал в нем отвращение. Он опять вспомнил прекрасную университетскую лабораторию и увидел себя там, среди своих молодых товарищей, стоящих рядами в белых халатах вдоль длинных мраморных столов, загроможденных ретортами, пробирками и всякими инструментами. Со стеклянного потолка льется приятный, мягкий матовый свет. Слышится легкий шум работы, мелькает симпатичная, бодрая фигура старого профессора. А тут?

Цвяткова шла рядом с ним. Она видела его задумчивое, печальное лицо и слегка коснулась его руки.

— Не обращай внимания, Николай. Здесь это — дело обыкновенное. Испортился народ, да что поделаешь. Пойдем к нам. Мне надо многое тебе рассказать. Господи, ведь ты меня совсем забыл.

— Мне обидно,— сказал Сенов.— Обидно и стыдно. Как будто я увяз в каком-то грязном болоте.

— Ты в плохом настроении. Это пройдет.

Сенов с учителями долго оставался у Цвятковой. Осенний день кончился. Учителя разошлись. Поднялся и он.

Было уже темно, и туман, окутывавший с утра его село, теперь лежал и здесь.

Ольга Цвяткова проводила его до калитки.

Сенов поднялся по узкому переулку, миновал разрытый овраг, по которому тек мутный ручеек, и вышел к садам. Отсюда через холм шла дорога в его село. Было темно. Туман как будто еще сгустился, и Сенов с трудом различал дорогу. Но бодро шел вперед. После встречи с Цвятковой в душе его снова проснулась светлая надежда.

Когда он проходил мимо последней садовой ограды, из-за густых сливовых деревьев на дорогу вдруг с криком: «Стой!» — выскочили несколько человек, вооруженных дубинами.

Сенов, вздрогнув, остановился. Он не успел опомниться, как получил несколько ударов по голове и упал.

Лежал он долго. Наконец пришел в себя, поднял голову, сел. Уже совсем стемнело. На селе лаяли собаки. У него кружилась голова.

Он ощупал свое лицо. Оно было все в липкой запекшейся крови. Он тотчас встал. Постоял, подумал было вернуться в Листово, чтоб ему оказали там помощь, но в конце концов пошел по темноте в свое село. Пока он подымался по крутому склону, туман все больше редел, и, поднявшись на равнину, Сенов увидел над собой высокое, ясное звездное небо.

У него подкашивались ноги, и он сел на краю дороги отдохнуть. Далеко впереди виднелись огни села. Ему стало холодно. Острая боль как раскаленным углем жгла ему темя; он положил руку на больное место, почувствовал слабость и лег.

В душе его не было ни гнева, ни ненависти, никаких злых чувств. Там собралась в комок обида, скопившаяся в груди его, как страшная, мучительная жажда, которую невозможно утолить. Обида и стыд.

Им овладела какая-то легкая, сладкая дремота. Он попробовал встать, но она не позволила.

Ему показалось, что он лежит на мраморном столе в лаборатории, под громадной лупой, в которую его подробно рассматривает старый профессор, переворачивая пинцетом. Вокруг, у столов, в длинных белых халатах сосредоточенно работают молодые люди. И все спешат, все думают о будущем. Каждому хочется поскорей кончить курс, пойти работать и стать первым.

1934

НАСЛАЖДЕНИЕ

Среди ровного поля, вдали от сел и дорог, на берегу большого болота, в скрытой землянке светятся два огонька от папирос. Двое, только что проснувшись, лежат и курят. Темно, душно. Железная времянка пышет теплом из угла. Один из лежащих повернулся, протянул руку в сторону, и в руке у него зашуршала соломенная подушка. В стене проглянуло маленькое, шириной с отверстие стакана, окошко, через которое влился мутный рассвет.

— Забрезжило,— тихо промолвил охотник, приникнув лицом к маленькому отверстию.

Товарищ его в свою очередь быстро и резко повернулся, открыл другое окошко и тоже приник к нему.

* * *

Зимнее утро раздирает туманные покровы ночи, и понемногу начинает поблескивать свинцовое небо, словно глубокое жемчужное зеркало, кое-где покрытое большими пятнами пара от застывшего дыхания тяжело ступающего дня. Широкое поле, усыпанное мелкими бриллиантами инея, сливается на востоке с темной дымчатой далью, отделенной от неба тонкой красной чертой. Над нею горит раскаленная верхушка облака, подобная острию гигантского ножа, накаляющегося все сильней и сильней.

В этой сияющей дали появились две черные точки, движущиеся ровно и параллельно светлой алой черте горизонта, танцуя в лазури между ней и раскаленным ножом титана-дня. Потом они исчезли, словно потонув в дымке на краю поля, но вскоре опять появились,— и легкий танец их чертит наклонные кривые на мягких и прозрачных фиолетовых облаках, неведомо откуда пришедших и остановившихся над нестерпимо раскаленным ножом.

И вот над слегка еще зелеными темными ивами, показывающими реке дорогу через поле, появляются рядышком две дикие утки.

Они летят ровно, вытянув шеи вперед, и полет их в холодном свежем просторе утра им так приятен. При каждом взмахе крыльев они слышат нежный звон, вызванный ломкостью морозного воздуха, и склоняют свои красивые шеи одна к другой. На блестящих серых перьях их крыл пляшут неуловимые отблески всех озер и небес, где они побывали.

Селезень летит немного впереди. Он ведет утицу. Внимательно оглядывает каждое пятно на хрустальном поле. На каждом замерзшем прудике видит тень своей подруги и делает маленький круг, чтоб взглянуть на нее еще раз.

Поравнявшись, они спускаются ниже, но тут же порывисто взвиваются вверх и снова устремляются вперед. Им уже виден край солнца. Первые розовые лучи его упали на снежную вершину дальней горы.

Обе птицы летят в ту сторону. Прямо туда. Они словно хотят пройти сквозь невидимые струи лучей и сесть на спокойную сияющую вершину горы. Но вдруг поворачивают опять на восток.

Солнце взошло. Страшный нож, стоявший над горизонтом, растаял, пропал. Бежавшие по облакам кровавые потоки иссякли. Все небо сияет.

Птицы чувствуют радостные, дружеские приветы земли. Они делают широкие круги над полем, возбужденно оглядываются во все стороны, спускаются, взлетают вверх и видят далеко-далеко за сверкающей поверхностью поля две тонкие черные полоски, над которыми подымается легкий пар.

Обе утки устремляются туда. Селезень забирает довольно сильно вперед, делает круг, возвращается навстречу подруге и летит, уже вместе с ней, к двум черным полоскам, похожим на две бархатные пиявки, лежащие на серебряной постели.

Что там такое?

Две речушки.

Текучие! А дальше? Огромное болото, поросшее гривами густого темно-золотого камыша, разубранного в иней. Среди камыша — обширные ледяные зеркала.

Оттуда к птицам долетают дружеские приветы, радостный зов их родичей, разносящийся далеко в замерзшем воздухе.

В болоте, там, где сливаются дымящиеся воды, плещут крыльями десятки этих родичей, радостно вытягивают шеи, ныряют.

Обе птицы счастливы. Они делают широкий поворот, легко спускаются и падают на воду.

* * *

Два охотника, хищно следившие через глазки́ землянки, вздрогнули. Крик и веселое кряканье птиц разбудили, взбодрили их. Напряженные лица обоих зарумянились от

солнца, залившего все вокруг. Глаза наведены на болото, словно дула заряженных ружей.

Две дикие утки, спокойно спустившись на теплую воду, остановились далеко друг от друга. Селезень — ближе к берегу, почти прямо подле подсадных уток, так коварно их подозвавших. Утица — дальше. Несколько минут они не двигались с места. Поле сверкало белизной. Небо прояснялось, и лазурь его становилась глубже. Длинный ряд больших синеватых ив за болотом тонул в розовой дымке.

Селезень поглядел на небо, поглядел на воду, подождал немного и тихо поплыл к утице. Потом повернулся к солнцу и стал быстро окунать в воду свою зеленую головку, словно кланяясь ему. По перу его переливались и плясали золотистые отблески. Утица забеспокоилась. Может быть, почуяла беду. Она как будто собиралась взлететь, но беззаботность друга удерживала ее.

Глухой удар грома грянул над водой. Утица поднялась в воздух. Одно крыло ее плохо работало. С трудом держась над болотом, она увидела, что друг ее спокойно, неподвижно лежит в воде. Она стала спускаться к нему, но вдруг почувствовала, что ее ожег какой-то тяжелый, страшный шум. Тело ее упало возле тела того, кто был ей ближе всех.

* * *

В одно мгновение из-под земли выросли два человека, взволнованные, возбужденные. Они издавали радостные клики, лица их были прекрасны и молоды. Один пошел по болоту, еще издали протягивая руки к двум застреленным птицам, лежащим друг возле друга, раскинув крылья, с окровавленной грудью.

А вокруг — так тихо, так свежо, так прекрасно, так спокойно и мудро.

1921

ГРЕХ

Жестокое это занятие — охота. Мне было всегда жаль прекрасных божьих тварей, которых я брал на прицел. Агония и кровь моих жертв часто вызывали во мне мучительные угрызения совести. И все-таки я убиваю. Увы,

проклятие природы, заставляющее нас взаимно уничтожать друг друга для продолжения рода, тяготеет и надо мной. Напрасно мы говорим, что человек — существо облагороженное. Нет, кровь его не очищена. В жилах современного человека она течет такая же, какая текла в жилах первобытных наших прадедов.

Мы охотились на диких уток. Ночью хорошо выспались в теплой удобной землянке, а утром чуть свет осторожно открыли маленькие глазки́.

Небо было чистое, ясное. Болото, кое-где покрытое тонкой корочкой льда, блестело, как серебряное. Вербы, обозначающие русло Искыра, стояли в инее. На замерзшей, заснеженной вершине Витоши играли первые лучи зари. Было холодно.

Привязанные перед землянкой подсадные утки приветствовали восходящее солнце криком, ныряя в ледяной воде. В звенящем от холода, прозрачном воздухе ничего не виднелось.

Мы долго смотрели во все стороны. Ничего.

Но когда я хотел уже закрыть глазок, далеко в воздухе из-за заиндевевших верб показалась черная точка.

Я сразу узнал: утка. Она летела прямо к нашему болоту и скоро оказалась над ним.

Подсадные утки подняли головы и резко, тревожно закрякали.

Дикая утка, даже не покружив из осторожности, как обычно, легко спустилась и села где-то на другом конце болота. И, не мешкая, быстро-быстро направилась к подсадным.

Я взвел курок, изготовился. Утка плыла прямо на меня.

— Не стреляй,— тихо сказал мне товарищ.— Вон летят еще две. Подождем.

В это время утка подплыла к подсадным. Стрелять было невозможно. Нырнув еще раз-другой, она оказалась у самого края болота, прямо под дулом моего ружья. Потом повертелась туда-сюда, спрятала голову под крылышко и заснула.

Другие две утки, покружившись некоторое время, так и не сели.

Я долго наблюдал за спящей перед глазком птицей. Она была так близко, что я мог бы достать ее рукой.

Она спала безмятежно и сладко. Видно, очень устала. Верно, потеряла подругу и всю ночь летала с болота на болото, разыскивая ее.

Я глядел на нее с жалостью и умилением. От нее веяло чистотой и покоем, и у меня было такое чувство, будто я смотрю на спящего ребенка.

Она была из темно-коричневых уток с желто-ржавой головкой и хохолком на лбу. Концы крыльев были в темных и изящно-сизых полосках.

Чтобы не будить ее, я полегоньку убрал ружье в землянку и тихо закрыл глазок.

Но, несмотря на нежность, которую вызвало во мне это милое, кроткое, красивое создание, какой-то голос твердил мне: «Нет, она не скроется. Она — твоя». И радостное волнение закипало в моей крови.

Кому принадлежал этот голос? Наверно, какому-то далекому предку, жившему три миллиона лет назад. Это его дух вселился в меня.

Товарищ мой, продолжавший наблюдать в глазок, взволнованно шепнул:

— Передо мной сели две. Выстрелим вместе: я по этим двум, ты по своей. Приготовься!

Рассудок вдруг покинул меня. Добрые чувства, только что меня волновавшие, исчезли. Во мне проснулся мой предок, живший три миллиона лет назад. С жестоким спокойствием я открыл глазок, тихо, осторожно просунул ружье, поглядел.

Дикая утка проснулась от кряканья подсадных или от паденья на воду ее сестер.

Подняв хорошенькую желтую головку, она всматривалась куда-то в даль.

Дуло ружья было в метре от нее. Я прицелился в голову.

— Раз, два, три! — подал команду товарищ.

Бумм!

Возбужденный, как дикарь, грохотом выстрела, я убрал ружье и поглядел наружу.

Маленькая красивая утка лежала на воде, раскинув крылья. Желто-ржавой головки не было вовсе.

Выстрел в упор оторвал и уничтожил ее.

Это было давно. С тех пор я убил много диких уток, но об этой вспоминаю всегда с искренней жалостью и считаю, что совершил большой грех.

1937

НАЧАЛО ДНЯ

Ночь еще не покинула горных ущелий. На вершины только что упал первый взгляд солнца, и клочья белого тумана, местами лежавшие на лесах, стали расходиться. В глубоких расщелинах между скал мутная река проснулась и зашумела громче.

Вместе с первым лучом, ударившим по утесам, на них появилась подвижная фигура человека. Он всполз, крадучись выпрямился и посмотрел по сторонам. В руке у него блеснуло стальное дуло ружья.

Испуганные его появлением, над утесами тучей взлетели голуби,— поднялись и скрылись в вышине.

Воздух огласился резким радостным криком. Откуда-то прилетел молодой соколок, закружил на неокрепших крыльях, затрепетал в воздухе, заклекотал. Живо и тревожно разнесся этот клекот в свежем утреннем воздухе, и маленькие птички кинулись кто куда по окрестным лесам. Один голубь метнулся, словно брошенный камень. Неожиданно разбуженный криком соколка, он спросонья полетел прямо на него. Молодой хищник взыграл в воздухе и бросился за ним.

Человек вскинул ружье. Но обе птицы были далеко, и он опустил его, не выстрелив.

Голубь в ужасе повернул и устремился к ближайшему лесу. Там он вдруг сделал резкий разворот, видимо испуганный чем-то еще, и вернулся опять к скале.

Но на ней стоял охотник, и металлический блеск оружия показался бедному голубю зловещим. Круто изменив направление, он спустился низко к глубокой, мутной реке.

Молодой сокол не испугался. Он еще не знал, что такое человек. Неодолимый инстинкт хищника гнал его к сизому голубю. Тонкий свист голубиных крыл возбуждал его. Он извернулся, сделал усилие и настиг свою жертву. Голубь с ужасом почувствовав его над собой, прижался к воде. Соколок — пулей к нему. Тогда голубь, который был опытней, проскользнув над самой водой, взвился ввысь. Соколок не сумел удержать своего стремления и упал с раскрытыми крыльями в глубокую мутную воду.

Грохот расколол тишину этого пустынного, затерянного в горах угла, и несколько громад перекликнулись между собой внятным эхом. Сизый голубь, избегнувший опасного преследователя, перекувырнулся в воздухе и упал мертвый почти к самым ногам охотника.

Река подхватила неопытного соколка. Напрасно махал он крыльями, стараясь вновь подняться в воздух. Ногам его не было опоры, и ледяные капли воды, разбиваемой крыльями, скатывались, как дробинки, по его перу.

Усталый, он отдался легким волнам, и вода медленно, спокойно понесла его. Но он не терял надежды, вертел головой во все стороны, и круглые глаза его не пропускали ни соломинки на воде. Он рвался изо всех сил, разевая свой изогнутый клюв, к тяжко нависшим над рекой скалам, словно прося их о помощи.

Наконец течение отнесло его к подножию одного утеса и прибило туда. Соколок, вскрикнув, ухватился за какой-то старый корень, полегоньку вылез и забился в ямку под камнем. Перед ним стелилась речная гладь, над ним — никакого простора, крылья мокрые. Соколок съежился, дрожа от холода и пережитого ужаса.

Откуда-то из ближнего леса послышался крик — жалобный, тревожный зов. Соколиха-мать искала своего слетка. Она пролетела над головой охотника, заграяла над противоположной стремниной, закружила над утесами, над пещерами, над пропастями. То опускалась к самой земле, то подымалась над всеми вершинами.

И оттуда, с вышины, материнский глаз ее узрел дрожащее детище, и сердце ее сжалось. Несколько пронзительных воплей пронеслось над скалами. Стрелой полетела она, полагаясь на свои сильные, искусные крылья, и пронеслась над рекой так низко, что задела воду лапами. Облетела своего неопытного соколенка и не нашла места, где сесть. Тогда стала взманивать его к полету. Но соколок был мокрый, испуганный. Он хлопал крыльями и пищал, не решаясь взлететь.

Она опустилась и клюнула его в голову. Соколок подскочил от неожиданности. И, увидев себя на крыле, полетел с радостным криком. Мать закружилась около него, вывела его из влажной тени утесов на чистый воздух, напоенный лучами, и радостные клики ее задрожали, как протянутые между вершинами гор золотые цепочки.

Еще раз страшный грохот расколол утреннюю тишину. Соколиха-мать опустила крылья и упала вниз.

Радостные клики умолкли. Окружные вершины еще раз обменялись между собой внятным эхом.

Над ними уже стояло солнце.

1921

ПОД МОНАСТЫРСКИМИ ЛОЗАМИ

Помянух дни древния, поучихся во всех делех твоих, в творениих руку твоею поучихся [1] *(псалом 142, стих 5).*

ОТЕЦ СЫСОЙ

С вашего позволения я скрою название монастыря, где провел одно блаженное лето в гостях у доброго игумена отца Сысоя. Каждый из тех длинных, ленивых и спокойных монастырских дней мы обедали с ним вдвоем под сенью густолиственной лозы — великолепного украшения этой святой обители. Она расстилала над нами благословенные свои ветви, как кедры ливанские над головой Авраама, бросая на нас прохладную тень. Обеды наши были собственными чудесными произведениями самого отца Сысоя, к которым он щедро добавлял, помимо благовонных горных трав, еще сладость своей мудрости. Вино, к которому скромный игумен питал большую слабость, он заранее остужал в роднике, певшем свою сладкую песню под сенью трех старых плакучих ив посреди двора. Мы сидели до ужина за деревянным столиком под лозой, проводя время в тихих, вдохновенно просветленных беседах о боге, о мире, о суете жизни и загадке смерти. Большое и бурное прошлое отца Сысоя принесло ему богатый жизненный опыт, а церковные книги и Библия, над которыми он проводил одинокие часы свои, прояснили душу его святой премудростью.

— Книги что люди,— говорил он.— Они становятся

[1] Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих.

мудрыми, старея. Наука и мудрость — удел прошлого. Настоящее всегда было морем чувств, по которому носятся души человеческие, не уверенные в пути своем. Их слезы, их вопли, радости, стремления, ошибки и духовные ликования, их мысли и впечатления падают драгоценным жемчугом в пучину этого моря. А когда оно отступит в далекое прошлое, люди находят осевшие на дне его сокровища и черпают мудрость.

Я уверен, что, будь эти мысли высказаны устами отца-архиерея, он возгордился бы паче патриарха. Но отец Сысой сидел спокойно, брал крошки со стола и прекрасной священнической рукой своей кидал их курам, теснившимся вокруг него, и воробьям, без страха садившимся к нему на плечи.

Был он крепкий, коренастый, с молодым огнем в глазах, с приятной улыбкой на лице, с поседевшей бородой; из-под черной камилавки его выбивались пряди, белые, как вечные снега горных вершин. Мысли его ползли медленно, разветвляясь, виясь, как лозы, и венчаясь густой листвой. О себе он говорил:

— Я — недостойный, и этому две причины: чревоугодие и снисхождение к грешникам.

Передам вам некоторые из его рассказов, полных назидательности глубокой мудрости.

1909

СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ

Источник всех зол в мире — страсти и влечения плоти,— тленной плоти, которая губит блаженство бессмертной души. Пока Адам гулял одинешенек по райскому саду, мир был совершенен, ибо мысли первого человека не искали ничего, кроме бога, и душа его была ясна, как небо, к которому она стремилась. И хорошо ему было одному, без забот, среди лесов, озер и зверей. Женщина внушила ему мысль, что он равен богу, отравила кровь его грехом и загрязнила желанием душу его. Первопричина плотских влечений исходит от дьявола, и зачатие человека через страсть — нечисто.

На этой неопровержимой истине сошлись все святые угодники божии и радетели о спасении души человеческой. Св. Теодосий, основатель монастырей, созвал всех своих сподвижников на собор с целью обдумать этот вопрос и

попросить у господа, чтобы зачатие людей происходило через невинный взгляд, а не через телесное беснование.

Просторная небесная зала наполнилась святыми. Они приближались, как видения, переступали порог с блаженной улыбкой, подходили к местам своим строго и озабоченно, и сияние их бледных лиц распространяло в зале сумеречный свет, подобный тому, какой распространяет утром в горах проснувшийся взор дня. В первых рядах этого необычайного собрания выделялся св. Григорий Богослов, над которым усердие к воздержанию сгустилось так, как сгущаются тучи. По обе стороны от него сидели св. Василий и св. Иоанн Златоуст. Во всей зале не было никого вдохновенней этой возвышенной троицы. Неподалеку от них находился св. Симеон Столпник, осененный духом премудрости божией, всегда избирающей именно такие смиренные души и воздвигшей его — простого пастыря бессловесных тварей — в пастыри одаренных даром речи овец. Возле него был великий Пафнутий. Бесчисленные тревоги его земного существования заставляли еще блуждать его темные глаза. С лицом бледным, как иерусалимская стена, плача, всматривался он в лики святых, с волнением ища неземную красоту Таис — мечту, которая составляла двигатель его существования и с которой его взял к себе всевышний.

Близ него сидел придавленный горбом своим св. Андрей, Христа ради юродивый. И было там много-много других.

Святые женского пола смиренно ютились на последних местах, с умиленными лицами и скрестивши руки. Они сидели не шевелясь, стыдливо склонившись и, ввиду щекотливости вопроса, поставленного перед собранием, не решались поднять глаза. Среди них находилась и болгарская святая Петка Самарджийская — единственная, имевшая смелый, самоуверенный вид.

Святой Теодосий сел на место председателя, надел на голову светлый свой нимб и, объявив заседание открытым, произнес:

— Святые божьи угодники, вам известна цель нашего собрания. Кто желает выступить?

В последних рядах нервно, торопливо поднялся один молодой высокий святой с лицом темным, как отраженье луны в смолистых водах Мертвого моря.

— Прошу слова,— промолвил он.

И голос его прозвучал вдохновенно и сладостно, как последняя молитва мученика, умирающего за Христа.

— Кто вы? — спросил председатель.

Все присутствующие обратились в ту сторону с удивлением, так как никто его не знал.

— Я — разбойник, распятый вместе с Христом. В святцах меня нет, видимо по недосмотру, но бог удостоил меня участи вечно быть среди вас, подобно тому как совесть не покидает человека. Я не имею права обсуждать великий вопрос, ради которого мы здесь собрались, так как недостоин, но хочу обратить ваше внимание на то, что здесь есть и другие недостойные.

Среди присутствующих послышался ропот.

— Кто заронил тебе в голову такое подозрение? — раздался возмущенный голос из их рядов.

— Иуда,— ответил разбойник.— Иуда, который тоже не удостоен быть сопричисленным к лику святых, но деяние которого, хоть и недостойное, послужило причиной искупления рода человеческого через страдания и воскресение Христа.

Новая волна ропота всколыхнула собрание. Святые стали креститься.

— Я считаю, что все мы здесь недостойны обсуждать вопрос о плотской страсти...— продолжал он.

Святые склонили головы.

— ...Но самые недостойные, которых собрание должно отстранить от участия в заседании, следующие: пророк Малахия, который был благообразен больше телом, чем душой; преподобный Максим Грек — ученейший святогорский монах, мешавшийся в женские дела, препятствовавший русскому князю Василию Ивановичу развестись с женой Соломонией и жениться на Елене Глинской; потом святой Иероним, который всю жизнь провел среди одних женщин, красавиц римлянок,— то обстоятельство, что он очутился здесь, среди святых, конечно, говорит в его пользу, однако он не может быть в достаточной мере беспристрастным в вопросе, от решения которого зависит судьба женщины. По той же причине надо удалить из собрания и болгарского представителя — святого Дамаскина из Габрова, так как он был повешен за приставание к одной хорошенькой свиштовской турчанке; ему не следует оказывать ни малейшего снисхождения, несмотря на ту бесспорную истину, что болгарин задним умом крепок. Подлежит удалению и великомученик отец Пафнутий, посвятивший всю свою жизнь спасению души прекрасной Таис, которую он безумно любил. Нужно еще удалить святого Павлина Милостивого, обратившегося из язычества в христианство под

влиянием жены — знатной и красивой римлянки. И еще — преподобного Ефрема Сирина, из-за его нескромно проведенной молодости. Не оказывайте ему снисхождения ради доброго имени родителей: жизнь опровергает изречение, будто добрый корень дает обязательно добрые плоды.

Перехожу к святым женского пола. Удивляюсь, как богобоязненность, которую они носят в нежных сердцах своих, не удержала их от появления здесь. Многим из них это можно простить, но еще больше таких, которых необходимо удалить. Например, святая Синклития. Она сказала: «Воск топится от огня, душа расслабляется от похвал»,— но, несмотря на это, была писаной красавицей и пробуждала в мужчинах грешные мысли. Святая Варвара и сподвижница ее Юлиана хоть и помрачили добровольно красоту свою — самое сильное оружие, которым дьявол вооружает плоть,— однако, раздетые догола перед пыткой, вызывали в толпе не столько удивление своим долготерпением среди мук во имя Христа, сколько восхищение бесподобной красотой своих персей. Надлежало бы отстранить и преподобную девицу Аполлинарию, внучку императора Маврикия, проведшую жизнь под видом мужчины в монастыре святого Макария и подробно изучившую мужскую душу. Отстранить надо и болгарскую святую Петку Самарджийскую, которая, несмотря на борьбу с земными радостями, несмотря на пост, осталась такая же толстая, а влага в глазах ее свидетельствует о вечно возбужденной плоти. По вопросу же, ради которого мы здесь собрались, скажу: не уничтожайте искушения, ибо этим слишком облегчите подвиг спасения души.

Несмотря на убедительность представленного оратором списка, никто из перечисленных отстранен от участия в заседании не был, и дебаты продолжались три дня и три ночи, не приведя ни к какому решению.

На третий день великий святой Иоанн Златоуст устроил для всех участников ужин. Стол был накрыт под большим пологом виноградных лоз, увешанных зрелыми гроздьями.

Севши смиренно в ряд, приглашенные с чистой радостью сердца смотрели, как святой сам подносит яства белыми своими руками.

Но после первой же ложки св. Теодосий обернулся к св. Иоанну Златоусту со словами:

— Иван, а ведь похлебка несоленая.

Эти смиренные слова повторили хором все гости.

Святой Иоанн Златоуст молча встал с места, взял ще-

поть соли из солонки и прошел вдоль всего стола, делая рукой движение над сосудами, как бы солил содержимое.

Гости снова принялись за еду. И опять — хором:

— Иван, похлебка несоленая.

Святой Иоанн Златоуст снова взял соли из солонки и опять обошел весь стол, проноля соль над посудой, но не выпуская из щепоти.

Когда и в третий раз гости воскликнули:

— Иван, похлебка несоленая,— он, взяв соли в щепоть, посолил похлебку и, выпрямившись, промолвил:

— Как похлебка не становится соленой от того, что взглянешь на соль, так и зачатие человека не может совершиться от одного взгляда на мужчину. Да будет так, как устроил бог,— грех же, вплетенный дьяволом в наше зачатие, искупим покаянием. И да будет земным подвигом человека стремление души к богу через красоту и истину.

При этих словах св. Иоанна Златоуста все перекрестились и сказали:

— Аминь!

1909

ГЛАЗА СВЯТОГО СПИРИДОНА

Святой Спиридон был бедным сапожником. Склонившись над своим низким столиком с разбросанным на нем инструментом и уйдя в блаженные размышления о боге, он целый день работал. Единственным его отдыхом были минуты, когда он кротко и медленно жевал кусочек сухого хлеба или подымал глаза, чтобы кинуть взгляд в маленькое окошко — на прекрасный божий мир, вид которого всегда умилял его.

Холодная белая зима и знойное золотое лето одинаково радовали его. Весной, когда солнце растапливает снег, св. Спиридон любил вслушиваться в ровный, однообразный шум капели, падавшей с низкой стрехи его маленькой мастерской, и глядеть, как напротив, в саду перед церковкой, пускает почки сирень и расцветает яблоня. Сладкий аромат цветов переполнял тихую улочку и вливался волнами в тесную мастерскую, еще больше подвигая душу юноши к чистоте. В такие дни св. Спиридон с особенной радостью и надеждой размышлял о небесном, вставая порой с низенького табурета и высовываясь из окошка, чтобы взглянуть на небо.

Он был молод и пригож, но лесть и похвалы не опустошали душу его своей грешной суетой. Подвигом и покаянием мечтал он заслужить похвалу от бога, но считал, что недостоин ее, хоть и не имел никаких грехов. Единственным желанием его было очистить душу свою — так, чтобы она расцвела, словно яблоня перед храмом напротив, и аромат ее питал бы добродетели, как белый яблоневый цвет питает пчел.

Душевная красота его сказывалась и на тленной оболочке — теле. Этот бедный юноша был прекрасен. Лицо его сияло святой чистотой, и по мудрому челу бежали, переливаясь, еле уловимые белые и розовые облака, словно по майскому утреннему небу. Синие его глаза, всегда радостно созерцавшие божественные предметы, были глубоки, словно озера, где трепещет отражение всех небесных светил.

Красивые и богатые городские девушки постоянно проходили по той отдаленной улице, где была сапожная мастерская юноши, ища случая увидеть его,— будто для того, чтобы заказать ему праздничные туфельки. Это приводило благочестивого юношу в ужас; заслышав веселый женский говор и шум шелковых платьев, он опускал свои чистые очи в землю и не подымал до тех пор, пока снаружи не воцарялось обычное для этой маленькой улицы тихое, веселое спокойствие.

Чтоб избежать малейшего соблазна, какой только мог появиться, он поставил у порога мастерской маленький ящик с пеплом. Каждая женщина, пришедшая с заказом, наступала туда, и сапожник брал мерку с ее следа. Ибо чистый юноша изгонял из души своей всякое помышление о женщине, способное нарушить его святое блаженство, и соблюдал глаза свои от малейшей тени соблазна, а руки — от соприкосновения с телом, рожденным для похоти.

Однажды, когда св. Спиридон встал со своего тренога, чтобы поглядеть в окно и полюбоваться на белое облачко, которым какой-то невидимый ангелок играл в небесной синеве, перед мастерской остановилась золоченая коляска, и оттуда вышла и постучала в дверь молодая турчанка. Покрывало ее было слегка откинуто, и св. Спиридон поспешил опустить чуждые земному глаза свои к пыльному полу, чтобы в душу его не прокралась через них прелесть соблазна.

Женщина тихонько отворила дверь и вошла. Вместе с ней вошел и наполнил бедную, темную мастерскую чудный весенний день, что царил снаружи. Св. Спиридон

услышал бодрый шум фонтана, любовную возню воробьев, песню юной девушки, мужественный смех юношей. Вся веселая суета жизни вошла вместе с незнакомой женщиной и наполнила маленькую мастерскую.

Юноша еще ниже склонил голову и стоял, не зная, что сказать.

Тогда женщина нежно, мягко и властно велела ему снять с ее ноги мерку для новых башмачков.

— Наступите вон там на пепел в ларце, добрая госпожа, и я сниму мерку с вашего следа,— кротко промолвил св. Спиридон.

Женщина звонко, мелодично засмеялась, и благочестивый юноша подумал, будто перед мастерской остановилась толпа молодежи и кидает внутрь тысячи свежих, благоуханных цветов. Он закрыл глаза рукой и повторил свою просьбу с таким смирением, что у молодой турчанки сжалось сердце.

— Нет,— промолвила она и замолчала. Потом прибавила: — Я хочу, чтобы вы сняли мерку с ноги.

Тогда св. Спиридон встал, взял мерку и, не подымая глаз, подошел к незнакомке. Она, слегка приподняв свое длинное шелковое платье, выставила хорошенькую ножку и ступила на низкий треногий стульчик. Св. Спиридон ощупью обвил шнурок вокруг ступни. И в ту же минуту святой юноша потерял нить, связывавшую блаженные его помыслы с богом, и, отдавшись работе, поднял голову посмотреть, что показывает мерка. Тут он краешком глаза увидал изящную ножку, нежно охваченную темным шелковым чулком. В душе благочестивого юноши что-то рушилось. Еще немного, и он бы навеки погиб. Но крепкая вера не покинула его. Святость, столько времени его укреплявшая, закалила его волю. Воля восстала на проснувшееся желание: св. Спиридон поспешно схватил со стола шило и твердой рукой выколол оказавшийся доступным соблазну глаз. Вместе с сильной болью св. Спиридон почувствовал ликование спасенной от погибели души и, в порыве блаженства, не опустил руку, а, ударив шилом еще сильней, выколол и другой глаз. Этот был не виноват. Но, жаждая чистоты, святой юноша решил закрыть окна души своей, через которые могли проникнуть лучи, отражаемые соблазнительными, грешными предметами.

Оставшись без глаз, св. Спиридон уже не мог работать. Он закрыл мастерскую и ушел в лес, где в берегах, поросших ивами и ракитником, протекала большая река. Там он, ощупью срубая ветви и сидя на припеке, стал плести

корзины, которые отдавал в обмен на кусок хлеба проходящим мимо в город крестьянам.

Вокруг было так тихо, спокойно, радостно. Он подолгу стоял у воды, прислушиваясь к плеску рыбок, игравших порой в реке. Жужжанье пчел и легкий шум белоствольных берез, росших поблизости, переполняли его успокоенную душу наслаждением. Переходя ощупью с одного места на другое, он молил бога направить стопы его так, чтобы они не топтали муравьев и мелких насекомых, ползающих в траве. Вечно юный и новый ветерок, рождавшийся утром и вечером и умиравший после полудня, собрав аромат со всех трав, цветов и лип, приносил его слепому подвижнику, купая душу его в наслаждении.

Среди этой чудной тишины мысли св. Спиридона, стократно очищенные, восходили к богу и часами созерцали его мудрую, всепрощающую улыбку.

Одно только тревожило святого: любовное чириканье птиц, которыми был полон лес. Св. Спиридон слышал, как голуби, горлинки, соловьи и разные другие пернатые копошились на ветках, и любовные ласки их смущали его. Набрав камней, он кидал их в сторону леса, шикал, махал руками, стараясь прогнать птиц. Но они продолжали подзывать друг друга, петь, перекликаться. Вопреки всем усилиям святого, перед внутренним взором его возникали картины их страстных слияний, и пришел день, когда молодой праведник с ужасом понял, что душа его обладает другими глазами, которых не выколешь.

Склонившись над корзинкой, которую плел, он стал размышлять и пришел к сознанию, что, созерцая мир телесными глазами, он никогда не испытывал такой муки, как теперь, созерцая его глазами своей ушедшей в затвор души. Его охватила тревога. Не зная причины ее, он подумал, что как-нибудь согрешил перед богом, и стал проводить дни и ночи в молитве. Но со дня на день все больше терял душевный покой.

Однажды, в то мгновенье, когда он заканчивал плетение корзины, ему представилось соблазнительное зрелище, заставившее его выколоть себе глаза. Он ясно увидел глазами души прекрасную женщину, которая стоит перед ним, приподняв юбку и показывая изящную ножку в шелковом чулке. Св. Спиридон сделал напрасное усилие отогнать этот образ; это ему не удалось. Куда бы ни обратил он слепое лицо свое, он видел женщину и слышал ее смех. Святой громко закричал и стал призывать бога на помощь. Тщетно. Соблазнительный образ рос и завладевал им. Он

стал видеть образ таким, каким не видел и не хотел видеть в то время, когда еще светились синие глаза его. И вот неистовые желания стали бунтовать кровь в его жилах. Он хотел молиться, но из уст его полились горячие любовные речи, звучавшие в молчаливом лесу словно крик совы.

— Господи, за что ты мучаешь меня? Я погубил глаза свои, чтобы постичь тебя,— а только от тебя отдалился. Научи меня, как постичь тебя. Подай знамение, господи!

И св. Спиридон пал ниц, творя земной поклон. Когда же он снова встал и поднял лицо к небу, на молодом лице его снова светились прекрасные синие глаза, глубокие, словно озера, в которые смотрятся все светила небесные.

1921

ЗЕРКАЛО СВЯТОГО ХРИСТОФОРА

Еще в молодые годы душа св. Христофора воспламенилась огнем борьбы со злом. Несправедливость приводила его в гнев, грехи и преступления огорчали сердце его и вызывали в нем возмущение. Твердый, как камень, стоял он против искушений; сильный, как лев, и крепкий, как дуб, готов был одним ударом повергнуть духа зла — дьявола.

С утра до вечера ходил он по дорогам и площадям, сжав кулаки, и в глазах его горело желание не пропустить мимо, не уничтожив в самом зародыше, зло, что каждое утро вновь и вновь вылупляется, словно язвящая змея, из страстей человеческих, неся отраву.

В те времена молодой человек громадного роста, под шагами которого дрожала земля, мог не подчиняться законам, так как законом была сила. И у св. Христофора не дрожала рука, когда он подымал ее, чтобы, как молния, поразить на месте бесчестного торговца на базаре, лжеца, вора и даже нищего, прикидывающегося калекой, чтобы вызвать больше жалости.

Душа его была вечно исполнена негодования, испытывала страшную потребность душить, уничтожать, в гневе рвать на части и в бешенстве комкать все, в чем есть дух неправды, злого умысла, порока и преступления. От этого прекрасное лицо его мало-помалу исказилось и стало вытянутым, брови насупились, глаза сузились и налились кровью, ноздри раздулись, рот расширился.

Он утратил подобие божие, и облик его стал похож на облик злого пса.

Дети, которых св. Христофор считал безгрешными, стали убегать от него и улюлюкать ему вслед, когда он проходил по улице, а псы, которым он уподобился наружностью, стали бешено лаять на него. Женщины, к которым этот сильный юноша питал великую слабость, не ставя в грех ни плотскую, ни духовную любовь, и которые явно и тайно вздыхали о нем, начали в страхе избегать его и дали ему унизительное прозвание «Псоглавец».

Святой Христофор в ужасе и отчаянье подумал, что это многократно побежденный им дьявол решил отомстить ему и наслал на него все нечистые силы, чтоб они превратили его в собаку, отняв то единственное, что составляет красоту жизни: женскую любовь.

И еще больше разъярился молодой поборник правды и справедливости. Подняв сжатые кулаки на самого сильного врага своего — дьявола, он захотел проклясть его. Но, к еще большему ужасу, из зубастого рта его вырвался собачий лай.

Тогда Псоглавец пошел в ближайший лес, отломил там крепкий сук, обрезал ветки, вскинул его на плечо, как посох, и покинул родной город, который он так неутомимо ограждал от зла.

Он страшно мучился. Он знал, что лицо — зримый образ души и что превращение его в собаку было бы невозможно, если бы душа его не превратилась в собачью.

И вот несчастный удалился на один большой остров в море. Посреди этого острова текла бурная, мутная река, через которую нельзя было ни перейти по мосту, ни переплыть в лодке. На одном берегу ее росли и зрели прекрасные хлеба, на другом паслись бесчисленные стада, а огромные леса были полны дичи. Но жители того и другого берега испытывали лишения, не имея возможности переправиться через страшную реку и обменяться своими благами.

Псоглавец, для которого не было непреодолимых препятствий, охваченный скорбью, оказался на берегу этой реки. Он поселился возле нее и каждый день дважды переходил ее вброд — взять хлеба на одном берегу и накормить мясом овладевшего им пса — на другом. Сильные мутные воды реки, доходя ему до пояса, разбивались о его могучее тело, как пена о скалу.

Жители обоих берегов толпились у реки, глядя со страхом на незнакомца с собачьей головой и дивясь его силе.

За хлеб и мясо Псоглавец стал переносить людей через реку, сажая к себе на плечи по нескольку человек зараз. Но страсть к уничтожению злых и порочных не оставила

его. Он часто останавливался посреди реки, снимал с плеч тех, на кого таинственные силы правды указывали ему, как на недостойных, и скидывал их в реку, словно гнилые плоды.

Вечером, когда все расходились по домам, он приближался к стволу одной пальмы, сокрушенно падал на колени, под которыми камни с хрустом превращались в пыль, и пробовал молиться. Но молитвы его возносились к небу в виде собачьего лая, и он с кровоточащим сердцем вопрошал бога:

— Господи, я жаждал, чтобы душа моя была чиста, как истина, которую ты заповедал. За что же сделал ты лицо мое безобразным, как зло, которое огорчает тебя и гневит?

Однажды на берегу страшной реки появился старец — странник, не из этих мест. Он попросил Псоглавца перенести его.

— Добрый человек,— сказал он,— перенеси меня на ту сторону, потому что за мной гонится дьявол. Нет у меня ни хлеба, ни мяса, чтобы заплатить тебе. Я дам тебе только вот это маленькое зеркальце. Ты будешь видеть в нем свое собачье лицо, пока не совершишь величайшего подвига, который будет угоден богу.

Псоглавец перенес старца, взял зеркало и, вернувшись обратно, стал ждать дьявола, который преследовал странника. Поглядев вслед страннику, он увидел, что тот исчезает среди созревших нив и у него нимб над головой.

Тут Псоглавец понял, что перенес на плечах своих самого Иисуса Христа, и его охватил страх, какого он никогда не испытывал. Целуя зеркало, он пал на колени и стал бить земные поклоны с такой силой, что окружные скалы рушились и со страшным шумом падали в реку.

С тех пор св. Христофор погрузился в глубокое раздумье. Ревность его в борьбе со злом и карании недостойных усилилась. Но, глядя в маленькое зеркало Христа, он с ужасом видел, что собачье выражение лица его становиться все злее.

И напала на него скорбь. Он подумал, что разум его помрачился и уже не отличает зла от добра. И укротил бунт души своей, став снисходительным, стараясь не видеть пороков и не отделяя их такой резкой чертой от добродетели.

Раз пришел к нему незнакомец с свирепым лицом и налитыми кровью глазами, испуганный, мрачный. Св. Христофор догадался, что это — самый страшный разбойник на свете, и подумал: «Убить этого человека, освободить

землю от страха, который он несет с собой,— вот что просветит снова лицо мое!»

И когда он уже готовился опустить на голову незнакомцу страшную свою руку, тот произнес голосом, полным дерзости и насмешки:

— Сильный Псоглавец, перенеси меня на другую сторону, чтоб мне спасти тамошних жителей. Среди них исчезли все пороки, и потому добродетели умрут, не имея более пищи.

Эти странные слова остановили руку Псоглавца. Он решил, не проявляя снисходительности, быть терпеливым. Вскинул на спину этого отвратительного человека и понес его, но, войдя в реку, почувствовал на плечах страшную тяжесть, словно это был не человек, а мешок со свинцом. И даже еще тяжелей, потому что у него стали подгибаться колени.

Теперь он был уверен, что несет на плечах человека, обремененного грехами, и несколько раз собирался бросить его в реку, но не сделал этого.

С великим трудом перенес он его на тот берег и скинул на землю.

Человек легко, не охнув, поднялся, пожал в знак благодарности Псоглавцу руку и пошел дальше.

Святой Христофор поспешно вернулся на другой берег и, дрожа от гнева, что не убил злодея, обернулся, чтобы взглянуть на него.

И увидел на той же дороге, по которой ушел Христос, огромную, мрачную рогатую фигуру дьявола, легко шагающего среди нив.

— Господи,— воскликнул Псоглавец,— теперь лицо мое стало, наверно, хуже собачьего!

И, преисполненный страха, поспешно достав зеркало, поднял его к глазам своим. Но тут он увидел в зеркале красоту человеческого лица своего и чистоту взгляда. И первой мыслью, блеснувшей под озаренным нимбом ясным челом его, было:

«Я очистился оттого, что сделал добро самому злому».

1921

ИСПОВЕДЬ

Вечерня кончилась. Последний «аминь» отца Павла замер без отзвука, и в маленькой, ослепшей от старости монастырской церковке наступила тишина. Три крестьянки-

богомолки, стоявшие вместе посредине, взглянули на отца Павла. Отец Павел взглянул на них. Вот и все. Кончено. Три женщины перекрестились и нагнулись, чтобы поднять с сиденья больного юношу, который сидел бледный, неподвижный.

В это время перед церковкой послышались чьи-то шаги и короткое равномерное позвякиванье маленьких бубенчиков. Какой-то рослый детина стал в дверях, совсем загородив их. Постоял немного, потом грузно вошел внутрь и остановился.

— День добрый. Где тут исповедник-то? — спросил он низким, грубым голосом, ни к кому не обращаясь.

Женщины и отец Павел, собравшийся было уходить, поглядели на вошедшего. Он был похож не на человека, а скорей на сорвавшегося с цепи громадного медведя. Косматое чудище в большой шапке из козьего меха, в просторном кожухе, шерстью наружу, в косматых штанах от пояса до щиколоток. Из этого вороха желтой козьей шерсти глядело медное загорелое лицо с щетинистыми усами и маленькими заплывшими глазками, посматривающими равнодушно... В руке у него была тяжелая толстая дубина выше его роста, и, входя, он ударил ею в плиты так, будто хотел вбить ее в пол.

— Где тут исповедник? — повторил он свой вопрос, опять ни к кому не обращаясь.

Отец Павел, с удивлением глядя на незнакомца поверх очков, указал рукой на боковые врата в алтарь. Там сидел, сгорбившись, на низком стульчике престарелый исповедник, отец Никодим, погруженный в полудремоту. Большая голова его склонилась набок, а белая борода лежала, как полотенце, на книге, раскрытой у него на коленях.

Странный человек в шкурах зашевелился, подвинул дубину и, тяжело переставляя ноги, зашагал вперед. Маленькие бубенчики на ногах его снова задренькали при каждом шаге, и тонкий звон их словно покатился по холодным плитам пола.

Женщины, уже собравшиеся уходить, оставили больного сидеть и остановились. Отец Павел перекрестился и улыбнулся.

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь... А между всплесками бубенчиков всякий раз слышался громкий стук тяжелой дубины.

Исповедник отец Никодим очнулся от дремоты, поднял голову. При виде стоящего перед ним страшного детины он так быстро встал на ноги, что опрокинул свой стульчик.

— День добрый,— промолвил незнакомец, остановившись и сильно стукнув дубиной.

— Сними шапку,— сказал исповедник.

Косматый медленно поднял руку, снял свою огромную шапку и сунул ее под мышку. Во всклокоченных волосах его были серебряные нити.

— Подойди,— сказал исповедник.

Незнакомец сделал несколько шагов, и при этом опять послышался звон колокольчиков.

— Исповедаться хочу... Меня так научили.

Исповедник уставился на него в изумлении.

— Кто тебя научил?

— Да там, в горах...

Грубый, дикий голос незнакомца будил в церковке страшное эхо. Догоравшие где-то в подсвечниках свечи замигали.

— За деньги аль без денег? — спросил незнакомец и стал шарить у себя за пазухой.

Шапка, которую он держал, зажав под мышкой, упала на пол, оставшись у ног хозяина, словно пастуший пес.

— Брось, брось,— промолвил, немного развеселившись, отец Никодим.

Но незнакомец не обратил внимания на его слова, вытащил длинный кожаный кошель, развязал стягивавшую его веревку и запустил руку внутрь.

— Не знаю, брат. Как научили меня, так и делаю. Я не с людьми живу — горный житель. Лес там. Ну и живем среди деревьев...

Он протянул исповеднику несколько левов.

Отец Никодим поглядел на него, улыбнулся с досадой и недовольно взял деньги.

— Пастух я,— снова загремел незнакомец.— В лесу вырос, там и живу. И помру там.

— Жена, дети есть, сынок? — спросил исповедник.

— Ы-ы. Нету, нету. Весь как есть тута.

— Пастух, говоришь?

— Пастух, пастух. Чужую скотину пасем. Моего ничего нету.

С каждым новым ответом человек все больше раскрывал свою душу и голос его становился громче.

— Потише, потише, милый,— сказал исповедник.

— Зачем? Мне прятать нечего. Никого не убивал. Мы в лесу все так говорим. И со скотиной так разговариваем. В горах раздолье.

— В церковь ходишь?

— Нет, не хожу. Сызмальства туда не ходил. И не припомню, когда было-то.

Так как незнакомец говорил уже совсем громко, отец Никодим кивнул женщинам и отцу Павлу и сделал им знак удалиться.

Женщины подняли больного и, подхватив его под мышки, увели. Отец Павел погасил догорающие свечи в подсвечниках и тоже направился к выходу. Но, заметив, что в церкви стало темно, вернулся, зажег две тоненькие свечечки. После этого ушел и он.

— Меня на то и прислали, чтоб исповедаться да причаститься.

— Сколько тебе лет?

— Не знаю, брат. Не то сорок, не то пятьдесят. А может, и шестьдесят наберется. В горах годочки бегут, считай — не поспеешь.

— Поди поближе.

Незнакомец приблизился, сопровождаемый звоном.

— Что это звенит на ногах у тебя?

— Бубенчики...

— Зачем ты их носишь?

Незнакомец улыбнулся ангельски нежной улыбкой.

Солнечные лучи, упав сквозь пыльное оконце в куполе, озарили позолоченный иконостас, и он засиял, как улыбка незнакомца.

— Зачем ношу-то? — промолвил тот.— Да хожу-хожу по горам, и жалко мне животинок махоньких. Муравьишек, пчелок, козявок, тварей всяких пестреньких — больно жалко. Не видно ведь, ну, наступишь — и раздавил. А бубенчики вспугнут — они и разбежались.

Старый исповедник опустил руки и с умилением поглядел незнакомцу в глаза. Они смотрели спокойно, кротко, и на грубом, загорелом лице пастуха сияла святость.

«Святой человек,— подумал отец Никодим.— Жалеет козявок, муравьев, крохотных созданий, о которых никто никогда не думает. Праведная душа. Уж не святой ли какой переодетый прислан от бога для моего испытания?»

Отец Никодим испуганно обернулся на иконы и перекрестился.

Незнакомец шагнул ближе, бубенчики опять зазвенели.

— Ты праведник, на тебе нет греха. Чистая душа,— промолвил с улыбкой исповедник и покачал головой, как бы говоря: «Много я видел народу, а такой праведной души даже представить себе не мог».

— На тебе нет греха, нет греха,— повторил он.

— Нету, нету... откуда ему взяться...

— А как живешь в горах?.. Молишься ли богу?

— Как ему молиться-то? — ответил незнакомец, немного подумав.— Дивлюсь я ему. Я ведь к нему близко... Наверху, в горах, под самыми звездами. Ну, дивлюсь ему — это так, воистину дивлюся...

«Святой, святой человек»,— подумал отец Никодим.

— Ну, а не крал ли чего, не делал ли кому какого зла?

— Нет, брат. Это упаси боже! Чтоб чужое что взять, вред кому сделать? Нет, нет...

«Святой, святой»,— подумал опять исповедник.

— Обмануть кого не случалось ли?

— Да кого там обманешь, в пустыне-то. Деревья и камни не обманешь. Скотину — как ее обмануть? Одно слово — скотина. Попробуй, обмани... Человека обмануть можно, это правильно, да где его там найдешь, чтоб обмануть-то. Да и ради чего?

«Святой, святой»,— изумился в душе отец Никодим, чувствуя себя перед собеседником ничтожным, как муха.

— А с женщинами, с женщинами встречаешься? — решился он спросить.

— Ну, брат, как же можно без женщин,— добродушно улыбнулся праведник.— Это тоже — божье дело.

— Что? — спросил исповедник, став на цыпочки и широко раскрыв глаза.

— Да вот это самое... С женщинами то есть...

— Как божье?

— Да так вот, ну как есть.

«Чудак»,— подумал отец Никодим.

— Я спрашиваю, был ты близок с женщинами... имел... сношения?

— Бывало, брат.

— Наверно, очень редко?

— Да нет, частенько, частенько,— с добродушной откровенностью возразил незнакомец.

— Где же ты находишь в горах женщин?

— Да их везде найдешь, была бы охота.

«Грешник,— подумал исповедник и поглядел на своего собеседника подозрительно.— Уж не дьявол ли это пришел искушать меня?»

Умиленное выражение на лице отца Никодима исчезло. Он принял строгий вид.

— Где же ты находишь женщин в этой горной пустыне?

— Да которые сами приходят...
— А другие?
— А другие к себе кличут в деревню.
— Вот как?!
— В одной деревне есть вдова одна. Часто меня кличет. И охаживает и обстирывает. А другая — та издалека приходит. Да об ней что толковать: другого района. Ну, поприглядней будет.
— Значит, две только?
— Да нет, еще три-четыре, почитай, наберется.
— Это грех,— с возмущением промолвил исповедник, вперив в собеседника угрожающий взгляд.
— Неужто грех? — удивился незнакомец.— А я не знал. Кто мне там скажет, в горах-то.
— Тяжкий грех, непростительный,— воскликнул священник.
— Ну, коли грех, я пойду,— с прежним добродушием и наивностью ответил незнакомец, стукнул дубиной и двинулся к выходу.— Не знал, не знал я,— пробормотал он, и бубенчики на ногах у него запели.
Но вдруг он остановился, словно о чем-то вспомнив, обернулся к исповеднику и спросил с недоумением:
— Я — кто? Мужик?
— Ну да, мужик,— с досадой ответил отец Никодим.
— А это грешно: мужиком быть?
Отец Никодим растерянно промолчал.
Незнакомец стукнул дубиной и пошел. Бубенчики на ногах опять резво зазвенели.
Это рассердило исповедника. Он пошел вслед незнакомцу и сердито окликнул его:
— Эй, послушай, постой!
— Чего? — обернулся тот и остановился.
— Послушай, друг. Сними бубенчики. Ты зря привязал их... Слышишь? Слышишь?
Незнакомец, словно не услышав его, медленно вышел.
Отец Никодим остался во мраке, посреди пустой церкви, и долго стоял так. Размеренные шаги незнакомца, стук его дубинки и резвый звон бубенчиков мало-помалу исчезали вдали.
«Кто знает,— подумал отец Никодим, выйдя из задумчивости,— может быть, этот человек ближе к божьей правде. Он живет под самыми звездами».

1934

ОНЕМЕВШИЕ КОЛОКОЛА

Это было накануне успенья пресвятой богородицы, храмового праздника Жрелинского монастыря, славного чудотворной иконой божьей матери и тремя сладкогласными колоколами, чей благовест оглашал всю плодородную котловину, над которой господствовала белая ограда монастыря, стоявшего высоко на горе.

По старому обычаю, колокола эти били только на успенье и на пасху, и первый удар производил сам игумен собственноручно. Тогда медный стон их плыл с колокольни, звучный, сладкий, торжественный, будто с неба, разливался широкими волнами, падая на села, вздымая души к богу и направляя взоры к его горним селениям — небесам.

И богомольцы из девяти сел широкой котловины, и еще более дальние тянулись в древний монастырь — поклониться чудотворной иконе, пожертвовать дар, испросить исцеление душе и телу...

Старый игумен отец Иоаким поглядел на солнце, уже опустившееся за большую монастырскую орешину, и увидел, что тень от длинной галереи покрыла половину церкви. Душу его охватила тревога: скоро вечерня, пора благовестить.

Все ли готово?

Он поглядел на свои руки — чисты ли они? Посмотрел на выметенный двор, на народ, толпившийся возле колокольни, глядя вверх. Потом встал, прошел по широкой длинной галерее, на которую выходили кельи монахов, быстро спустился вниз по высокой дощатой лестнице и скрылся где-то во дворе. Уже два дня добрый старец не знал отдыха. Все готовился к торжеству. Чтоб все было чисто, все в порядке. Чтоб сияло. Всякий народ придет — простые и знатные. Может, и владыка прибудет. В церкви все выметено, нигде ни паутинки; каждый уголок проверен. Каменные плиты вымыты до блеска. Особенно порадовал игумена золотой венчик, которым один богатый человек, из дальних, украсил главу чудотворной матери божьей. Он же пожертвовал и дорогую шелковую лиловую завесу на иконостас перед нею.

Отец Иоаким никак не мог от них оторваться: подойдет, поправит складки завесы, еще и еще раз возрадуется, глядя на венчик чистого золота.

Все было готово. Приближался торжественный час. Братия уже разошлась по кельям и приготовлялась к вечерне.

Но игумену захотелось еще раз проверить. Не забыли ли чего? Он опять вошел в церковку. Маленькая, низенькая старая церковь, построенная бог знает когда, хранила память о древних царях, пережила турецкое иго и благословила новое царство. Вечерний сумрак, уже вступивший в нее, молился перед зажженными лампадками, чьи огоньки терялись в кротких улыбках святых, имевших нынче, в канун великого праздника, особенно умиленный, торжественный вид.

Отец игумен с удивлением остановился на пороге, увидев перед чудотворной иконой темный силуэт женщины с ребенком на руках. Старец рассердился. Сегодня на вечерню нельзя было входить в церковь до торжественного звона колоколов. Такой обычай.

Игумен тихо подошел к неизвестной и посмотрел на нее. Она была оборванная, неопрятная, повязана залатанным платком по самые глаза. Грязные босые ноги ее оставили следы на плитах пола, и это еще больше рассердило аккуратного старика. Женщина не заметила его. Она громко молилась, плача и поднося к стопам божьей матери своего больного ребенка, бледного, иссохшего, как прошлогодний цветок. Он тяжело дышал, закрыв глазки, и жалобно стонал.

— Сохрани и спаси его, мать пресвятая богородица... Он один у меня! — шептала женщина, низко сгибаясь,— словно дерево, клонимое ветром. Слезы ее капали на холодные плиты, как воск от горящей свечи.

Женщина вынула из-за пазухи булавку с синей головкой и воткнула ее в новую шелковую завесу.

— Прими от меня, святая матерь божья. У меня больше ничего нет.

— Зачем ты сюда вошла? — сердито промолвил старец.— Колокола еще не звонили. Обычая не знаешь?

— Не знаю, батюшка,— растерянно промолвила женщина.

— Уйди пока. Потом, потом придешь!

Женщина покорно повернулась и, прижав ребенка к груди, пошла. Отец Иоаким глядел ей вслед. Когда она проходила светлую полоску, падавшую из двери, ему еще раз бросилось в глаза, какая она оборванная и неопрятная.

Игумен заметил, что на той каменной плите, где стояла женщина, остались пятна грязи. Увидел на завесе про-

стую булавку с синей головкой. Эта головка напоминала клопа и портила вид красивой завесы. Отец Иоаким вытащил булавку и кинул ее в угол. Потом перекрестился перед иконой, хорошенько оправил завесу и вышел.

Без этого происшествия все было бы в порядке. И доброе сердце его позабыло о неприятности при виде двора, полного богомольцев, со свечами в руках ожидающих благовеста, чтобы войти в церковь. Братия тоже была готова. Монахи сошли вниз и беседовали с народом о предстоящем торжестве.

Завидев игумена, собравшиеся расступились. Мужчины сотворили поклон, женщины стали по очереди целовать ему руку. Праздник начался. Душа старца размягчилась, и он громко благословил всех.

Солнце клонилось к закату; слабый ветерок веял с гор и, слегка покачивая листы орешин, бежал вниз в котловину,— порезвиться с рекой.

Старец вымыл руки в фонтане. Молодой послушник подал ему полотенце; он вытер их, потом перекрестился и пошел на колокольню. Братия стояла у церковных дверей, народ толпился позади нее в смиренном ожидании. Все взгляды устремились на верх колокольни, где игумен должен был исполнить священный обычай.

Перекрестившись, он дернул за веревку, двигавшую сразу все три колокольных языка. И три железных этих языка с силой ударили по медным губам тяжелых колоколов. Раз, второй, третий.

Но колокола промолчали, не издав ни звука. Бронзовые матери эти, беременные звуками, онемели.

Страшно было глядеть, как тяжелые железные языки бьют в чистый металл, а тот остается безгласным... Было что-то мучительное в этом зрелище. Три колокола качались, напрягаясь, охваченные ужасом, как глухонемые, которые хотят возвестить о пожаре — и не могут.

Старец стал изо всех сил дергать веревку, наклоняясь и выпрямляясь. Но колокола упорно молчали.

Ужас обуял монаха. У него перехватило дыхание, потемнело в глазах. Он выпустил веревку и рухнул на дощатый помост перед колоколами.

Народ стоял во дворе в изумлении, крестясь и не смея проронить ни слова. Все души оцепенели. Братия бросилась на колокольню, чтобы привести старца в чувство. Монахи снесли его вниз. Он уцепился за них, бледный, как мертвец, сокрушенный и потрясенный великим чудом, и еле пролепетал:

— Знамение божие! Молитесь, братья христиане. Великий грех совершился...

Его ввели в церковь. За ним хлынул народ. И все встали на колени, крестясь и шепча молитвы. Женщины выли. Дети кричали в испуге.

Отец Иоаким упал на колени перед чудотворной иконой, подавленный, изумленный, охваченный отчаянием. Ударил лбом в холодные плиты и долго оставался в таком положении. Старое лицо его было мокро от слез.

Он чувствовал, что произошло что-то страшное, что бог разгневан, что великий грех навис и отяготел над землей. Но не знал, в чем этот грех, и не мог найти слов для молитвы.

Беспомощный, он поднял глаза к пресвятой богородице, чей лик в золотом окладе кротко глядел между двух лиловых крыл шелковой завесы.

Игумен встал, перекрестился, бессознательным движением поправил завесу и, ошеломленный, окинул взглядом иконы, места для сиденья, пол. В углу, под иконостасом, он увидел синюю головку той булавки, которую туда забросил; он наклонился, поднял ее, как во сне, и приколол к завесе.

И вдруг снаружи грянул, поплыл торжественными волнами и хлынул потоком внутрь церкви колокольный трезвон во славу божию.

Богомольцы посыпали наружу, во двор, с ними братия и игумен, и все повалились в земном поклоне, пораженные новым чудом, которого стали свидетелями.

На колокольне никого не было, а тяжелые колокола сильно, свободно, легко качались и сами трезвонили.

1928

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ОБХОДИТ ПОЛЯ

Святой Георгий делал обход полей, совершаемый им ежегодно в одно и то же время.

Он медленно шел среди зеленых всходов, чьи волны еще покоились ранним утром. Завернувшись в плотную пурпурную мантию, так и пылавшую в первых лучах солнца, он двигался, словно блуждающий огонь, и золотой нимб его покрывал диск солнца.

Его ясные молодые очи были похожи на изумруды, и в них отражалось окружающее безбрежное море золотистой

зелени. На кудрявой каштановой бороде блестела серебряная пыльца росы.

Душа святого радовалась тому, что все вокруг дышит и живет в строгом согласии с волей всевышнего. Малые птахи порхали и любились в самозабвении, чирикали, целовались, ликовали. Мелкие букашки в траве с такой страстью отдавались великой силе, которой одарил их творец, что умирали от изнеможения или в экстазе разрывали друг друга на части. Бабочки парами легко носились над зелеными колосьями и в истоме падали на плечи святому. На пестреющих цветами полянках зайцы, отдавшись сердечному влечению, не слышали шагов постороннего, и вечный страх смерти покинул их. По серебротканой паутине в боярышнике паук хищно гонялся за паучихой, и оба вели опасную пляску на тонкой проволоке. Оплодотворенные плодовые деревья с наслаждением наливали соком еще зеленые порождения свои, нежась в солнечных лучах.

Углубившись в размышления о величии промысла божьего и огненной силе жизни, св. Георгий время от времени останавливал стопы свои и оборачивался, чтоб окинуть взглядом все поле. И вот в центре этой золотисто-изумрудной чаши он увидел две человеческие фигуры в пестрых, веселых одеждах, похожие на два больших движущихся цветка.

Святой Георгий заслонил рукой глаза от солнца и поглядел пристальней. Идут рядом юноша с девушкой. Наклонив головы, медленно движутся на таком расстоянии друг от друга, что мизинец опущенной руки одного чуть касается мизинца опущенной руки другого.

Оба молчат. Юноша время от времени оторвет стебель, возьмет в рот и бессознательно кусает. Девушка протянула руку над молодыми колосьями и на ходу гладит их.

Святой поморщился. Среди всей этой бурной любви вокруг эти двое не поглядят друг на друга, не поцелуются. Робкое касание их мизинцев вызвало у него улыбку.

«Какие застенчивые дети,— подумал он.— Что ж это так сковывает их сердца? Ведь они любят друг друга. В своем увлечении они пришли сюда так рано, чтобы встретиться, пока в поле нет народа, а теперь стыдятся друг на друга взглянуть».

Святой простер пречистую руку свою, позвал жужжавшую в воздухе пчелку. Он что-то сказал ей и с улыбкой стал смотреть, как она полетела к влюбленной паре.

Пчелка прогудела над головой у девушки, покружила над головой у юноши и заплясала между лицами обоих.

Они повернули головы, чтобы увидеть ее, и взглянули друг другу в глаза.

Оба остановились. Пчелка стала грозить то одному, то другому. Они радостно вскрикивали. Взгляды их встречались все чаще, и хмель весеннего возбуждения овладевал ими.

Святой с улыбкой остановился среди поля и стал любоваться. Вместе с ним остановилось солнце и задержало утро, чтоб поле подольше оставалось безлюдным.

Святой Георгий послал к молодой паре яркую бабочку. Она заплясала возле них. Нежные тонкие руки девушки потянулись к ней. Юноша тоже протянул руки. Двигаясь в воздухе, обе пары рук встретились и поймали друг друга.

Святой Георгий послал маленькую гусеницу, приказав ей поползать по гибкому телу девушки. Девушка испугалась. Она громко вскрикнула и стала вырываться, но сильные руки юноши не пускали ее. Он попробовал стряхнуть гусеницу, и руки его обвились вокруг стана девушки.

Резвясь так, юноша и девушка остановились, обнявшись, среди нив. Глаза их горели, душами овладела истома. Оба дрожали, но не могли сесть, потому что трава была мокрая от росы.

И когда св. Георгий увидел, что они обнимаются все крепче, все сильней, когда услышал мучительные и восторженные крики любви, когда увидел их протянувшиеся друг к другу губы, он поспешно скользнул к ним, разостлал на росистой траве свой большой, плотный пурпурный плащ и скрылся.

Юноша с девушкой упали, обнявшись, на эту постель. И солнце продолжало свой путь в вышине, и поле озарилось божественной радостью.

1921

ПРОРОК

Он явился в город подобно грозной туче. Мрачное лицо его бороздили глубокие складки гнева. Темные глаза пылали ненавистью. Губы засохли и перепеклись от непрестанного крика:

— Покайтесь, ибо кара небесная нависла над вами!

Была суббота. Близился вечер. Народ, освободившись от шестидневного труда, наполнил рынки, площади, корч-

мы и кофейни, радостно возбужденный новою, только что расцветшей весной. На песчаных дорожках городских садов играли дети, на уединенных скамейках шептались, обнявшись, влюбленные пары, у ворот сидели старухи, и люди проходили мимо них быстро и почтительно, как мимо старых мыслей. Из лавчонок неслись голоса торговцев, зазывающих покупателей, расхваливающих свой товар и бросающих веселые шутки вслед хорошеньким женщинам. Жизнь текла так же, как всегда. И злые и добрые жили как могли, а не как им хотелось. Каждый стремился к счастью, и каждый понимал его по-своему. Зло и добро смешивались, сливались в одну заманчивую иллюзию, поддерживающую жизнь и вселяющую надежду.

И вот среди этих мирных маленьких людей появился, как грозная туча, бурнопламенный пророк. Он размахивал семижильным бичом, голос его гремел, как разрушительная труба, молнии гнева извергались из уст его.

— Покайтесь, ибо кара небесная нависла над вами! Я — посланец божий, и бог говорит устами моими. Земля расступится и поглотит нечестивый город ваш. Потоп унесет вас, огонь обратит в пепел домы ваши!

Пророк шагал босыми ногами по неровной каменной мостовой улиц, и с лохмотьев власяницы, покрывавшей его тело, падали вши. Не знавшие гребня, свалявшиеся волосы его развевались на ходу. Страшный бич стрелял в его руке, ударяя каждого подошедшего ближе, так как гневный пророк не представлял себе, чтоб на земле мог существовать хоть один праведник. Вдохновленный жестокой идеей добра, он не знал милости. Хлестал влюбленных, стыдливо державшихся за руки, бил по лицу красивых женщин — за то, что они дышат соблазном, а некрасивых — за то, что они при помощи разных притираний стараются приобрести соблазнительность красивых. Бил крепких мужчин, в которых кипела плотская сила, бил больных нищих, старающихся скрыть безобразие своих тел под рубищем. Бил богатых — за роскошь и бедных — за униженность. Бил блудниц — за то, что те торгуют своим телом, и честных женщин — за то, что они тяготятся законным браком и души их скучают им.

Посланец божий, бичуя, ревел:

— Вы забыли пославшего меня! Я возвещаю вам его беспощадную месть! Посыпьте пеплом главу, молитесь и плачьте!

Устрашенные гневом пророка, люди кидались врассыпную и прятались. Слышались зловещие стоны и вопли, возносившиеся к небу, словно наступил конец света.

Перед страшным пророком предстали мудрые и смелые старцы с вопросом:

— Чего ты хочешь от нас?

— Я не хочу ничего. Бог прислал меня, чтобы наказать вас.

— Что же мы сделали?

— Вы нарушили его заповеди.

— Бог видит,— промолвил один из старцев,— что мы живем, как люди жили испокон веков. Работаем, рожаем детей и растим их. Мы не можем быть очень хорошими, потому что бог создал человека по образу и подобию того, кого любит больше всех — себя. Но не можем быть и особенно дурными, потому что боимся друг друга. Живем, как черви в дереве: каждый точит и прокладывает себе ход по своим силам. А не было бы зла, никто не знал бы, что такое добро.

— Замолчите, не смейте мне противоречить, вы, стершие границу между добром и злом! Огонь и смерть сметут вас!

И семижильный бич защелкал над головой изумленных гневом пророка. И они разбежались, недоумевающие, испуганные.

Пророк поднял глаза к небу.

По всему широкому небосклону поднялись зловещие черные тучи, предводимые распластавшимися, словно черные кресты, орлами. Молнии стали сечь землю.

Люди обезумели. Страх оледенил души. Скоро улицы опустели, и город стал похож на покинутого мертвеца.

Пророк остался один. Он стал хлестать бичом по камням и взревел:

— Выходите, подставляйте себя под бич мой! Над головой вашей нависла стихия! Гнев божий идет мне на помощь!

Но вокруг никого уже не было. Молнии вторили свисту его бича, удары грома заглушали слова его. Вдруг земля у ног его задрожала, каменная мостовая задвигалась, как бы бурля. Вся улица заходила ходуном. Одна за другой разверзались ямы, пропасти и тотчас закрывались опять. Откуда-то доносился подземный гул, будто земля рушилась.

— Господи, дождался я торжества гнева твоего! — воскликнул пророк, воздев руки к небу в душевном ликовании.

Мрачное лицо его искривила страшная улыбка.

Камни под ногами его кипели, и он двинулся вперед, чтоб избежать провалов, то увлекавших его вниз, то выбрасывавших кверху. Он бежал по улицам, и земля под ним дрожала, подбрасывая его, как игрушку.

Пророк обвел глазами вокруг себя, ища приюта и опоры, и вдруг с ужасом увидел, что земля трясется только у него под ногами, а дома вокруг стоят спокойно, неподвижно. Тогда он бросился бежать по той улице, что вела вон из города. Всюду, где ступали босые ноги его, земля с гулом вспучивалась и с гулом проваливалась. Охваченный ужасом, измученный, с окровавленными ногами, пророк выбежал наконец из города на зеленую волнистую равнину, простиравшуюся до самых гор. Тут он обернулся посмотреть на погибающий город.

Небо было темное, земля гудела и грохотала, но улица, по которой он выбежал, лежала спокойно — ни один камень не шевелился.

«Милосердный господь не захотел погубить их, но подкрепил мою угрозу своею»,— с гордостью подумал пророк.

Но когда он поднял руки к небу, чтоб возблагодарить всевышнего за подтверждение своего призвания, земля под ногами его снова заколебалась и откуда-то послышался тысячегласый звериный вопль. Стаи собак с воем выскочили из темноты и бешено помчались к пророку. Он поднял бич с угрозой и бранью, и они разбежались, но потом опять напали на него. Белые зубы их впились в его власяницу, разорвали ее на куски и совсем стащили с плеч. А семижильный бич перегрызли — жилу за жилой.

Пророк остался голый. Он бросился, как призрак, через поле. Молнии слепили его, ветер сбивал его с ног и трепал его длинные волосы. А собаки беспощадно, свирепо гнались за ним, и от их ужасного воя кровь стыла у него в жилах. Земля ходила под его ногами.

Всю ночь бегал пророк, охваченный ужасом, забыв о своем призвании, забыв о добре и зле, движимый одной только силой: чувством самосохранения, жаждой найти устойчивую опору, желанием избавиться от преследующих его собак.

Утром, когда солнце вновь залило своими лучами землю, он перевалил холм, за которым открылись пестреющие

цветами тихие поляны. Но и тут не мог он остановиться. Земля не держала тела его. Трепеща и шипя, она треснула и поглотила его, а потом, изрыгнув, закинула далеко. Там старик овчар пас стадо, беспечно играя на маленькой свирели. Увидев, что земля изрыгнула испуганного голого человека с обрывком бича в руке, старик подошел к нему и спросил:

— Отчего земля не принимает тебя? Кто ты?

— Я посланец божий. Пришел во имя бога наказать грешников. Земля не принимает меня, оттого что призвание мое еще не свершено.

— Земля не принимает людей, пока они не станут совсем добрыми, то есть пока не умрут,— сказал старик.

— Укажи мне убежище, где я мог бы скрыться, потому что я гол. Мне надо отдохнуть и починить бич свой,— попросил пророк.

— Ступай прямо к горе, господь направит тебя,— ответил старик, указав ему посохом, куда идти.

Пророк взглянул в ту сторону и покорно пошел. Земля успокоилась, и собаки исчезли. Небо было ясно, солнце в высоте спокойно сияло. Стыдясь наготы своей, он спешил, прячась на межах, за терновником, за мелкими кустами.

Он стал подыматься на гору, идя вверх по течению речушки, вившейся между высокими, странной формы, скалами. Колючие, жилистые заросли ежевики покрывали их подножие. В этом укромном, безопасном месте пророческий гнев снова вскипел в душе его, и он стал рвать длинные плети ежевики, чтобы поправить свой бич.

Вдруг чья-то сильная рука схватила его за плечо и чей-то голос повелительно промолвил:

— Остановись!

Пророк в страхе и удивлении выпрямился. Перед ним стоял Иисус Христос с пастушьим посохом в руке — тем самым, каким старик овчар указывал ему дорогу.

— Ты узнаешь меня? — кротко спросил Христос.

— Я узнал тебя, господи! — воскликнул пророк и хотел пасть на колени.

Но Иисус удержал его.

— Нет, ты не узнал меня, окаянный,— сказал он.— И не знал прежде. Меня не знает тот, кто исполняет заповеди мои с гневом и злобой. Твое сердце было каменным,— так стань же камнем!

Иисус простер десницу свою.

И доныне среди скал той горы стоит пророк — голый, окаменелый, с оборванным бичом в руке. Птицы и звери бегут его. Река прячется под скалами от его взгляда, и вокруг царит мертвая пустыня.

1934

ВЕСЕЛЫЙ МОНАХ

Наверху в горах есть старый монастырь Святой троицы, труднодоступный и потому почти совсем заброшенный. Придвинутый к подножию больших сыпучих скал, принявших причудливые формы чудовищ, окруженный обвалившейся каменной оградой, потонувший в бурьяне, с почернелыми от времени, покосившимися, полуразрушенными строениями, с покрытым травой двором, на котором торчат несколько жалких, умирающих деревьев, он глушью и пустынностью своей наводит печаль и страх.

Церковка, сохранившаяся бог знает с каких времен, расселась под тяжестью поросшей мхом черепичной крыши. Покривившиеся каменные стены подперты толстыми, уже прогнившими бревнами и хотя местами заново оштукатурены, но ушли в землю, и сводчатая дверка стала похожа на вход в пещеру. Чтобы войти в нее, надо согнуться в три погибели. Внутри пахнет разрытой могилой. От больших неровных плит, которыми устлан пол, веет смертным холодом. Солнечные лучи, даже бьющие прямо, не могут проникнуть сквозь глубокие маленькие окошки, затянутые густой паутиной, и лики на образах бледны, как у мертвецов. Угасшие очи их глядят безучастно и безнадежно.

Обширные леса, когда-то освежавшие и украшавшие всю окрестность, давно исчезли. Ливни промыли овраги и смыли дороги. По голым склонам злокачественными струпьями блестят лиловые оползни. Источники, которыми изобиловали долины, пересохли, и на месте их зеленеют теперь ямы со стоячей водой, к которым не подходит ни одно животное.

Сам бог отвернулся от этого места, и народ перестал ходить сюда на поклонение. Только старый монастырский повар да один сосланный в наказание монах лениво прозябают там, и неприветливость их отгоняет от этого места все живое. Орлы вверху, на скалах, покинули свои гнезда,

ласточки не чирикают под стрехами. Не слышно голоса горлинки. Филины и совы улетают прочь. Только пауки по темным углам ткут свои сети и качаются на карнизах пустых горниц.

А внизу, в лощине, не особенно далеко от всей этой мертвечины, находится чудное место: ровная широкая полянка, защищенная поросшими мхом и дикой геранью скалами, влажными от вечно точащихся струй. У подножия их сверкают кипучие холодные родники, собирающие воды свои в тихую, спокойную речушку. Посреди поляны — Святая могила. Это место отмечено камнем, повитым плющом, а возле камня находится маленькая куртина, где каким-то чудом растут рядом, словно собранные и посаженные добродетельной молодой женщиной, все цветы, какие можно найти в этих горах. Здесь цветут по очереди все они — от первой весенней фиалочки до осеннего крокуса, покрываемого первым снегом. Вокруг собираются тысячи птиц, а по ночам к реке сходится с гор на водопой множество животных. Они спускаются на поляну, кроткие и спокойные,— никто ни на кого не нападает. Волк и серна, лисица и куропатка утоляют жажду один подле другого.

Оттого и люди идут сюда с надеждой на исцеление своих душевных ран. Скорбящие, страждущие от тоски и мрачных мыслей, влюбленные без взаимности, счастливые молодожены, осиротелые дети, бездетные и многосемейные — все приходят с молитвой поклониться Святой могиле и умыть лицо целебной водой.

В могиле этой лежит не святой или мученик, чье имя занесено в святцы. И в церковных книгах нет песнопений, посвященных ему. Имя его мало кому известно. Но бог принял подвиг его и невидимой своей заботой поддерживает свежесть цветов на его могиле.

В этой могиле, на которой цветут в свой черед все цветы здешних гор, покоится молодой монах Еникий, прозванный когда-то Веселым монахом.

Выросши круглым сиротой у чужих людей и едва достигнув десятилетнего возраста, он был отдан послушником в только что основанный монастырь Святой троицы. Монахи сделали его козопасом, а по праздникам посвящали в церковный чин и поучали слову божию. Большую часть времени мальчик проводил в лесу один-одинешенек, с молчаливым стадом, играл на самодельной свирели и, улегшись навзничь на какой-нибудь поляне, смотрел в небо, слушал биенье своего маленького сердца и размыш-

лял о жизни и мире, который был далеко. В лесу он встречал разных животных и, привыкнув к ним, ничего не боялся. Он научился так искусно подражать крику зверей и птиц, что мог подманить волка и зайца. Умел собирать воронов в стаи. Подзывал серн и так ласково говорил с ними, что они приближались к нему и брали хлеб из его рук. Воробьи садились к нему на плечи и на голову, радуясь, когда он обращался к ним. Он носил зерна в мешочке и кормил их. Зайчата подходили к нему, становились перед ним на дыбки и часами глядели на него. Он укрощал змей свирелью, и они, ласкаясь, ползали у него по рукам и по шее, кроткие и послушные. Вызывал из лесу разных птичек и пел им песни, которые сам придумывал, а они его слушали, благодарные. Знал, где гнезда горлинок, и носил пищу самочкам, сидящим на яйцах. Волки лизали ему руки и не трогали стада.

Несказанно изумились старцы, увидев однажды вечером, что маленький послушник гонит домой коз, а по обе стороны от него идут и трутся о его колени два больших волка.

— Прогони их, ты играешь с дьяволом,— строго сказал ему игумен.

Мальчик что-то сказал волкам, погладил их, и они убежали в лес.

После ужина монахи собрались и долго беседовали. Ими овладела боязнь.

— Тут замешан сатана, не иначе,— сказал игумен.— Или этот мальчик — сам искуситель, который сюда втерся, чтобы нас погубить.

И решили благочестивые монахи отслужить в полночь всенощное бдение, прочитать молитвы над мальчиком и повесить ему на шею освященный крест. Ежели он воплощение лукавого — пусть лопнет и рассеется.

Мальчик со смирением выслушал молитвы, а когда ему повесили на шею крест, поцеловал всем руки и расплакался от умиления. Тут монахи убедились, что душа его чиста и невинна. И когда ему исполнилось двадцать лет, постригли его в монашество и приняли в братство под именем Еникия.

Каждый день, после вечерни, поднимались они вместе с новопосвященным по крутой тропинке на полянку среди высоких скал возле монастыря, садились там и вели душеспасительные беседы.

Они отреклись от всего плотского, земного и удалились в горное затишье, в стены монастыря для пустынножи-

тельства и покаяния. Постом, молитвой, воздержанием и умерщвлением плоти стремились они возвысить души свои до бога и перейти чистыми в его селения. Юный Еникий смиренно слушал их наставления, обращая прекрасные синие глаза свои к небу, и душа его исполнялась блаженством, подобно тому как гора исполняется благоуханием от цветов липы. Чем прекрасней становилась душа его, тем прекрасней становилось и лицо. Несмотря на пост и воздержание, тело его стало рослым и гибким, дышало силой и здоровьем. На розовых щеках его, цвета подрумянившегося пшеничного хлеба, появилась мягкая кудрявая бородка, волосы завились темно-золотыми колечками, синие глаза сделались глубокими, словно небесная лазурь, и сияли, как солнце.

Монахи глядели на него с удивлением, опасаясь, как бы этот расцвет силы и здоровья не погубил душу юного Еникия. А он целыми днями бродил, смирный и беспечный, подметал маленькую церковь, сажал цветы в садике, поливал их, а когда они расцветали, делал большие букеты и ставил их в глиняной чаше на маленький столик у себя в келье. Иногда же закладывал букетик за ухо, под камилавку, весело расхаживал взад и вперед и пел песни, которым научился еще ребенком у деревенских парней.

Все это не нравилось подвижникам, и однажды вечером, после беседы на скалах, куда Еникий пришел с букетиком герани за ухом, игумен сказал ему:

— Еникий, любовь твоя к цветам — мирское увлеченье, поэтому она грешна. Цветы напоминают о любви между мужчиной и женщиной. Самоотречение требует, облекшись в черное, бежать таких помыслов.

Еникий поглядел на игумена своими прекрасными глазами и промолвил:

— Цветы — самые прекрасные создания бога. Он посеял их на земле как пример красоты и чистоты.

— А песни, что ты поешь? — нахмурившись, спросил игумен, уставив на юношу испытующий взгляд.

— Это цветы, которые растут в душе человеческой по вдохновению божьему,— венки из самых чистых слов. Птички тоже славословят песнями творца вселенной.

— Еникий, мысли твои еретические... Страшись богохульства,— сказал игумен, вставая.

Монахи последовали за ним в молчании. Еникий остался на скале один. Солнце заходило, и горные долины наполнились тенью. Молодой монах устремил задумчивый

взор вниз — туда, где раскинулось широкое поле, где в бедных деревушках жили люди, и спросил себя: «О чем они там думают,— те, кто трудом добывают хлеб свой?»

При этих словах в пустыне раздался чей-то громкий смех. Мороз пробрал монаха по коже: смех этот показался ему злым и зловещим.

Посмотрев в ту сторону, он увидел, что в нескольких шагах от него, на краю пропасти, покачивая ногой, сидит лукавый.

— Ты — сатана? — строго спросил Еникий.

— Узнал,— ответил рогатый.

— Я узнал тебя по твоему мрачному лицу и по смеху, который не похож на человеческий, потому что звучит как шум низвергаемых в пропасть камней. Но зачем ты пришел?

— Меня привлекли твои мысли, и я пришел потолковать.

— Я не думал о тебе.

— Но думал, как я.

— Сохрани боже! — промолвил молодой монах и перекрестился.

— Твой крест не страшит меня, потому что твой вид привлекает.

— Ты, видно, пришел меня искушать?

— Я пришел кое о чем спросить тебя. О чьем спасении печетесь ты и твоя монастырская братия? И почему бежите людей?

— Чтобы не касаться зла, которое ты внушаешь, удалились мы в пустыню. Чтобы очистить души свои и сделать их достойными милости творца...

— Вы печетесь только о себе.

— Каждый должен думать о своем собственном спасении.

— Вы — мои рабы.

— Нет, искуситель, мы — твои враги.

— Покинуть ближнего и думать только о себе, это и значит быть покорным слугой моим.

Сатана рассмеялся сухо и резко, и в глазах его вспыхнули искры торжества.

— Уходи! — сказал Еникий, почувствовав в душе боль.— Уходи!

Но лукавый сидел, качая ногой и глядя настойчиво, нагло на молодого монаха.

Еникий три раза перекрестился и, повернувшись, стал спускаться по крутой тропинке к монастырю. И пока не

скрылся, слышал у себя за спиной ехидный смех дьявола, похожий на шум камней низвергаемых в пропасть. Еникий почувствовал, что пропасть эта — его собственная душа.

Он пошел к себе в келью, долго молился там и лег поздно. Но спокойный сон, который до тех пор всегда посещал его по ночам, на этот раз не пришел. Кошмары мучили юношу, посвятившего себя богу. Он метался на белой постели, и одна мысль терзала его совесть: «В самом деле, кому я служу? Богу? Он создал меня человеком; но почеловечески ли я служу ему, как на свой лад служат другие создания? Или я служу себе?.. Примет ли он душу, чуждающуюся подвигов, радостей и скорбей, которые он создал для нее? Или в самом деле я служу искусителю, который посетил меня?»

На другой день Еникий появился перед братией бледный, печальный, полный отчаяния. Они стали его расспрашивать, но он молчал. В тот день он забыл полить цветы. А вечером, когда все пошли, как обычно, беседовать над скалами, Еникий поцеловал игумену руку со словами:

— Братия, я хочу перед вами исповедаться. Вчера вечером меня на этом самом месте посетил лукавый, и я беседовал с ним.

Застигнутые врасплох словами Еникия, братья начали креститься. Игумен поглядел на него испуганно.

— Что ты говоришь, сын мой! Ты сошел с ума или бредишь?

— Я говорю чистую правду, отец мой.

И Еникий, опустив глаза, рассказал о своей встрече с дьяволом и повторил тот разговор, который с ним имел. А когда окончил, в стороне послышался резкий, холодный смех, и мороз подрал монахов по коже. На скале, на том самом месте, где вчера его видел Еникий, спокойно сидел дьявол. Рога его были выше кустов, а ноги болтались над пропастью.

Прервав свой наглый смех, он обратился к монахам с такими словами:

— Вы стары и не нужны жизни. А те, кто не нужен жизни, не нужны ни богу, ни мне... Вот молодой Еникий — мой.

Эти слова повергли всех в ужас. Но Еникий мужественно вскочил на ноги и, сверкнув глазами, грозно крикнул:

— Ошибаешься, лукавый! Я тебе не слуга. Бог пошлет мне силу уничтожить тебя!

Быстро подбежав к дьяволу, он изо всей силы пнул его ногой в спину. Дьявол со стоном свалился прямо в пропасть. Всем было слышно, как там внизу что-то лопнуло, словно бурдюк, и вокруг распространилось нестерпимое зловоние.

— Я его убил,— торжествующе воскликнул Еникий.— Бог дал мне мужество уничтожить его.

Пораженные чудом, монахи снова погрузились в молчание и стали спускаться по тропинке, непрерывно крестясь.

Утром, когда взошло солнце, они увидели, что скала, с которой Еникий столкнул дьявола, обрызгана кровью, а под ней вырос странный бурьян, распространяющий нестерпимое зловоние.

В этот день душа Еникия освободилась от тяжкого гнета, который давил его. На лице его появился румянец, а глазам вернулась прежняя чистота небесной лазури. Сердце его развеселилось. Он заткнул себе за ухо пестрый букетик, собрал птичек и пел им, поливал цветы и громко беседовал с горным эхом.

— Еникий,— сказал ему игумен, с печалью наблюдавший за юношей,— ты думаешь, что уничтожил дьявола? А я вижу, что он вселился в тебя и ты угождаешь ему деяньями своими.

— Нет, отец мой, душа моя спокойна. Я весел по божьему велению и по его велению хочу отказаться от подвигов в монастыре, чтоб посвятить себя подвигам среди людей. В шалашах и селах живут люди, бедные и богатые, и целый день ковыряют землю; они страдают и умирают, не зная радости. Я пойду служить им.

— Как же ты будешь служить им, неопытный, неподготовленный?

— Буду играть им на свирели, петь, доставлять им веселье и радость. И злые станут добрыми, а добрые не будут становиться злыми.

И на другое же утро Еникий приколол себе на грудь, к черной своей рясе, букетик красивых горных цветов, взял свою пастушью свирель и спустился вниз, к селам, где жили люди.

Несмотря на праздничный день, в первом селе, куда вошел Еникий, было пусто и печально. На улицах — ни души. Собаки, почуяв незнакомца, выскочили из своих грязных дворов и принялись на него лаять. Но мягкий голос и солнечная улыбка его сразу их успокоили: они стали тереться у его ног, радостно повизгивая. Еникий достал

свирель и заиграл. Воробьи слетелись со всех сторон, сели ему на плечи, на руки, на камилавку. Собаки дружелюбно пошли за ним по пятам, а петухи и куры взлетели на плетни — поглядеть на эту забавную процессию.

Откуда-то прибежали дети и стали громко кричать:

— Смотрите, сумасшедший, сумасшедший пришел!

Они стали бросать в монаха камни, непрерывно улюлюкая.

Отец Еникий остановился и, обернувшись к ним, промолвил:

— Подойдите, ребятки. Я вам дам по воробушку и спою.

Сердечная, добрая, веселая улыбка его покорила детей. Они окружили его, однако держались подальше — из страха перед собаками, которые шли за ним не отставая. Тогда монах обернулся к животным и велел им идти по своим дворам.

Собаки покорно остановились, потом повернули обратно и затрусили каждая к себе. Тогда дети подошли к монаху и стали с удивлением глядеть на воробьев, сидящих на нем спокойно и смело, будто на дереве.

— Вот сейчас я подарю каждому из вас по воробушку,— сказал Еникий и, протянув руку, велел воробьям лететь к детям.

Пташки вспорхнули и уселись на шапки, на плечи детей, а те радостно закричали, запрыгали. Еникий стал прыгать вместе с ними и запел веселую песню.

Тут из ворот высыпали мужики и бабы. С удивлением глядели они на веселого монаха.

— Господи,— закрестились старухи.— Не то тронулся, не то пьян, бедненький.

Но красивое лицо монаха сияло счастливой, сердечной улыбкой, и в кротких глазах его светились доброта и ум.

Слух о чудно́м монахе мгновенно облетел село; по всем улицам засновали любопытные, стремясь его увидеть. Мужчины, женщины, дети, даже немощные старцы сбежались на площадь, где остановился Еникий со стайкой ребят, на чьих шапках спокойно сидели, бесстрашно посматривая вокруг, воробьи.

— Колдун, колдун! — зашушукались бабы.

— Нет, это дьявол, сам дьявол! — сказал кто-то.— Держите его. Надо его связать и посадить в тюрьму.

И несколько человек, растолкав собравшихся, с бранью схватили монаха.

— Погодите немного,— сказал он, улыбаясь.— Вы ничего не знаете. Я никому не делаю зла. Я хочу только вас повеселить. Вижу, что вы мрачные, повесили носы, устали от работы, вижу постаревших от беспросветной жизни юношей, вижу девушек, повязанных платком по-вдовьи. Это неугодно богу. Поглядите на нивы, какие они зеленые, поглядите на пестрые от цветов луга, поглядите на цветущие деревья, поглядите на мушек, бабочек, пчел, на цветы и на растения — какие они радостные. А вы, люди, почему такие мрачные? Юноши и девушки, бегите домой, наденьте новые одежды и возвращайтесь сюда; заведите хоровод, а я вам поиграю.

Еникий говорил просто и с такой улыбкой, что всем стало весело, у всех в душе проснулся какой-то живительный трепет, какая-то неясная, но чудная надежда. Его отпустили. Девушки и парни с громким смехом и криками разбежались по домам, но скоро вернулись в одеждах, надевавшихся только на пасху, и веселыми стайками обступили монаха.

Он сказал им:

— Вы украсили свою молодость и ободрили души свои. Взгляните, как вы теперь прекрасны, как вы озарили, словно солнце, мрачное свое село. Вечно да будет солнцем молодость ваша! Ныне ангелы витают над вами, и бог берет вас под свою защиту.

И, смеясь, Еникий вынул свирель и заиграл быстрый плясовой напев. Вокруг него закружил кипучий хоровод. Весь вечер село провело празднично, а на другой день все поле звенело песнями работающих девушек.

Монах переходил из села в село, и всюду народ ждал его с открытым сердцем. Проходя по полю, он останавливался возле жнецов и жниц, пел им или играл на свирели, а вечером сворачивал к источнику или колодцу, где собирались девушки и парни, раздавал им цветы, что рвал днем по лугам и рощам, учил их новым песням и пляскам, которых они не знали.

Весь бедный край, по которому ходил Еникий, ожил. В душах поселилась надежда, уже их оставившая. Зависть и злоба исчезли. Люди начали глядеть друг на друга по-братски, друг другу помогать, любить друг друга. Еникий не говорил о боге и никого не стращал им, но бог сам вошел в озаренные надеждою души, и они стали добрей. Народ начал видеть в труде не муку, а благодать. Нивы очистились от бурьяна и терний и утроили плод свой. И сердца воспрянули.

Но бессмертный враг рода человеческого — дьявол — был недоволен. Он всюду ходил за Еникием и старался вырвать из сердец людских посеянные монахом надежды. И находил такие души, в которых ему удавалось заронить зависть и клевету. Скоро предержащая власть, оберегавшая души от падения, силой закона объявила Еникия безбожником, послала стражу взять его, посадила его в темницу и приговорила, как орудие дьявола, к сожжению живьем.

В назначенный день собрался народ, среди которого ходил Еникий. Женщин и детей насильно согнали к большому костру. Привели связанного монаха. Прекрасное лицо его было весело, и не было на нем бледности, вызываемой страхом. Увидев вокруг знакомых людей, украдкой плачущих, он улыбнулся и запел. Запел одну беззаботную песенку, которою часто веселил молодежь. Стража зажгла костер. Бурное пламя охватило сухие дрова, взвилось ввысь.

Схватили монаха, чтобы бросить его в огонь, как приказано. Но он остановил их улыбкой, промолвив:

— Оставьте меня. Я взойду сам.

И, воспев хвалебную песнь богу, он подошел к костру, поднялся по горящим толстым бревнам и вступил в середину огня. В толпе послышались вопли, причитания. Женщины упали на колени и, уткнувшись лицом в землю, рыдали. Никто не хотел поднять глаз и смотреть на муки веселого монаха, который ободрил их, оживил, преобразил своими песнями, весельем и кротостью. Но вот из костра полилась песня. Монах пел, сияя улыбкой, прекрасный, ласковый, вдохновенный, и огненные языки вокруг него превращались в цветы, пускали высоко вверх извивающиеся зеленые стебли, и оттуда посыпались благоухающие цветы — белые, розовые, алые. Еникий рвал их обеими руками и кидал народу, а тот стал кричать, петь хвалебные песнопения богу и плясать вокруг как безумный. Стража в ужасе разбежалась, а народ потянулся вслед за монахом, который сошел невредимый с костра, превратившегося в цветочную беседку.

И пошел он опять по земле со своими жизнерадостными песнями, что дарили надежду. Люди больше не падали духом, не унывали, у них проснулось желание трудиться и жить лучше. В сухих полях выкопали глубокие колодцы. Провели воду из гор, и расписные фонтаны забили по селам. Сады зазеленели, плодовые деревья появились во дворах, окна домов украсили горшки с цветами. Женщины

и девушки похорошели, мужчины приняли молодцеватый вид. Что-то новое народилось в этом углу земли: это была надежда, греющая, ободряющая, привязывающая к жизни...

Веселый монах умер. Бог, которому он служил всем сердцем своим, как только мог, взял его к себе, а люди зарыли тело его возле монастыря на той красивой полянке в лесу, и ангелы каждую весну сажают там множество разных цветов.

1934

Я. ТЫ. ОН

МИЛАЯ РОДНАЯ КАРТИНКА

Летний день. Еду в телеге.

Ширь, нивы, луга. Опять нивы, опять луга, опять поле. Посреди поля белая часовенка. Внутри спрятан контрабандный табак. Снаружи торчит крест. На кресте сидит невидимый ангелок, принесший благодать божью.

Возле часовенки — колодец. В колодце — холодная вода, бьющая из сердца матери-земли. Над колодцем — журавль. А бадью утащили.

Свернул утолить жажду: не тут-то было.

Еду дальше.

Телега стучит. Летний день. Ширь, нивы, луга, поле. Посреди поля — белая часовенка. Внутри спрятан контрабандный табак. Снаружи торчит крест. На кресте сидит невидимый ангелок, принесший благодать божью.

И так далее, и так далее.

Милая родная картинка! Не однажды радовала ты душу мою, не однажды туманила мне глаза слезами, чтоб я не мог видеть всех подробностей твоей красоты.

Вечный шоп, который везет меня, безучастен, как его кобыла, и к красотам вокруг, и к отсутствию бадьи.

— Утащили,— говорит он.— Новая была, так, может, кто взял для своей надобности.

В голосе и словах его нет ни возмущения, ни протеста. Напротив, в них слышится какое-то оправдание сделанного и некоторая зависть к тому, кто взял ее для своей надобности.

Плодородная маленькая котловинка, по которой лениво течет большими извивами река, нежится на жарком июльском солнце и молчит, молчит. Нынче праздник, нигде не видно работников. Буйная рожь уже начала золо-

титься. Пестрящая цветами густая зеленая трава покрывает луга. Упоительно пахнет клевером. В развесистых ветвях деревьев порхают парами смертельно влюбленные друг в друга горлицы. Вездесущие воробьи садятся стайками на пыльную дорогу и что-то ищут.

Перед нами высятся, живописно раскинувшись, невысокие горные отроги — одни голые, другие лесистые; над ними — маленькая тучка, а за ними — синяя даль, глубокая, лазурная, манящая мечты.

— Красивые места, дядя Митре,— обращаюсь я к извозчику.

— Э, что тут красивого! — безучастно откликается дядя Митре, щетинистая голова которого была бы отличной щеткой для дымоходов.

Без всякой нужды вытянув кнутом старых кобылок, которые все равно быстрей не пойдут, он опять погружается в свое философское безмолвие. А на кобылок слетелись мухи со всей окрестности. Набились в пах, под хвост, налипли за ушами, под брюхом. Нетерпеливо дергаются бедные скотинки, делают жалкие попытки хвостом, ногами, ушами согнать этих паразитов, почесать, где зудит: дядя Митре крепко держит вожжи в руках, у него не больно-то пошевелишься.

— Но, но, но, не заедят небось,— корит он их, когда они начинают очень уж беспокоиться, и вытягивает их кнутом.

— Как же не заедят, дядя Митре. Ишь какие гады: прямо облепили.

— Да ведь и шкура крепкая, не то что у нас с тобой,— философски оправдывает природу дядя Митре и снова погружается в небытие.

Меня мучит жажда.

— Останови-ка, дядя Митре: я из реки попью.

— Грязная она, грязная. Там гусей полно.

— Да я их пить не стану,— говорю я в тон его философскому взгляду на вещи.

— Их не станешь, а всё какую лягушку сглотнешь.

Красноречие дяди Митре удерживает меня. Он успокаивает меня сообщением, что близко село и там — хорошая холодная вода.

В самом деле, дальше дорога поворачивает и идет вдоль реки. Поле сузилось, мы выехали на пойменный зеленый лужок между низких лесистых вершин, и напротив, в глубине этого лужка, на взгорье открылось еле видное среди зелени маленькое село.

Прелестный вид! Милая родная картинка! Подымаемся на пригорок, поворачиваем, спускаемся в другую низинку — и мы в селе.

Мелкие, как воробьи, ребятишки, полуголые, грязные, немытые, необстиранные, нечесаные, валяются в пыли. Заслышав стук телеги, они разбежались во все стороны и, остановившись по краям дороги, стали кидать в нас камнями.

— Уж такой в селах обычай,— пояснил дядя Митре.— Раз мне чуть голову не прошибли.

— Разве здесь нет школы, учителя, который бы их научил...

— Еще и этому их учить, кому же это в голову придет. Так и должно быть. Дети...— оправдал и это явление дядя Митре, поставив его в ряд обыкновенных природных явлений.

Вот фонтан. Хороший цементный фонтан, с двумя трубками. Вода бежит из них обильной струей, переполняя каменное корыто и выливаясь через край.

Митре останавливает лошадей. Я поспешно соскакиваю с телеги и направляюсь к фонтану.

— Стой! — кричит кто-то.

Навстречу мне бежит молодой крестьянский парень в изношенной одежде, с загорелым, истощенным от недоедания лицом раба.

— Эту воду пить нельзя, дяденька,— говорит он.

— Почему? — удивился я.

— Она отравленная.

— Как отравленная? Зачем же вы даете ей течь? Почему не остановите?

— На селе у нас все знают, и мы не пьем. А ваша милость — чужой, могли отравиться.

— Ты-то кто? — спрашиваю.

— Я — караульщик... Караулю, чтоб никто не пил.

— А другого фонтана нет?

— Пять есть, да все запретные.

— Тоже отравленные?

— Тоже, почитай, отравленные.

— Так где же вы берете воду?

— У нас колодцы есть. От дедов еще остались.

Караульный подозвал женщину, проходившую мимо с полными кувшинами воды.

— Стойна, дай-ка господину водицы испить.

Стойна подошла с кувшинами, и я напился чистой холодной воды. Напился и дядя Митре.

— Что же это за отравленная вода такая, приятель? — снова полюбопытствовал я.

— Она, ежели сказать, хоть и не отравленная, а все равно как отравленная. Не пьем мы ее, вот и все. Зарок дали и за детей зареклись — не пить. Пускай зря течет, окаянная.

— Никак не пойму, братец, в чем дело. С какой стати хорошая вода — и вдруг какая-то заклятая?

— Да теперь уж чего таить. Коли хочешь, скажу. Все мы, все село с собаками и кошками, принадлежим к сегодняшней партии. А фонтаны-то устраивали бывшие. Хотели, значит, водой нас подкупить, чтоб мы за них стали. А мы зареклись ту воду пить. И никому ее пить не даем. Я вот нанялся караулить.

— Ага, теперь понял... Ну, трогай, дядя Митре.

Мы выехали за околицу, поднялись на холм. Я обернулся, поглядел еще раз на живописное маленькое село. Оно утопало в зелени фруктовых деревьев и больших орешин. Вокруг него были разбросаны только начинавшие золотиться нивы... Порхают горлицы. Чирикают воробьи. Солнце радостно светит, и небо простерло свой безбрежный лазурный шатер.

Милая родная картинка!

1933

ТОТ, О КОМ ВСЕ ХЛОПОЧУТ

Была назначена большая комиссия из важных лиц: всяких специалистов, ученых, академиков, экономистов, финансистов, инженеров, архитекторов, химиков, ботаников, зоологов, врачей, гигиенистов, филологов. Чтоб собраться, рассмотреть, обсудить и решить...

Что решить?

На первом заседании они так и не решили, что надо решать.

Задача была не из легких. Как вывести хозяйство из теперешнего тяжелого положения, как всесторонне улучшить условия жизни и труда бедствующих болгарских граждан, в особенности трезвых, трудолюбивых землепашцев и ремесленников?

Такой трудной задачи, само собой, не может решить ни одно правительство, из каких бы общепризнанных или са-

мопризнанных авторитетов оно ни состояло: тут надобна комиссия, а то и несколько комиссий.

И вот была составлена означенная комиссия, призванная решить судьбу народа, и указ о ее назначении переполнил надеждами от края до края весь райский сад, носящий название Болгарии.

На втором заседании вопрос был до некоторой степени выяснен. Выступали лучшие ораторы, специалисты, высказывали глубокомысленные суждения, произносили громкие слова, и было установлено, когда должно состояться третье заседание.

На третьем заседании было решено, что на следующем заседании необходимо избрать ряд подкомиссий по отдельным вопросам.

На следующем заседании было решено, что на следующем заседании будет избрана комиссия, которая конкретизирует возникшие вопросы.

Возникшие вопросы так упорно не поддавались уяснению, что потребовалось создать комиссию, которая внесла бы в них некоторую ясность, то есть отделила главное от второстепенного.

И пошло как по маслу. Началась кипучая деятельность. Каждый день газеты помещали длинные отчеты, сообщая народу, что все устроится, что принимаются серьезные меры и что скоро состоится новое заседание комиссии.

Обнадеженный народ на радостях перестал трудиться, перестал работать, ел, пил, веселился, дожидаясь решений комиссии и посылая телеграммы с разными требованиями.

Все принималось во внимание, бумаги подшивались, архив разрастался, комиссии отпускались средства на наем помещения, оплату чиновников и другие подобные нужды.

Работа шла полным ходом. Год, два, три, пять лет, десять, двадцать...

Такого рода предприятия — дело не шуточное. Надо собрать статистические данные, изучить отдельные вопросы, которые связаны с другими вопросами, помельче, и так, мало-помалу, добраться до самого главного.

Но в результате продолжительных заседаний и вследствие тяжелого переутомления комиссия забыла, в чем заключается главное.

Снова собрались уважаемые члены комиссии. Мудрые головы их расположились рядами, как кочаны на огороде. Думают, рассуждают, спрашивают себя:

— В чем, собственно, оно заключалось?

Забыла комиссия главное, а народ забыл комиссию.

И стали два эти элемента существовать отдельно,— так сказать, совершенно самостоятельно.

Комиссия заседает, а трезвый болгарский народ знай попивает себе и ждет... сам забыл, чего ждет...

Но вот в анналах верховной комиссии было отмечено необычайное происшествие. Как-то раз во время заседания дверь тихонько открылась, и в зал неслышно и как-то запросто, будто свинья в деревенскую горницу, вошел странный субъект.

Испуганная физиономия его ясно свидетельствовала, что он попал сюда по ошибке. Войдя, он тотчас отступил назад, робко снял шапку и пробормотал:

— Прощенья просим.

Непривлекательный субъект имел лицо загорелое и уже несколько дней не бритое, волосы сальные, нечесаные, свалявшиеся толстыми пластами на макушке, взгляд бесцветный, испуганный, уши мясистые, усы щетинистые, нижнюю челюсть отвислую, отчего рот был полуоткрыт, как у всякого деревенского парня.

На нем была поношенная и местами заплатанная крестьянская одежда, и шел от него смешанный запах чеснока, водки и пота. Этот специфический аромат наполнил весь чистенький, изящный зал, где происходило заседание.

Сообразив, что зашел не туда, странный субъект виновато улыбнулся и стал пятиться к выходу. Но тут один видный член комиссии с круглой и твердой головой, крепким вместилищем великих мыслей, вскочил с места и повелительно крикнул:

— Стой!

От этого крика незнакомец вздрогнул и застыл в дверях.

Тогда господин из комиссии просиял какой-то неземной улыбкой и, обращаясь к присутствующим, вдохновенно воскликнул:

— Наконец-то вспомнил! Господа, вот оно — главное. Вот ради чего мы заседаем. Вот тот, о ком мы все хлопочем. Великолепный экземпляр.

В зале все пришло в движение, загремели рукоплескания. У великолепного экземпляра еще сильней отвисла челюсть. Он даже улыбнулся, хотя как-то виновато.

— Да, перед нами — представитель народа,— продолжал оратор.— Представитель народа, о котором мы, цвет

нации, так хлопочем. Да, мы его не знали, никогда его не видели, до сих пор он был нам совершенно неизвестен. Но вот провидение посылает нам его. Не упустим же его, господа. Оставим его здесь и всесторонне изучим,— всесторонне и глубоко, всеми способами, какие предоставляет нам современная наука. Пусть зоологи классифицируют, химики анализируют, врачи произведут вскрытие. Пусть все специалисты применят свои методы, чтобы мы поняли его устройство, узнали, чем он страдает, и тогда на основе научных данных эффективно ему помогли.

— Принято! Принято! — закричали все в один голос.

Председатель позвонил. Вошел рассыльный.

— Отведите его на исследование,— распорядился председатель, указав на великолепный экземпляр.

Очередное заседание было отложено по случаю каникул.

* * *

Через два месяца, восстановив за лето силы, комиссия собралась снова.

— Приступим к анализу лица, о котором мы все хлопочем! — были первые слова председателя, и он велел рассыльному привести исследуемого.

— А он помер,— сообщил рассыльный.

— Как помер? — изумился председатель.

— Да так. Мы его кормить забыли.

Заседание было опять отложено.

1933

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ

I

В кабинете ресторана «Народная трапеза» собрались четверо добрых приятелей, хотя и принадлежащие к разным партиям, но все — люди современные, политики высшего разбора, гастрономы, общественные деятели и, конечно, дельцы в хорошем смысле слова. Это последнее общее им всем качество было той золотой цепью, которая их объединяла, вопреки политическим различиям.

Созвал компанию по неведомому поводу на гювеч участник ее — Тоню Карарский, видный представитель одной

из господствующих партий. Было уже половина девятого, стол стоял накрытый, ожидание длилось уже час, а гювеча все нет как нет.

Время от времени Тоню Карарский звал лакея и нетерпеливо спрашивал:

— Где же этот проклятый гювеч? Будем мы нынче ужинать или нет?

— Не готов еще, господин Карарский,— виновато отвечал служащий.— Скоро будет.

— Как «скоро будет»? Я с утра заказывал. Позовите хозяина!

Появился хозяин, высокий, толстый, любезный, угодливый, с большими закрученными вверх усами.

— В чем дело, Петко? Что с гювечем? Мы что, собрались здесь, чтоб мучиться?

— Спокойствие, спокойствие, господин Карарский. Готовится... Будет.

— Как «будет»? Я умираю от голода... Ради этого гювеча целый день постился.

— Что ж это такое? — закричали остальные.— Безобразие!

— Чем дольше ждете, господа, тем с большим аппетитом будете кушать,— возразил Петко, осклабившись и низко кланяясь.

— Ты смеешься, а нам не до смеха. Мы хотим есть, пойми!

— Принеси пока хоть водки и закуски. Кисленького чего-нибудь, понимаешь?..

Голод не тетка: при слове «кисленького» у всех потекли слюнки. Петко завертелся волчком и исчез.

— В такие вот моменты, господа, я вполне понимаю каннибалов и коммунистов... Голод учит многому, голод создал общество, и голод преобразует его... Да оно и требует преобразования, общество-то! Взять хотя этого типа, Петко: был официантом, стал миллионером и знать не хочет, что тут голодные сидят... Еще и смеется над нами. Вот против таких и нужна революция, большевизм: сорви с него засаленный фартук, отбери дома, деньги и пошли его на фабрику, машину вертеть! В один день брюха как не бывало. Что это за общественный порядок, который позволяет таким типам преуспевать и жиреть... Большевистский строй такому обществу! Чтоб каждого на свое место поставил!

Тоню Карарский возбужденно, нервно ударил кулаком по столу.

11

Тут официант торжественно внес водку и две-три тарелки с нарезанными солеными огурчиками и прочими возбуждающими аппетит яствами. Четыре друга с вожделением подняли головы и потянулись с вилками к тарелкам, прежде чем служитель успел поставить их на стол.

Через некоторое время другой официант, в сопровождении хозяина, принес гювеч. Аромат жареного наполнил комнату. Снаружи, в зале, заиграл оркестр.

Все четверо накинулись, как каннибалы, с ножами и вилками на горячий гювеч.

Наступило молчание.

Вдруг Тоню Карарский изо всех сил застучал ножом по тарелке. Вошел один официант, за ним другой, но Карарский продолжал стучать.

— Марш! Вон отсюда! Позвать хозяина!

Вошел Петко.

Карарский как бешеный вскочил на ноги и закричал прямо в жирное лицо Петко, колотя кулаками по столу:

— Что ты мне принес? По-твоему, мы — кто? Свиньями нас считаешь? Я заказал этот гювеч еще утром, в семь часов...

— Да что такое, господин Карарский?

— Что такое! Пакость, вот что... Гювеч сырой. И мясо и зелень...

— Не может быть.

— Как не может быть? — закричали остальные.— Попробуй сам, увидишь.

Петко покорно взял с соседнего стола вилку и вдумчиво разжевал кусок.

— Да нет... не сырой.

— Ты думаешь, мы дураки?! — возмутились все.

— Извините, господа. Может быть, и так. Повар нынче пьяный,— может, сплоховал. Но я не виноват...

— Как не виноват? За кого ты нас принимаешь?

Петко с виноватым видом пошел с кем-то совещаться.

— Вот каковы мы, болгары,— раскричался Тоню Карарский.— Кнут, кнут нам нужен! Диктатуру, диктатуру этому распущенному народу! Что это за права, что за вольность! Всякая свинья — барин... Никто не знает своих обязанностей! Пошлешь к нему гювеч изжарить, а он напьется, как скот, и либо сырым его оставит, либо спалит, либо лучшие куски слопает. Кнут, диктатуру, господа!

— И битье, битье! Каждого на свое место поставить! — поддержали остальные.

— Какая у нас глупая конституция! Какой толк в конституции! Нам фашизм нужен!

Все стали кричать, возмущаться, ругать болгарина, права его и глупые законы, избаловавшие этот распущенный народ.

И, сойдясь в мнениях по всем этим вопросам, они засопели и принялись ковырять вилками в огромном гювече. Один вынет кусок мяса, другой подцепит овощей, третий обмакнет хлеб.

— Какой вкусный и острый! Будь получше изжарен, чудесный был бы,— заметил один.

— Да... да...— подхватили другие, глотая кусок за куском и призывая диктатуру на разнузданного болгарина, не способного гювеч толком приготовить.

Мало-помалу страсти утихли, гювеч кончился.

Вдруг Тоню Карарский опять ударил по столу.

Вбежали официанты.

— Вина, вина! — крикнул он, на этот раз уже спокойнее.— Вы совсем про нас забыли. Какой же гювеч без вина?

III

Официанты быстро принесли заранее охлажденное вино и налили бокалы.

Четверо приятелей, успокоенные, сытые, чокнулись:

— А, славно! Вино чудесное.

— Оно дожарит гювеч.

Еще по бокалу... Дурное настроение как рукой сняло. Добрые друзья стали шутить, смеяться, даже заговорили о женщинах. Но коньком их была политика. Политика и вино — приятели. Она — принцип, а оно — идея. Тоню Карарский опять взял слово:

— Как хотите, господа, но наша Болгария — благословенная страна. Пей и любуйся, какой эликсир она рождает. Не правда ли?

Он говорил благодушно, мягко, ласково, просветленно.

— Чудо, чудо! — воскликнули остальные и отпили из бокалов.

— За твое здоровье, Карарский.

Карарский взял бокал.

— Да здравствует Болгария, господа, прекрасная демократическая Болгария! Что ни говори, а нет ничего луч-

ше демократии. Куда ни отклонится мировой политический маятник, а все противоречия разрешаются в демократии. В ней — сила нашего народа. Демократия — основа нашего будущего. Да здравствует демократия!

— Подымем бокалы!

1933

КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Об этом самом селе Распнипоп вы, наверно, не раз уже слышали — и всё хорошие, похвальные вещи. А любопытный читатель часто имел счастливый случай читать в газетах корреспонденции местных деятелей, обычно кончающиеся освежительно и ободряюще в таком роде:

«Благодаря местной сельской интеллигенции село Распнипоп быстро продвигается по пути просвещения и культуры, не оставляя втуне ни одной идеи, порожденной в низах, и ни одного почина, исходящего сверху. Хотя жители его бедны и еле кормятся непосильным трудом, души их широко открыты влиянию культуры и просвещения, и местная интеллигенция, во главе с учительством, не жалеет трудов, чтобы наполнить их плодами последних. Затерянная в живописных отрогах Балканского хребта, оторванная от путей сообщения и ближайших культурных центров, но напоенная дивной красотой природы, чистым воздухом и студеной балканской водой, местная интеллигенция неустанно, усиленно трудится и вправе гордиться достижениями, которым могут позавидовать многие богатые села. В настоящее время в результате долгих размышлений и обсуждений на общих собраниях положено начало многим мероприятиям культурного и просветительного характера, которые ждут своего осуществления. Честь и хвала бескорыстной и деятельной распнипоповской интеллигенции!..»

Я хорошо знаю бедное, но красивое сельцо Распнипоп и поэтому, со своей стороны, повторяю в тон восторженным корреспонденциям: честь и хвала его деятельной и бескорыстной интеллигенции!

За последние годы там уже возникло немало культурных начинаний, но благодаря чистому воздуху и студеной балканской воде по-прежнему рождается много разных идей, которые, вполне естественно, приходят в столкновение друг с другом, и задуманное медленно, но верно при-

ближается к осуществлению... Появилось скотоводческое общество «Рог». Но возникли кое-какие недоразумения, кое-какие препятствия, и общество распалось на козоводческое, овцеводческое, быководческое и свиноводческое. Это произошло потому, что на одном из собраний выяснилось, что понятие «свинья» не подходит под понятие «Рог», служившее названием общества,— по той простой причине, что свинья не имеет рогов. Отсюда, собственно, и пошли недоразумения, которые, как мы надеемся, скоро будут устранены.

С воодушевлением создали и кооперацию. Однако она просуществовала недолго — по той причине, что какой-то непонимающий важности этого мероприятия однажды ночью обчистил кассу, похитив всю наличность. Ведется следствие, результатов которого ожидают с нетерпением.

Был создан фонд для постройки новой школы и другой фонд — для построения храма. Но, к великому сожалению, из-за кризиса пожертвования в эти фонды не поступают. Ожидается помощь правительства.

Образовались пчеловодческое и садоводческое общества, а также общество молодежи по облагораживанию диких плодовых деревьев; но общий председатель и главный инициатор их недавно был назначен на пост старшего жандарма уезда, и, следовательно, надо дожидаться его увольнения, а неизвестно, до каких пор его партия останется у власти.

Таким образом, на каждом шагу — неустранимые помехи. Но жизнь есть борьба. Вооружись терпением и жди. И если ты на правильном пути — преуспеешь.

Так преуспело, например, дело организации распнипоповской читальни. Она возникла мгновенно,— по выражению ее председателя, подобно фениксу — из пылких сердец ревностной поборницы просвещения и культуры — сельской молодежи. Одно собрание, одна пламенная речь — и готово: есть читальня, получившая без всяких споров название «Просвещение и культура». Вывеска была изготовлена на другой же день одним учителем, учившимся два месяца рисованию. Он написал ее на большом листе жести масляными красками, выведя синие буквы по красному фону, и повесил в сельском управлении сохнуть впредь до утверждения устава.

Утверждение устава последовало в самое непродолжительное время — кажется, через полгода. За это время инициаторы собрали книжки, послав всем писателям подряд любезные письма с просьбой к адресатам выслать бес-

платно свои произведения, сделали шкафчик, расставили в нем книжки, но оказалось, что помещения для читальни нет,— обстоятельство, которого не учли.

На время пристроили шкафчик в лавке Цуцунека, торгующего бузой, который тоже — член совета читальни. Вывеску читальни повесили рядом с его вывеской. День был праздничный, и все село, охваченное культурной радостью, сбежалось на нее смотреть.

Все шло хорошо. Но, в силу местных условий, явились неожиданные препоны. В связи с окончанием зимы и началом весенних работ Цуцунек закрыл свою лавку. В результате читальня осталась без заведующего. Вдобавок помещение было снято кузнецом. Но кузница и читальня — две вещи несовместимые.

Тогда озабоченное правление читальни, собравшись, решило перенести инвентарь в один тесный заброшенный дом на площади, где внизу когда-то помещалась кофейня. Стены, двери, окна, штукатурка, пол — все было в самом жалком, облупленном, печальном состоянии: кажется, стоит дыхнуть — и рассыплется. На этом здании укрепили светлую вывеску «Просвещение и культура», а внутрь внесли шкафчик, стол и два стула, совсем не оставив, можно сказать, свободного места. Дверь не держалась на петлях и, несмотря на усилия председателя, не закрывалась плотно, а оставляла щель шириной в два-три пальца, так что ее нельзя было запереть.

— Не беда,— сказал председатель.— Не найдется такой святотатственной руки, которая посягнула бы на наши культурные ценности.

И он оказался прав. Всю весну дверь стояла отворена, и ничто из инвентаря не пропало.

Но потом, опять-таки в силу местных условий, произошло несчастье. Не знаю, как,— и, конечно, никто этого не объяснит,— в помещение читальни «Просвещение и культура» вошел буйвол. То ли зной заставил его искать здесь тени, то ли он сделал это, подстрекаемый каким-то любопытством, то ли его попросту соблазнили зеленые, как трава, переплеты одного журнала, с самого начала забытого на столе... Роковой поступок животного остается необъяснимым.

Буйвол вошел, повернулся и опрокинул стол; тот загородил дверь, и буйвол оказался в ловушке. С этажерки, где стояли главным образом болгарские писатели, книги упали на пол, и буйвол выразил свое мнение о них особым, вполне объективным способом.

Собралось все село. Ни один агитатор не выступал до тех пор в Распнипопе перед таким многолюдным собранием.

Как выгнать оттуда животное? Дверь загорожена столом, перевернутым кверху ногами и упирающимся в противоположную стену. Буйвол занимает все помещение и не может повернуться. Железная решетка окна такая частая, что малый ребенок не влез бы.

Поп, староста, учителя, все жители — стар и млад — стоят перед блестящей вывеской и разводят руками.

Пришел сторож, тоже член читательского совета читальни, хоть и не прочитавший ни одной книжки. Культурные привычки, ему свойственные, в значительной мере заглохли, и вследствие этого он был здорово пьян.

— Чего смотрите? — воскликнул он.— Дайте палку. Как вошел, так и выйдет.

И, просунув в окно руку с крепко зажатым в ней стрекалом, он принялся жестоко пырять ни в чем не повинное животное. Буйвол, до этого равнодушно ожидавший решения крестьян, задвигался, заметался, начал сопеть, мычать, наклонил голову, стал бить в стены своими могучими рогами. Здание закачалось, затрещало. Народ отпрянул. А сторож продолжал еще ожесточеннее пырять и колоть стрекалом.

Вдруг бедный старый дом заскрипел, жалобно вскрикнул и с шумом весь как есть рухнул. Испуганный буйвол выскочил и, обезумев, ринулся через площадь. На рогах его повисла красивая вывеска читальни, еще больше пугая его своим бренчаньем. Он убежал в лес.

Этот сам по себе незначительный случай привел к тому, что деятельность распнипоповской читальни «Просвещение и культура» прервалась на неопределенное время.

Да, но для других видов деятельности имеется широкий простор.

Усердие не угасло в сердцах.

1933

В ИНТЕРЕСАХ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Сцена представляет покосившийся домишко где-то в Ючбунаре. Здесь самая окраина Софии, и дальше город не может разрастаться, так как близко — сербская граница.

Домишко стоит задом к пустырю, лицом к улочке под названием «Божья тропинка». Всюду лужи, грязь, мусор, и посреди всего этого стоит полицейский, а вокруг него бегают чумазые ребятишки.

В домике две комнаты, разделенные коридорчиком. В одной живут хозяин с хозяйкой и чадами, в другой — бабка Лала с дочерью Ольгой, сельской учительницей.

Прошлый год Ольга учительствовала в одном дальнем селе, где-то у Черного моря. Всего ее месячного жалованья не хватало на железнодорожный билет до столицы. Ольга выросла в Софии, училась в Софии, отец ее был чиновником в Софии; он похоронен на софийском кладбище и давно забыт. Ольгу вырастила мать — бабка Лала. На свою крошечную пенсию она дала ей образование, и вот уже два года, как Оленька, слава богу, встала на ноги, нашла место учительницы.

Старуха счастлива. Ее мучает только одно: очень уж далеко живет дочка. Денег мало, а то бы она поехала к ней, зажили бы вдвоем. Да и как уедешь! Вся родня их здесь. Правда, пользы от этого никакой — они и не видятся вовсе, а все-таки совсем другое дело, когда знаешь, что поблизости есть свои.

И бабка Лала мечтает о том, чтобы Оленька перевелась куда-нибудь в окрестности Софии.

Неподалеку от их квартиры останавливаются крестьяне из ближних и дальних сел. Они часто распрягают телеги на соседнем пустыре. Бабка Лала постоянно ходит к ним, знакомится, расспрашивает: а вдруг найдется кто, поможет устроить Оленьку, как ей хочется.

И вот наконец бог внял их мольбам. Бабка Лала сама понять не может, как это случилось, только познакомилась она со старостой села Затерянный Дол. Человек он оказался веселый, душа нараспашку, поговорить с таким приятно. Бабка зазвала его к себе в гости, напоила кофейком, потом съездила к нему в село посмотреть, что там и как. Село оказалось красивое, школа хорошая, народ славный.

Открыла бабка Лала старосте свою душу, свое заветное желание:

— Помоги мне, сынок, сделай так, чтобы Оленьку к вам в село назначили. Уж такую милость окажешь, век не забудем.

Староста Стамен, потянувши себя за длинные усы, обнадежил:

— Сделаем, бабушка, всему свое время.

Теперь это время пришло. Учителя и учительницы ездят по деревням, ищут места. А Оленька все каникулы провела в Софии, никуда не ездила: ей место, можно сказать, обеспечено.

Как раз сейчас дело решается. Староста Стамен сидит в комнате бабки Лалы на диванчике, а она — рядом на низком стуле. Они сговариваются.

— На тебя вся надежда, Стамен. Так мы с тобой подружились, как родные стали. И молодайку твою, и детишек я полюбила, как свои они мне теперь. Ты уж порадей за нас.

Стамен, опустив красное лицо, молчит, слушает, подергивая свои усы. От него на всю комнату разит водкой.

Ольга стоит за дверью в коридоре и подслушивает, время от времени прикладывая глаз к замочной скважине.

— Я, бабушка, сказал — устрою, значит, устрою. Ну, сама знаешь, в школе кой-кому дать надо... да и мне сколько-нибудь... Кризис проклятый... Все нуждаются.

— Уж я, Стамен, и сама думала: без денег не выйдет; да что поделаешь, коли нету. Были б деньги, известно, легко бы дело сладилось.

— Я, бабка Лала, откровенно тебе скажу...

Староста поднял голову и, выпучив глаза, уставился на старуху.

Этот твердый взгляд смущает ее, и она вся съеживается на своем стульчике, словно ей на голову валится что-то тяжелое.

— Скажи, Стамен.

— Две тысячи на бочку, как приказ будет, а потом по сто левов с каждой получки. С других дороже беру, а с вас, как с знакомых...

— Ишь, Стамен, чего наговорил! — усмехается старуха, но на сердце у нее кошки скребут.

— Так-то, бабушка. Меньше никак нельзя. В интересах просвещения придется пожертвовать. К нам на село каждый день учителя ездят, больше дают... Подарки делают, буйволиц покупают. Нынче не то, что прежде: те глупые времена миновали. Нынче каждый должен на общее благо жертвовать.

— Твоя правда, староста... Да ведь было б что жертвовать. А то ведь нету, как же быть-то?

— Коли нет, не выйдет,— говорит староста, собираясь встать и ища глазами шапку.

— Постой, постой, не спеши,— хватается за него старуха, как утопающий за соломинку.— Поищем, найдем

деньжат, дадим. Только ты уж уступи. Как своим. Довольно тебе тысячу сразу и каждый месяц по пятьдесят, а?

— Не могу, бабушка, конкуренция большая. В интересах просвещения надо жертвовать.

Староста тянется за шапкой, которая лежит на другом конце дивана, и, взяв ее, вдруг спрашивает:

— А учительница-то где у вас? Я еще не видал ее, не познакомился.

— Сейчас, сейчас придет, Стамен. Стесняется она, дитя ведь еще.

Бабка Лала подходит к двери, кашляет и, приоткрыв ее, нарочно громко зовет дочь:

— Оленька, пойди сюда, дитятко.

Потом садится.

Вскоре дверь открылась, и на пороге, как ангел небесный, встала красавица Оленька в белом платье, с русыми пушистыми волосами, светлыми детскими глазками и лицом, зарумянившимся от смущения.

Она здоровается со старостой за руку и останавливается посреди комнаты.

— Нда-а! — говорит староста.— Красивая учительница ваша...

Выпученные глаза его впиваются в нее волчьим взглядом, на жирном лице бродит сладкая улыбка.

— Ну вот что, бабка Лала,—решительно объявляет он, поворачиваясь к старухе.— Ради вас уступаю. Две тысячи в рассрочку: одну сейчас, другую подожду. А из жалованья ничего не возьму. Об этом мы с самой учительницей договоримся...

1933

НЕИСКУШЕННАЯ

Перемена. Во дворе бегают, шумят, кричат дети. Их живой, веселый гомон влетает в открытое окно вместе с мягким, усталым светом осеннего солнца и создает в учительской атмосферу бодрости.

В комнате собрались молодые учителя и учительницы; каждый занят своим делом. Директор расхаживает из угла в угол и курит, о чем-то размышляя.

Только Пена Стоянова, новенькая учительница, поступившая в школу дней десять тому назад, не знает, чем заняться. Она то присядет к столу, то встанет и откроет

шкафчик, то остановится у распахнутого окна, откуда все сельцо как на ладони.

По улице, засунув руки в карманы, лениво проходят крестьяне в ветхой одежонке, небритые, с добродушными, почерневшими лицами, жалкие, как рабы, и скрываются где-то вдали за полуразвалившимися оградами грязных дворов. Из труб вьется белый дымок, тонкими струйками поднимаясь к небу. Во дворах хлопочут женщины с преждевременно постаревшими лицами.

Для Пены Стояновой все ново. Она с интересом наблюдает совсем незнакомые ей картины жизни этой чужой деревушки.

«Вот где привелось делать первые шаги самостоятельной жизни»,— думает она и улыбается. Улыбается, довольная тем, что наконец устроена, обеспечена, твердо стала на ноги после стольких лет труда, ученья, после всех пережитых невзгод.

Окончив учительский институт, она принялась энергично искать место и вот, слава богу, нашла. В селе так в селе! И тут люди живут. Простые. Пусть простые, но ведь люди.

Пенка Стоянова опять улыбнулась, но тут же нахмурилась. На хорошеньком юном личике ее появилась хитрая гримаска. Она протянула руку, взяла со стола свою сумочку и, открыв ее, принялась пересчитывать деньги. Двести левов. Вот все, что у нее осталось. А жалованье когда-то еще заплатят. Вчера отдала двести левов председателю школьного совета, своему покровителю — на угощение. Он сам попросил, да она и обещала. И остались эти двести. Придется экономить, а там видно будет, насколько их хватит.

На хорошеньком личике ее снова появилась гримаска, она снова нахмурилась.

В это время в дверь постучали. Вошел какой-то мальчик, запыхавшийся, весь в поту.

— Письмо директору!

Директор встал из-за стола и взял конверт.

— От кого?

— От директора в Чоперкове.

Директор поспешно распечатал и прочел письмо.

— Господа,— воскликнул он,— к нам едет инспектор!

Учителя в волнении склонились над запиской, которую директор держал в руках.

— Был в Чоперкове и едет к нам. Приготовьтесь, он может нагрянуть в любую минуту.

— Я ждал этого,— сказал один из учителей постарше.— Получил на днях последние номера его журнала и понял: жди, приедет с ревизией.

— Собственно, он затем и ездит, чтобы собирать деньги с подписчиков,— вставила одна учительница.— Боже мой, а я сумела подписать всего двух учеников, да и те мне еще не заплатили.

— А вы, барышня, подписали кого-нибудь?

— На что? — спросила Пена Стоянова.

— На детский журнал «Щебет», который редактирует и издает наш инспектор.

— Нет... Откуда же я знала? — спокойно ответила Пенка.

— Надо было подписать. Этому, видите ли, придают значение. Инспектор очень заинтересован. Возьмет на заметку, а потом — объясняйся.

— Да ведь я здесь, можно сказать, без году неделя. Такого журнала и не видывала.

Во дворе зазвенел колокольчик. Четвертый урок. Директор вышел в коридор и стал утихомиривать ребят. Вскоре наступила тишина. Учителя разошлись по классам, и начались занятия.

Пенка Стоянова никак не могла собраться с мыслями. Инспектор со своим журналом не выходил у нее из головы. Начала объяснять новый урок по болгарскому языку, но что-то не клеилось. Сойдя с кафедры, Пенка прошлась между партами, потом остановилась у доски и взяла в руки мел.

Вдруг дверь распахнулась, и директор ввел в класс невысокого, плотного господина; у него было круглое багровое лицо, воротничок и галстук слегка съехали набок.

— Господин инспектор, разрешите вам представить Стоянову, нашу новую, только что приступившую к работе учительницу.

— Очень приятно,— промолвил инспектор, любезно здороваясь с ней.

Директор вышел.

Пенка, вся красная от смущения и страха, велела детям сесть, подала инспектору стул и продолжала урок. Она всеми силами старалась взять себя в руки, но не могла. Чувствовала, что теряет нить, не в состоянии связно изложить урок и увлечь детей, которые в присутствии чужого человека испуганно присмирели.

Поглядывая время от времени на инспектора, учительница замечала на его лице усмешку.

Наконец он встал, подошел к ней и сказал шепотом:

— Вы, барышня, либо слишком волнуетесь, либо плохо подготовлены. Написали...

Пенка совсем растерялась. Ничего не слышала. В ушах у нее звенело. А последние слова она поняла совсем иначе. Ей показалось, будто инспектор сказал что-то о подписке на журнал. И она тут же быстро, машинально ответила:

— Да, да... подписала...

— Что? — с легким удивлением спросил инспектор.

— Несколько человек подписала,— задыхаясь, зашептала учительница.— И деньги собрала.

Пенка взяла с кафедры свою сумочку и, повернувшись спиной к детям, протянула ему свои последние двести левов.

Увидев деньги, инспектор схватил их и, зажав в кулак, сунул в карман.

— Благодарю вас... Хоть я этого... Но все же... благодарю вас,— сказал он, и лицо его просияло.— Вижу, вы способная учительница... Начинающая, еще неопытная и неискушенная, но с отличной подготовкой. Поздравляю вас!

Он попрощался с ней за руку и отправился в соседний класс.

Пенко положила на кафедру свою теперь совсем уже пустую сумочку, опустилась на стул и сказала:

— Дети, откройте тетради и перепишите первые пять предложений из хрестоматии.

Ребята зашевелились. Послышался шелест бумаги, скрип перьев.

Пенка Стоянова подперла голову руками и задумалась.

1933

ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ ВОРОБЬИ

Ах, Боба, опять ты просишь сказку. Ну, хорошо, расскажу. Только все ведь уж рассказаны. Про деда и бабу, я знаю, ты не захочешь. Надоела. Про волка и ягненка ты тоже знаешь. Знаешь и про Иванчо и Марийку. О злом мальчике? Теперь злых мальчиков нет. Теперь педагогика достигла совершенства и не допускает, чтоб были злые мальчики. Тысячи школ, рассадников добра, полные от-

борных педагогов, так ловко превращают злых детей в добрых, что не отличишь. Сказать тебе по правде, Боба, я вообще боюсь рассказывать детям сказки. Это опасно. Как знать, какую неприятность может мне устроить какой-нибудь ученый педагог. Они ведь молчат, сопят, следят и думают. И каждый год выдумывают что-нибудь новое. Они еще не сказали мне, какие сказки надо рассказывать таким маленьким, как ты, но постоянно говорят о том, чего не надо рассказывать.

«Довольно рассказывать вздорные выдумки про деда и бабу, про Иванчо и Марийку,— объявляют эти педагоги.— Давайте детям что-то реальное, готовьте их к жизни, приучайте глядеть на вещи прямо. Будущий гражданин должен быть соответствующим образом подготовлен,— он не должен питаться иллюзиями, быть слепым к действительности, иметь голову, замутненную всякими нелепыми фантазиями. Перестаньте!»

Когда я слушаю эти умные речи, Боба, меня берет страх. У меня вылетают из памяти все сказки, и я только молча улыбаюсь. А некоторые педагоги кричат:

«Не надо больше рассказывать детям о царях и царицах; их обаяние в жизни кончилось. Что это за раболепные пажи и верноподданные народные массы? Нам нужны свободные граждане!»

Все мы, кто любит рассказывать детям сказки, Боба, содрогаемся, слыша эти гордые речи.

И начинаем с трепетом ждать от новых педагогов новых сказок. Ждем, ждем, а ничего нет. Что же оказалось, Боба? Это был только педагогический азарт.

Видишь, какие страшные вещи бывают в реальности, в действительности, дитя мое. А начни я про них рассказывать, знаю — тебе не понравится; может, ты даже и слушать не станешь.

Лучше расскажу я тебе, Боба, кое-что такое, что тебе понравится. Расскажу о воробьях. О том, откуда произошли воробьи. Эти маленькие серые птички, которые прилетают к нам в сад, которые не умеют петь, а только тихо, жалобно чирикают, которым зимой нечего есть, и ты бросаешь им кусочки хлеба... Эти маленькие птички были прежде такими же детьми, как ты...

Жил-был один писатель. Ты знаешь, что такое писатель, Боба? Не знаешь? Писатели — это люди, которые не способны ни к какому серьезному делу и поэтому пишут книги. Каждый из них думает, что его книги лучше всех. Писатели — совсем особенный народ. Они очень любят

говорить о себе, а еще больше — чтоб о них говорили другие, и не только говорили о них, а восхищались ими. Поэтому они дружат с одними льстецами. Человек, который любит говорить правду, не должен к ним приближаться. Ему несдобровать, если он попробует открыть рот, потому что они, Боба, страшно мстительны и злопамятны. И когда пишут книги, им кажется, будто они делают самую необходимую для человечества работу,— самую благородную, самую полезную и самую трудную.

У каждого из них — своя специальность. Что это такое — подробно объяснять не буду: ты не поймешь. Но самая высшая специальность — это «детский писатель». Это такие писатели, которые думают только о детях и пишут — кто стишки, кто сказочки — на миленьком, сладеньком, приторном и удобопонятном языке, специально для маленьких деток, для блага, удовольствия и пользы их маленьких душ.

И вот, Боба, случилось так, что по вине одного такого писателя маленькие дети, прочтя его стихи, превратились в воробьев.

Этот писатель сидел целый день за столом и писал стишки да сказочки. А у него под окошком стоял издатель, ловил исписанные листки и выпускал книжки.

Писатель все сидел и писал. Он не знал отдыха. Очень был трудолюбивый. Только когда уж совсем устанет, так остановится. Остановиться — остановится, а из-за стола не встает: во время отдыха он рисовал на листе бумаги проект памятника, который должно ему воздвигнуть благодарное потомство.

Писал он, Боба, стишки и сказочки, милые, сладкие. И чтоб они выходили милей и слаще, употреблял разные милые сладкие слова. А чтоб детям было понятней, все существительные имена делал уменьшительными: цветок становился цветочком, лев — львеночком, глаз — глазочком, теленок — теленочком, огурец — огурчиком, аист — аистиком, мама — мамочкой, папа — папочкой, писатель— писателиком. Уменьшал их, и становились они миленькими, сладенькими, звучненькими.

Он писал, а дети по всей стране читали, учили наизусть, день и ночь непрерывно твердили эти сладкие стихотвореньица и рассказики, читали, смеялись, плакали, кричали, прыгали... И от частого чтения уменьшительных, вместо того чтоб расти, стали уменьшаться. Уменьшались, уменьшались и в конце концов превратились в маленьких воробышков и стали чирикать стихами.

Вот откуда произошли воробьи, Боба.

— А что писатель, папа?

— Писатель, писавший уменьшительными, тоже стал уменьшаться, Боба. Уменьшался, уменьшался, но, так как был не ребенком, а взрослым, то не мог превратиться в воробья и стал сорокой.

1933

УДАЧНАЯ ОХОТА

К трактирчику у шоссе подошли один за другим трое друзей-охотников, усталые, измученные. И, к великому огорчению, с пустыми руками. За хозяевами, прихрамывая, понуро брели собаки. Вид у них был разочарованный, пристыженный, а печальные глаза выражали насмешку. Еще на заре охотники пустили их в редкий низкорослый лесок, покрывавший, куда только хватал глаз, окрестные холмы и овраги, и палили весь день. Собачий лай не утихал ни на минуту. Прислушиваясь к выстрелам и тревожным голосам гончих, каждый из охотников, рассыпавшихся по лесу, ждал богатой добычи.

Но успех охоты зависит и от везенья. А сегодня им не везло. Дурная встреча — и все насмарку. Ни одного зайца не убили, хоть они и выскакивали из каждого куста.

День был на исходе, вечерело. Пасмурное осеннее небо прояснялось. У трактира охотников ждал автомобиль. И вот они сошлись, унылые, недовольные.

Расположившись за столиком под акациями, у самого входа в трактир, они без всякого воодушевления вели отрывочный разговор.

— Экая неудача! Только патроны зря расстрелял. Ранишь его, а он, проклятый, в кусты уползет — и поминай как звали! Кругом кровь, а заяц как сквозь землю провалился.

— А у меня-то, у меня! Надо же, пальнул раз — и наповал! Лежит посреди поляны, не шевелится. Подхожу взять, а он — хоп! — прямо из рук улизнул. Что за чертовщина! Говорил ведь утром жене: не провожай ты меня, когда на охоту иду, не провожай! А она знай тащится до самой калитки.

— А я ведь возле семинарии живу. Только из дому вышел — навстречу поп. Конференция, что ли, у них какая. Всю неделю квартал кишит попами.

— И у меня дурная встреча была. Едва за порог ступил, глядь, в окне напротив соседка торчит, метелкой из чего-то пыль выбивает. Лентяйка несусветная, а тут — поди ж ты — в пять часов поднялась. Увидела меня и кричит: «В добрый час, в добрый час!» Я чуть не лопнул со злости: баба, да еще с метлой! Так и подмывало прихлопнуть ее на месте.

В этот момент показался четвертый из их компании, по прозвищу Рыжая борода.

Весь в поту, он еле тащил собственное брюхо. Расстегнутая рубаха прилипла к телу, охотничья шляпа с торчащим соколиным пером чуть держалась на затылке. Он остановился, обвел друзей взглядом, ухмыльнулся и, подняв крупного зайца, потряс им в воздухе.

Завидев его, товарищи повскакали на ноги с возгласами восхищения, однако зависть пронзила их сердца.

— Упарился тащить его, проклятого. Из-за него еще двух-трех упустил! — объявил Рыжая борода, подойдя к товарищам, и бросил зайца на землю.

Улегшиеся было под столом собаки лениво встали, обнюхали добычу, взглянули на хозяев и снова забрались под стол.

Рыжая борода подсел к компании, заказал кружку пива и торжествующе спросил:

— Ну, как дела? Палили вы здорово! Должно быть, весь автомобиль зайцами завален?

— Ни одного, ни одного, дорогой,— в один голос ответили друзья.— Ни единого...

— Да ну! А пальба-то какая!

— Все впустую... И все эта дурная встреча, черт возьми!

— А я, только мы разошлись,— принялся рассказывать Рыжая борода,— выбрался вот туда наверх, на широкую такую полянку. Не успел приготовиться, собака залаяла, и прямехонько на меня — заяц. Вскидываю ружье, бац! — мимо. Утек, шельмец, цел и невредим! Собака оторопела от выстрела и потеряла след. Ждал, ждал — ничего. Спустился я в овражек. Отличное местечко, думаю,— должны тут зайцы быть. Только подумал — один из-под самых ног выскочил. Нажал курок,— тра-аах! — а косой уши прижал, и след его простыл... Заряд, видно, слабый, решил я. Достал другие патроны. В прошлом году еще итальянским порохом их начинил. Заряжаю ружье. Заряжаю, а самого зло разбирает. Зову, зову собаку — сгинула куда-то! Наконец слышу поблизости: гав-гав, гав-гав!

В кустах около меня зашелестело, гляжу — один заяц выскакивает, за ним другой, третий — все из одного места. Прицеливаюсь и с наполеоновским спокойствием стреляю в последнего — пригвоздил на месте, стреляю по второму — тот взвизгнул и, волоча зад, скрылся в кустах. Поднимаю добычу и бросаюсь с собакой подбитого искать...

Рыжая борода, прервав рассказ, поднес к губам кружку с пивом.

В эту минуту из придорожных кустов, размахивая зайцем, вынырнул оборванный мужичонка со старым ружьишком за плечами. Подойдя к компании, он обратился к Рыжей бороде:

— Послушай, господин, бери еще одного. Дешевле первого уступлю. Пятьдесят левов, и по рукам!

1934

ТУБЕРКУЛЕЗ

Читая в газетах разные сообщения о туберкулезе, я дрожу от страха. На днях вот опять прочел статейку по этому вопросу, остроумно озаглавленную «Наше отношение к туберкулезу». И там — всякие ужасы. Ничего утешительного. Чтобы хоть сколько-нибудь оградиться от этого врага человечества, мы должны вести непрерывную борьбу против самых страшных возбудителей этой болезни: нищеты и невежества.

Нищета и невежество! Тут у меня рождается характерное для болгарина сомнение в справедливости этого общего убеждения всех врачей, общественников и вообщественников. Потому что, откровенно говоря, я каждый день встречаю всяких нищих духом и невежественных личностей, которые, слава богу, пользуются цветущим здоровьем и не испытывают никакого страха перед бичом человечества. Поразмыслив, я прихожу даже к противному науке мнению и, наблюдая жизнь, убеждаюсь, что, чем более бедна духом и невежественна данная личность, тем она здоровей сама и тем более здоровое рождает потомство.

Так что не только нищета и невежество—причина распространения этого ужасного «бича человечества». Есть и другие причины, которые наука должна изучить и исследовать, но которыми она до сих пор пренебрегала.

В качестве примера расскажу вам одну историю, может быть, малозначительную и неинтересную, но печальную и поучительную.

Все мы помним красивую, прекрасную и добрую Надю Сарачеву, учительницу математики в нашей женской гимназии. Это была очаровательная и очень образованная девушка, кончившая в Германии с отличием, что ей далось нелегко, так как она была дочерью бедного многодетного чиновника. Проявившиеся у нее еще с детства математические способности заставили отца ничего не пожалеть — во что бы то ни стало дать ей образование. Надя оправдала надежды: кончила блестяще и сразу получила место учительницы.

Вскоре отец ее умер, и семья осталась на руках у Нади как самой взрослой.

Надя была здоровая, энергичная, жизнерадостная. Она не пала духом от постигшего ее несчастья, а впряглась в работу и занялась воспитанием младших братьев и сестер.

В школе ее боготворили. Коллеги любили ее, уважали и даже немного боялись, так как в ней были очень сильны чувство справедливости и любовь к правде,— свойства, пугающие души менее сильные. Ученицы тоже любили и уважали ее. Она ненавидела лицемерие и подхалимство. Некоторые пробовали дарить ей, как и другим учительницам, цветы, подарки, но она так резко пресекала эти попытки, что те, кто это делал, наверно, до сих пор помнят.

В одном из классов была девочка, резко отличавшаяся от остальных: миленькая, хорошенькая, но невероятно избалованная. Отец ее был богач и видный деятель одной из партий. Звали эту девочку Лалка, уменьшительно — Ладенце.

Не знаю, что собой представляла эта своенравная особа в действительности, но она была любимицей всех учителей и учительниц, и они еще больше ее портили.

Мало-помалу Лаленце перестала считаться с дисциплиной, слушаться, учиться. Она была такая миленькая, такая хорошенькая, из такой видной семьи, что ей все прощали; учителя, из чувства симпатии, вместо двоек ставили ей пятерки. Лаленце спокойненько, легонько, тихонько переходила из класса в класс, а родители радовались и благодарили добрых учителей, как только могли.

Надя, учительница еще новая, плохо посвященная во внутреннюю, интимную жизнь гимназии, но руководимая чувством справедливости, вызвала однажды Лаленце, выслушала ее ответ и была удивлена.

— Как же вы отвечали до сих пор, мадемуазель? Вы ничего не знаете! Ставлю вам двойку и советую заняться как следует, чтобы исправить отметку,— иначе придется остаться на второй год.

Лаленце сердито бросила мел, топнула ножкой, заплакала и села на место.

— Я никогда не получала двоек,— сказала она.— Вы мне первый раз... Я скажу папе.

— Очень хорошо сделаете, мадемуазель. Это пойдет вам на пользу,— без гнева ответила Надя и вышла из класса, так как звонок возвестил перемену.

На другой день директор вызвал ее к себе в кабинет. Там на диване сидел толстый господин в шляпе, с красным лицом, суровый, грозный. Тут же, возле письменного стола, стоял директор.

— Вы — мадемуазель Сарачева, которая поставила вчера моей дочери двойку и расстроила ребенка?

— Кто ваша дочь? — спросила Надя, чувствуя, что у нее по спине поползли мурашки.

— Лала Дринская,— сказал директор.

— Вы — ее отец, сударь? Мне жаль девочку, но что делать? Она абсолютно ничего не знает...

— Абсолютно ничего не знает? А вы абсолютно все знаете,— иронически промолвил отец.

— Я исполняю свою обязанность.

— Нынче же, без промедления, исправьте отметку!

— Я спрошу ее еще раз, и если она...

— Никакого второго раза! Вы исправите отметку!

Учительница вышла, расстроенная, обиженная. Какая наглость! Она не возненавидела девочку, как обычно бывает в таких случаях. Она по-прежнему давала ей указания и спрашивала ее, но та по-прежнему ничего не знала, и каждый раз приходилось ставить ей двойку.

Вскоре правительство пало. К власти пришло новое. Министром просвещения стал отец Лаленце. Он вызвал Надю Сарачеву в министерство.

— Вы узнаете меня, сударыня? — грубо спросил он.

— Да, господин министр.

— Почему вы не исправили отметки моей дочери?

— Потому что она ничего не знает...

— Сейчас же ступайте в школу и исправьте. Вы поставите ей шесть. Иначе уволю!

У Нади ноги подкосились. Она не могла дойти до школы, а еле добрела до дома и слегла в постель. И больше уже не вставала.

Через три месяца Надя Сарачева умерла от скоротечной чахотки...

Я утверждаю, что не только нищета и невежество — причина туберкулеза.

1934

САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ

В село прибыл новый староста. Крестьяне встретили его радостно, с новыми надеждами: отныне село их становилось большой общиной.

Все оживились, всех охватило приятное волнение. А между двумя корчмарями, кровно ненавидевшими друг друга, так как каждый из них возглавлял одно из двух крылышек расколовшейся партии, началось благородное соревнование: кому удастся привлечь нового старосту на свою сторону? С этой целью оба послали ему втайне друг от друга по бочонку доброго винца, по бутыли кюстендильской сливовицы, навели порядок в своих заведениях, сняли со стен выпущенные их партиями календари и принялись плести хитроумные интриги.

Все бы ничего, да новый староста оказался трезвенником. Более того, он запретил всем трезвенникам переступать порог корчмы, дабы уберечь их души от развращающего действия алкоголя.

Корчмари в отчаянии разбавили вино водой, и все пошло по-прежнему.

Староста, однако, не забыл навестить добрых корчмарей.

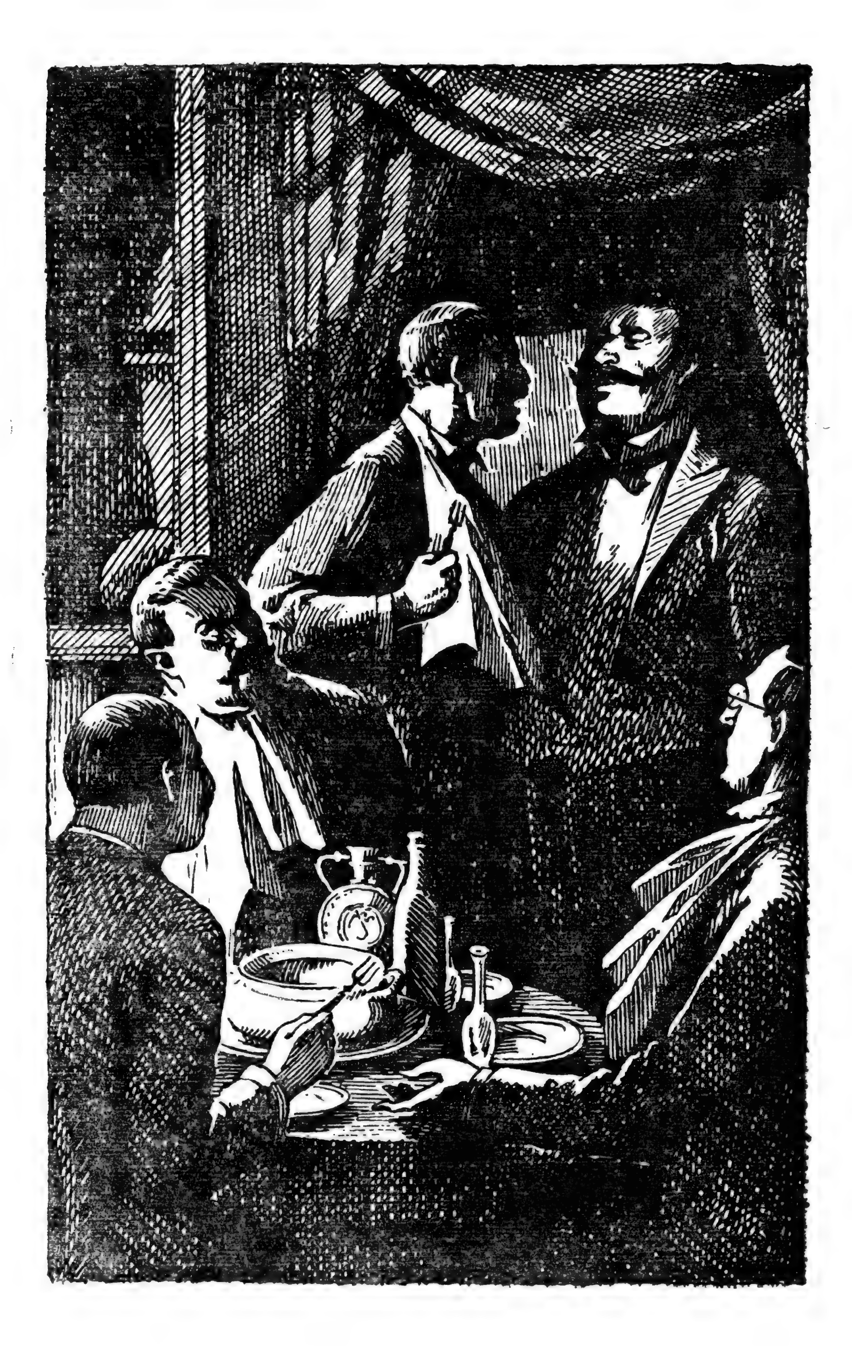
Сперва он зашел к Ивану, который за несколько дней настолько преобразился, что переменил даже вывеску на своей корчме. Звучное название «Святой раскол» было закрашено, и по нему белой краской выведено: «Братское согласие».

— Дядя Иван,— сказал староста.— Хочу посоветоваться с тобой. Ты уже много лет держишь корчму, не один год старостой был и, должно быть, хорошо знаешь людей на селе. Укажи мне двух-трех самых честных, самых почтенных, которые могли бы помогать мне в работе делом и советом.

Иван задумался.

— Как тебе сказать, господин староста! Трудный это вопрос...

— Почему же, дядя Иван?
— Да потому что...
— Ну-ну, говори откровенно.
— Откровенно-то откровенно, да... В нашем селе — все честные. И я, что касаемо честности, тоже честный. Только вот по мирскому делу обвинили меня...
— По мирскому делу?
— Да будто я, когда старостой был, общинные деньги присваивал. Даже в тюрьму меня за это сажали... Честно три года отсидел. А все дрязги партийные. Но теперь срок лишения в правах вышел, и я опять правоспособный. А еще кого назвать, дай денек-другой подумать...
Староста отправился ко второму корчмарю, дяде Стояну. У того раньше на вывеске значилось: «Смерть противнику». Теперь он повесил новую большую жестяную вывеску, на которой было написано крупными буквами: «Кротость и смирение».
— Дядя Стоян,— сказал староста.— Я к тебе за советом. Ты уже столько лет корчму держишь, столько лет старостой был,— должен, значит, хорошо людей на селе знать. Укажи мне двух-трех самых честных, самых почтенных, которые помогли бы мне в работе делом и советом.
Стоян почесал затылок.
— Самых честных и почтенных? Честней и почтенней меня в этом селе не сыскать. Правда, грешил я,— да ведь кто без греха? — но сторицей искупил свои грехи: два года отсидел в тюрьме, но при смягчающих обстоятельствах. Потому и помилованье мне от царя вышло: год скостили. В пьяном виде документы подделал, добра хотел — дружка по партии решил выручить. Пустяк. Сейчас я честный. Никто ничего не скажет. Ну кого же еще назвать? Денек-другой подумаю и скажу.
Староста ушел, довольный ответом.
Через два-три дня он созвал всех крестьян на сход. Явились и дядя Иван и дядя Стоян.
— Я собрал вас затем,— сказал староста,— чтоб вы назвали мне четырех самых честных, самых уважаемых граждан, которые могли бы помогать мне в работе делом и советом. Выскажитесь по совести и назовите этих нужных мне людей.
Зашевелились крестьяне, закашляли, переглядываясь, и умолкли, понурив голову.
— Высказывайтесь, господа, прошу вас! — настаивал староста.
Молчание.



— Не стесняйтесь, господа.

Снова молчание.

— Кто просит слова?

— Разрешите мне, господин староста,— подал голос какой-то парень, стоявший возле двери.

— Говори.

— Да что тут говорить, господин староста? Кто же про другого скажет, что тот честный? Спросите, кто самый отъявленный жулик — сразу скажем. А про честных — потруднее будет. До сих пор самыми честными слыли у нас дядя Иван и дядя Стоян — они нами управляли, стравливали нас меж собой, из-за них мы дрались, колотили друг друга. Я предлагаю снова их выбрать.

— Правильно, правильно! — закричали все, и с души у них словно камень свалился.

Дядя Иван и дядя Стоян были избраны единогласно.

1934

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

ЧЕРНЫЕ РОЗЫ

КАРНАВАЛ

Хочу замаскироваться. Надо показать свету, что я могу, скрыв лицо свое маской, смеяться над ним... Вот что я сделаю: надену маску на масленицу.

Стану митрополитом, сяду в великолепную колесницу, поставлю перед собой две жареные бычьи туши да бочку вина и буду есть, буду пить, буду набивать себе брюхо до отвала на глазах этой оборванной, бесстыдной черни, которая постится, чтоб искупить свои грехи, и бежит за мной в восхищении.

Но поповские маски запрещены на сцене. Они могут появляться только в церкви и в корчмах. Значит, нельзя.

Тогда замаскируюсь под старого учителя гимназии. Натяну на лицо пьяную угрюмую маску, какую-нибудь филистерскую рожу, не имеющую даже отдаленного отношения к науке. Пристрою себе огромное брюхо и пойду по улицам, а на шею себе повешу корзинку с буквами, которые буду есть, глотать без всякого смысла и толка, и из меня поползет ужасная галиматья. Потом стану открывать черепа малым детям, набивать им эту галиматью в мозги и реветь так, чтобы весь мир слышал:

— Вы должны стать людьми! Должны подготовиться к жизни!..

Или — нет! И этого не надо. Такое не может быть маской, такое может быть только действительностью. Тогда что же?

Великолепная идея! Сделаюсь властелином, соберу всяких идиотов и глупцов, назову их «народом» и заставлю играть со мной в государство. Это будет красиво. Надену блестящую маску с бычьими рогами, скую железные кольца, выберу несколько самых низких, самых отврати-

тельных среди идиотов, надену им эти кольца на рты и буду дергать за цепь, а они начнут скакать, ликуя, что ими забавляется великий царь... Народ вокруг будет тупо глядеть, покорствуя, и я никому не позволю даже смеяться. Всем запечатаю уста государственной печатью.

Да-а-а!

Но это ужасно.

Что же тогда? Что бы такое сделать, чтобы рассмешить целый свет?

Скажите — что́, умные люди!

1904

ЖАВОРОНОК

В поле, на дорогах, на нивах много народу, и все толкуют о своих несчастьях, все друг другом недовольны.

Услыхал их разговоры маленький жаворонок и опечалился.

Такой необъятный простор, такие леса и поля, такое море видел жаворонок — и всюду люди, и все они несчастны.

И вот однажды утром жаворонок вспорхнул и с песней полетел к небу.

Счастливый жаворонок!

Он хотел долететь до бога, спеть ему и попросить у него счастья для людей. За это он готов был отдать свою свободу. Пусть бог даст людям хоть малую частицу своего спокойствия. Для них это будет даже много.

Весь во власти великого замысла — добиться счастья для человека, маленький жаворонок, не чувствуя усталости, летел и пел.

Пел от всего сердца, изливая свою пылкую душу.

И чем выше он поднимался, тем выше уходило небо.

Но жаворонок не приходил в отчаяние.

Он поднимался все выше, пел все самозабвенней.

И разорвалось певучее сердечко доброго жаворонка. Поникли быстрые крылышки. Струйка крови обагрила клювик.

Мертвый упал он в поле.

И никто не услыхал его пения. Ни счастливый бог на небе, ни измученные люди на земле.

1905

ОРЛИНОЕ ПЕРО

Однажды, ребенком, бегая по лугу, я нашел орлиное перо. Большое, красивое орлиное перо. Кто был в этот миг счастливей меня? Я поднял его высоко в руках и побежал изо всех сил. Мне казалось, что я лечу, как орел.

Став юношей, я украсил этим орлиным пером свою шляпу и полюбил самую прекрасную девушку на свете. Кто был тогда счастливей меня?

Я был беден, не имел ничего, кроме орлиного пера. И моя возлюбленная покинула меня. Ей сказали, что на свете нельзя хорошо жить, имея только орлиное перо. Ее чуткая женская душа без труда усвоила эту мысль.

И не было никого несчастней меня.

Я спрятал орлиное перо: сердце мое уже не позволяло мне носить его. В душе моей поселилась печаль, которую я ничем не мог развеять. С тех пор мне стало ясно, что все страдают, как я, и даже больше, чем я.

Почему жизнь так уныла?

Я опять вынул орлиное перо, но уже не для того, чтоб превратить его в игрушку, как ребенок, или в украшение, как юноша. Я тщательно очинил его и стал им писать.

И все хочу написать что-нибудь веселое, а выходит печально.

1905

ЗЫБКИЕ МОРСКИЕ ВОЛНЫ

Я стою у самого берега моря и гляжу на волны. Будто шаловливые молодые девушки, бегут они по безбрежному морю, распевая дикие свободные песни.

— Прекрасные милые волны, отдохните. Что это за вечные пляски?

Волны плещут о берег, смеются и отвечают:

— Что это вы, поэты, вечно у нас допытываетесь, куда мы бежим, зачем бьемся о берег, зачем шумим и пляшем, как безумные? Мы — свободные, веселые волны, нам нет никаких препон, наша мать — бездна, цель нашей жизни — любовь. Мы обнимаем утесы, целуем берега и умираем счастливыми.

Нам нет никаких препон.

Да здравствует свобода!

Бегут зыбкие волны, бегут по безбрежному морю, будто шаловливые молодые девушки, распевая дикие свободные песни.

1905

КОРОВА

Одна корова — из Слатины, либо Горубляне — проходила мимо царского дворца. Видит: у больших чугунных ворот толпа народу. Ей стало страшно. Захотелось убежать. Но она осталась. Может, не знала, какая куда улица ведет; может, не могла идти по мостовой: ведь она босая была.

А может, и в ее таинственном мозгу зародилось то же самое любопытство, которое собрало вместе и заставило толпиться людей.

Что творилось в ее безмолвной душе?

Она остановилась, вытянула худую шею, подняла свою кроткую морду над цилиндрами, дамскими шляпками и стала смотреть по сторонам.

В больших миндалевидных глазах ее, красивых, полных мольбы и печали, словно у молодой вдовы, я увидел не тупое, плоское, бездушное человеческое любопытство, сквозившее во взглядах толпы. Нет, глаза эти сияли умилением и желанием, восторгом и лаской, искренним и скромным добросердечием.

Она обернулась и поглядела на меня,— быть может, заметив мой внимательный, сочувствующий взгляд; потом, подняв голову еще выше, стала с прежним простодушием восхищенно глядеть за чугунную решетку ворот.

На кого смотрело это таинственное животное, вдруг оказавшееся среди людей? Чему оно радовалось? Чем восхищалось?

Уж не увидело ли оно царя и не приняло ли случайный его кивок за поклон в свой адрес?

Я дружески погладил корову по лбу. Она поглядела на меня, словно хотела что-то мне сказать, потом опять устремила взгляд своих красивых глаз куда-то за чугунные ворота.

И тут я понял, что эта жалкое, некультурное существо вовсе не разделяло восхищения публики...

Нет!

Умильный взгляд его привлекла роскошная зеленая трава на дворе.

1908

ЗАБЫТАЯ ПЕСНЯ

Я знал одну песню.

Это было, наверно, очень давно, еще в детстве, потому что я не помню ни мелодии, ни слов. Сердце мое тает при воспоминании, жаждая уловить сладкую весеннюю мелодию и полные тайны слова той песни, снова наполниться ими,— но тщетно.

И каждый раз, как я выхожу в поле, и вижу его весеннее торжество, и встречаю взгляд стыдливых фиалок, и слышу над головой песню жаворонка, и чувствую юную ласку ветра, волнующего зеленые листья и пляшущего на полянах, как девушка; каждый раз, как вижу разбросанных по черным пашням, согнутых над сохой бедных детей матери-земли, и гляжу на озаренное улыбкой неба безбрежное раздолье деревушек, дорог, оврагов — в душу мне вливаются волны сладкого томления, ликования и надежды, которыми когда-то наполняла меня моя маленькая песенка. Моя забытая песня!

Осенью, когда тяжкие тучи обложат небосклон, когда огненные и золотые раны испестрят лес, когда улетают птицы, когда умирают цветы и больны травы, как грущу я тогда о моей забытой песне.

О чем она была? Рассказывала ли она о моем детстве, описывала ли мое маленькое село? Или это была песня быстрой речки, на берегу которой я играл? Или это была не песня, а мне только так кажется? Может быть, это была крохотная подруга моих детских игр, что теперь покоится тихо в своей маленькой могилке! Может быть, это нежная материнская ласка, теплая материнская слеза!

Существовала ли ты, пел ли я тебя, моя мелодичная, таинственная песня, или это были блаженные сновиденья мечтательного и больного ребенка?

Мне хочется плакать о тебе, моя забытая песня!

Припомню ли я когда-нибудь твои слова, услышу ли вновь твою нежную полевую мелодию?

Когда, утомленный жизнью, я лягу отдыхать в могилу, освободившись от тысячи предрассудков, делающих жизнь мучительной, от тысячи условностей, делающих ее суетной, когда надо мной зазеленеет травка и расцветет дикий шиповник, когда я все забуду и ум мой перестанет искать истину и тревожиться ложью о добре и зле,— тогда, в этой

могильной тишине, верю, я услышу тебя, моя сладкая забытая песня, и под тихую твою мелодию, под твои таинственные, милые слова буду спать, буду тихо спать, как в материнских объятиях.

1908

НИЩЕТА

Страшная темная ночь. По небу с бешеной быстротой мчатся большие разодранные тучи, и сквозь черные их лохмотья время от времени холодно проглядывает луна.

Я возвращаюсь домой по темной улочке на окраине города. Влажный ветер то и дело накидывается на меня, как собака, хватает пригоршнями желтые листья в садиках и с ожесточением бьет меня. Глухо стонут под его яростным напором обнаженные тополя у дороги. Он хлещет, неистовствует, воет угрожающе, зловеще и проваливается в бездну мрака.

За спиной у меня вдруг ни с того ни с сего стукнула старая гнилая калитка, заскрежетав от боли.

Я обернулся и поглядел сквозь ее остов: пустой двор, в глубине — покосившийся старый дом, ушедший в землю, потонувший в бурьяне, чертополохе и ночной тьме. Между ним и калиткой — узкая белая дорожка.

Послышался плач. Сдавленный, глухой, безнадежный плач.

Кто это там плачет в ночи?

Ветер затих. Но гнилая калитка опять сильно стукнула, так что чуть не рассыпалась. Какая-то невидимая гневная рука отворила ее...

Оттуда вышла нищета, зашедшая было сюда в сумерки, чтобы переночевать.

Она убегала, испуганная и охваченная отвращением при виде этого гнезда скорби, этого любимого своего детища.

Она увидела в пустой комнате, среди четырех облупленных стен, где гулял ветер, прекрасного, как ангел, ребенка, умершего на руках у матери.

И убежала, испуганная, негодующая.

Ветер с воплем взметнулся ввысь и гневно погнал нищету, чьи босые шаги по мокрой земле долго еще слышались мне.

1908

ЩЕГОЛ

Я держал двух щеглов, которых купил у одного маленького птицелова.

Запертые в красивой клетке, сытые, как попята, они целый день прыгали, возились, пищали.

Я любил их нежно, от всего сердца. Нередко оставлял веселую дружескую компанию и шел к ним, кормил их, говорил им какую-нибудь ерунду. И радовался на их быстрые крылышки с желтыми краями, на маленькие головки в красных шапочках, на их острые клювики, которыми они с таким искусством шелушили конопляное семя.

Но они моей нежностью, видимо, не очень дорожили. И один из них при первом удобном случае с радостным криком упорхнул.

Другой остался в одиночестве.

Вся любовь моя сосредоточилась на нем. Но и он был недоволен.

Он целый день злобно клевал решетку и бился об нее — в тревоге и негодовании.

Я открывал дверцу и пускал его летать по комнате.

Маленькое сердце его начинало колотиться, он стремительно порхал с предмета на предмет, ударяясь о стены, и падал в изнеможении на пол. Потом взлетал и возвращался в клетку, присмиревший, испуганный необъятностью и неизвестностью комнаты.

— Ты умрешь, бедный мой щегольчик, если я тебя выпущу. Ты напуган необъятностью комнаты,— что же ты будешь делать, увидев безбрежность мира? Довольствуйся своим маленьким счастьем — и не будешь знать голода, не будешь трепетать перед хищной тенью орла, зловещим голосом филина, холодным, кровожадным взором сокола, рогаткой уличного мальчишки.

Жалобно щебечет маленький щегол, что-то говорит мне, что-то печальное...

— Грусти, если хочешь. Ты — мое маленькое удовольствие, и в моей власти держать тебя здесь, милое, беспомощное творение. Всю твою жизнь я буду тебе и орел, и филин, и сокол...

Ты ведь живешь для моей забавы.

И будь благодарен, если тебя как-нибудь не задушит мой сын.

1908

ВЕСНА ИДЕТ

Весна идет. Красавица весна. Прилетели дрозды, поют:

— Готовьтесь к весне! Устройте ей достойную встречу. Она несет нам цветы и песни. Лесам и полям несет красивый зеленый наряд!

Эта песня заставляет всех встрепенуться. Солнце пробудило от сладкого сна уснувшие в земле семена. Маленькие почки сбрасывают свой теплый покров, под которым милые зеленые листики спали, свернувшись, и грезили о весне.

Все, все спешат приготовить обновы к чудному празднику весны!

Лягушка, всю зиму мерзнувшая подо льдом, спешит полакировать себе кожу, чтоб не стыдно было показаться над прозрачными водами и заквакать от радости.

Юные бабочки спешат к художнику, чтоб тот расписал и раскрасил им крылышки и не стыдно было появиться перед цветами.

Маленькие мышки-грызуньи толпятся у зубного врача — надо поточить зубки, почистить их, вылечить больные, удалить испорченные.

Трудолюбивые проворные пчелки зашивают у портного где что порвано на крылышках.

Старый Сечко-Бечко, олений жук, еле-еле тащится к кузнецу, чтобы заострить свои большие клещи, так как его ждет работа.

Оса оттачивает жало у точильщика:

— Верти, точи, сделай его как можно острее,— приговаривает она.— У меня много врагов, мне нужно от них обороняться!

Сверчок готовит новый свисток, кузнечик наводит ваксой блеск на свои чешуйки и рожки, чтоб они блестели в зеленой траве, сверкая, как зеркало.

Малютка-светлячок идет налить керосину в лампочку, он любит гулять ночью, в темноте.

Все поспешно готовятся к великому празднику весны!

А дрозды поют все громче:

— Торопитесь! Весна идет!

1908

САМООБОЛЬЩЕННЫЙ

Что такое произошло, что у этого серьезного, важного и гордого писателя так развязался язык в кафе?

Уж не написал ли он какой-нибудь новый роман, дав пощечину обществу, над которым он так возвышается?

Не озарила ли ум его какая-нибудь новая блестящая идея? Или, может быть, какой-нибудь чудесный сюжет вдруг родился у него в голове, возбудив его творческие силы?

Или какая-нибудь неизвестная красавица, восхищенная его произведениями, прислала ему любовное письмо, назначая свидание? Или друзья готовятся отпраздновать двадцатипятилетний юбилей его творческой деятельности?

Что́ произошло, что этот гордый и серьезный писатель так болтает, веселится, выглядит таким счастливым?

А вот что.

Он написал хвалебную статью о самом себе и своих собственных произведениях и сумел опубликовать ее под псевдонимом в одной газете. Сегодня номер вышел из печати.

Писатель несколько раз перечитал ее. Он забыл, что написал ее сам, и горячие похвалы взволновали его.

Он отмечен всеми признаками славы. Он вознесся над всем этим сбродом. По сравнению с остальными людьми он — бог.

Вот почему он так счастлив.

1921

СКВОРЦЫ

Наконец в феврале потеплело. Раньше встает солнце. Напоенные лучами, спокойные утра полны обещаний.

Приятель, пишущий мне с чужбины, между прочим спрашивает: «Прилетели ли скворцы?»

— Прилетели, милый. Я напишу тебе о них побольше: знаю, что письмо мое доставит тебе радость на целый день.

Утром я вышел рано. Солнце только что встало. Небо над Борисовым садом блестело. Верхушки тополей на бульваре Фердинанда были розовые. На некоторых уже сидели первые наши гости, распевая. Несмотря на то что было довольно холодно, они трепыхали крыльями, купа-

лись в первых лучах и пели — не особенно голосисто, не особенно громко, но весело.

По дорожке проходил какой-то бедный старик в лохмотьях. Он шел, опираясь на палку и ведя на веревке тощего белого щенка.

Заслышав скворцов, он остановился и поднял к ним лицо. Взгляд его загорелся теплым, ласковым, праздничным огнем. Что сказали его удрученному заботами, чуждому всех человеческих праздников сердцу эти предвестники весны, эти друзья молодости, эти вдохновители первых любовных свиданий за городом?

Наверно, они пробудили в нем какие-то воспоминания. Родные места, поле! Какой-нибудь родничок, существовавший когда-то, и высокий тополь над ним. Или он увидел картины своего детства, ставшего ему уже чуждым, как будто не имеющим отношения к нему. Или душа этого изломанного жизнью человека вздрогнула, очарованная теми чистыми, светлыми надеждами, которые так беспричинно волнуют нас.

Бедняк долго стоял, глядел на скворцов и время от времени что-то говорил рвавшемуся вперед щенку.

Да, скворцы прилетели. Нет сомнений, наступила весна. Поле за городом блестит — свежее, чистое, прекрасное. На нем отчетливо видны тропинки, по которым то и дело медленно движутся тесно слитые силуэты молодых пар.

Скворцы прилетели. Так было и в прошлом и в позапрошлом году,— так было всегда.

Но их короткие посвистывания до того молоды и веселы! Розовые верхушки тополей так новы и прекрасны, легкие туманные испарения, возвещающие приход дня, так чисты, что мне кажется, будто я вижу эту предвесеннюю картину впервые.

1921

СТАРЫЙ ГОРОД

Где обетованная земля счастья, край поэзии, куда мы стремимся бежать, чтобы очиститься от прозы праздных часов, от повседневных забот, от гнета времени, проводимого так бесплодно? Где страна белых роз, куда ты хочешь улететь со своей милой? Страна тех чудных белых роз, которые взгляд и улыбка твоей подруги могут окра-

шивать в синее, красное, алое — во все цвета возвышенных чувств?

Мы вечно думаем об этом крае и постоянно его ищем. Он всегда — не здесь, никогда не близко... Он далеко-далеко... Может быть, даже не на земле... Может быть, он на какой-нибудь далекой планете, чей блеск каждую ночь сияет в небесном пространстве над нами.

А может, он там — в странном маленьком городе, чье литографированное изображенье в старой крашеной бронзовой рамке много лет висит на стене моей комнаты.

Блуждая в поисках счастливой страны, я часто брожу по этому старинному городу, названия которого не знаю. Там поблизости плещет древнее море в зеленые скалистые берега, на которых я отдыхаю, любуясь одинокой чайкой, тяжело качающейся на волнах...

Позеленевшие воды широкого канала недвижны. В их мутных струях не отражается ничего, кроме хмурого серого неба, что глядит, далекое, с каким-то оцепенелым удивленьем.

Перед домами, стоящими вдоль канала, привязаны выкрашенные в кирпичный цвет старые лодки. Они неподвижны и никого не ждут. Потому что в этом странном городе, кажется, нет людей. Наскучив бесплодным ожиданьем, лодочники разошлись кто куда. Только большая широкополая шляпа сереет, забытая, в крохотном челноке.

Странное производят впечатление старые покосившиеся дома, над которыми возвышаются две серые башни без стражи, без блеска оружия в мертвых бойницах.

На узких улицах, на широких лестницах не мелькают человеческие фигуры. Из окон не выглядывает ни одно женское лицо. Перед запертой железной дверью лежит подброшенный букет свежих цветов. Когда выйдет прекрасная девушка и возьмет его?

Приятно побродить по этому молчаливому, безлюдному городу. Соленая морская вода смыла и слила в сплошную мягкую серость все надписи, все краски. На стенах выписаны мудрые изречения — в назидание гражданам и в обличенье порокам. Древние храмы открыты, и под сводами их как будто носится еще не затихший отзвук молитвенных песнопений. Мраморные ступени перед дверьми истерты богомольцами.

На тротуаре под маленькими балконами видны вытоптанные ступнями плиты, и в углублениях блестят лужицы дождевой воды.

На плитах этих темными ночами стояли влюбленные

юноши и с гитарой в руках пели старинные, чистые и пламенные, любовные серенады.

С одного окна, вижу, еще свешивается шелковый шнурок, на котором была спущена полная страсти и тревоги раздушенная нежная записка.

Вон там, на маленькой террасе над морем, перед таинственной дверью какой-то таверны, стоит широкий и низкий, из тяжелого дерева, стул с громадной спинкой. На этом стуле, может быть, отдыхал, небрежно развалясь, великий искатель изящных приключений — Дон-Жуан, наслаждаясь своими победами... На маленьком столике возле стула стоит большой оловянный сосуд с витой ручкой. В этом сосуде искрилось красное вино, которым подкреплялся в позднем возрасте присужденный к счастью человек.

А там, на широкой площади, мощенной крупными камнями, блестит подкова. Ее потерял конь рыцаря, проезжавшего здесь в тяжелой железной кольчуге до земли, с алой розой любви на сердце и крестовидной рукоятью широкого меча правды в руке.

Из того вон окошка ему улыбнулась добродетельная жена одного старого графа.

Из-за этой невинной улыбки ревнивый муж построил страшную черную башню, где молодая женщина в неслыханных мученьях искупала свой несодеянный грех.

На углу вон той узкой улочки жил печальный поэт, чьи любовные сонеты заставляли золотоволосую, как ангел, внучку рыцаря, защитника невинности, не помнить себя от гордости — на людях, и смеяться до упаду — наедине с собой.

Каждый вечер он проходил в темном плаще мимо дома своей поклонницы, сворачивал в ближайшую корчму, безумно напивался там и острием шпаги писал на темных закопченных стенах ее имя.

Имя поэта забыто, и ему никогда не будет поставлено памятника, потому что он посвятил божественное вдохновенье свое не толпе, а возвышенному идеалу женской красоты.

Вон в том неприветливом каменном доме с маленькими окнами, вросшем в землю, почти ушедшем в нее, боролся с темными силами, духами и тайнами неведомого великий ученый-алхимик, чьи открытия дали толчок умам, а имя осталось неизвестным.

В поисках химической формулы любви этот мрачный человек, собирая слезы своей возлюбленной и тщательно

анализируя их, находил в счастливых ее слезах — горечь, а в горьких — сладость.

Он искал лекарства, которое освободило бы человека от предрассудков и от понятий добра и зла, но в результате усердных поисков открыл лишь сущность зависти, которая оказалась неисцелимой.

Все его желания заключались в том, чтобы сделать добро человечеству, которое состояло для него из жителей города. Чтоб искоренить зло и оскверняющие жизнь пороки, он изобрел сильную отраву, пустил ее в большой городской водопровод и за одну ночь истребил сразу все.

Вот каков серый, безлюдный, тихий город, чье литографированное изображение много лет уже висит в старой рамке на стене моей комнаты.

1921

ЛЮБОВЬ

Отчего замолкли живые, веселые звуки гармоники, каждый вечер наполнявшие нашу улочку на городской окраине?

Где молодой кузнец, по целым дням чинивший примусы, краны, детские коляски, ружья, разные пружины? Наверно, уехал куда-нибудь?

И какой глухой стала улица без его гармоники! Весенние вечера все так же прекрасны, липы благоухают, звезды так чисты. Но у калиток не видно людей. Хорошенькая наборщица не расхаживает по тротуару под руку с маленькой сестрицей. Молодожены в крайнем доме не высовываются из окна, прижавшись друг к другу, словно пара голубков возле своего гнезда. Даже вечный городовой, ухаживавший за служанкой соседей, исчез.

А прежде как было хорошо! Наступит вечер, город затихнет, и вот из маленькой кузницы на углу этой бедной улицы начинают литься веселые звуки гармоники. И мрак смягчается, становится ласковым. Расстояние между домиками исчезает, душевная симпатия сближает их. По тротуарам, словно окруженные сиянием, прогуливаются девушки, слышится смех, начинают плясать желания...

Отчего же замолкли живые звуки гармоники и наша улочка стала так глуха, так мертва?

Я пошел в кузницу посмотреть, нет ли там молодого музыканта. Она заперта. В окошке темно. Внутри спят раскиданные инструменты.

Я направился в корчму. Кузнец сидел за столиком в полном одиночестве. Он уже успел выпить и теперь курил, погруженный в раздумье. Вид у него был невеселый.

— Где твоя гармоника, мастер? Что́ не играешь?

Он долго молча глядел на меня, потом махнул рукой и, передвинув ноги, глухо, мрачно промолвил:

— Любовь!

Я понял и не стал больше расспрашивать.

1921

РОЗЫ

Есть розы благоуханные. Нежная красота их похожа на тот фантастический оттенок, которым улыбка солнца окрашивает маленькие пушистые облачка, по вечерам провожающие его издали.

* * *

Есть розы алые. Они напоминают цвет свежей раны, и каждый лепесток их похож на кровавое пятно.

* * *

Есть розы желтые,— желтые, как огонек восковой свечи, как лицо осени. Это печальные розы разлуки, розы смирения перед судьбой.

Приветствуйте молча эти благородные розы, увидев их на чьей-нибудь груди.

* * *

Есть розы белые,— белые, как луна, когда рано утром солнце застанет ее на небе и взгляды их встретятся.

Это розы безмолвной и безнадежной любви, желанья и печальных одиноких грез.

* * *

Есть розы черные — это розы вечные, потому что никогда не отцветают. У них острые шипы и большие махровые лепестки.

Эти странные розы растут в человеческих душах.

Это — черные розы тоски.

1921

НЕВЕДОМОЕ

Ночью едешь верхом один по лесу. Все вокруг полно мраком. Лес спит, развесистый, широколиственный. Над дорогой сплелись сонные буковые ветки, дышащие свежей прохладой. Время от времени видишь в этом своде клочок ясного, нежного неба, усеянный звездами.

Чем дальше в лес, тем свод темней, и взгляд твой теряется в бездне непроглядной тьмы.

Лошадь опасливо ступает по кочковатому проселку. Уши ее насторожены. Вдруг она останавливается, храпит. Ты даешь ей шенкеля, но она — ни с места. Тогда ты говоришь ей что-нибудь дружеское, ласковое, треплешь ее по шее, и она трогается.

Во мраке мерцают белые стволы отдельных берез, или гнилые пни, или голые скелеты повалившихся буков. Коегде два фосфорических глаза светятся не мигая.

Вдруг какой-то странный, резкий, болезненный звук пронзает тишину. Душа, содрогнувшись, сжалась от страха. Все мысли — вон из головы. Всего тебя наполняет, овладевает тобой таинственная жизнь ночи. Ты уже не человек, принадлежащий к реальному миру. Какой-то странный гипноз покоряет твое сознание.

Вон там, посреди дороги, перед тобой встала печальная старушка в лохмотьях, с ребенком на руках. Протянула руку, просит милостыню. Ее молчание и неподвижность ужасают. Лошадь останавливается, храпит — опять вперед... В лесной чаще какой-то разъяренный сфинкс наступил на голову серебряной змейке с фосфорическими глазами. Дальше, на громадном сухом буке, висит повешенный. Перед ним пляшет женщина в белом. На полянке юноша бьет себя в грудь и плачет.

Душа трепещет, испуганная, сжавшаяся, переполненная страхом, как ночь переполнена тишиной. Ты пробуешь петь. Голос твой звучит неуверенно, чуждо. Эхо не отвечает. Начнешь насвистывать для храбрости, но чудовищные призраки во мраке надвигаются на тебя, и ты замолкаешь. Ты закрыл глаза. Страх, вырываясь за пределы твоей души, вбирает в себя темноту.

Разум умолк. Связи с миром, с прошлым, с сегодняшним — рвутся.

Ты бодр, ты не спишь, ты не принимал наркотиков, но скажи мне, что с тобой, с теми клетками, из которых состоит твое тело, твой мозг, весь твой сложный механизм

из крови и мяса? Какие таинственные силы пришли в движение, чтобы нарушить нормальную жизнь твоего физического и духовного существа?

1921

КЛАДОИСКАТЕЛИ

В одной овеянной древними поверьями местности нашей округи искали клад человек десять отчаянных безумцев. Как собрались они вместе с разных концов Болгарии? Всё люди немолодые, пожившие, имеющие домашний очаг.

Три года подряд съезжались они каждое лето и работали там по нескольку месяцев без передышки.

Как-то раз я пошел их проведать. Дело было вечером. Моросил дождь. Они расположились в маленькой пещере вокруг костра, усталые, молчаливые. Одни лежали возле огня, другие сидели в глубокой задумчивости, прислонившись к каменным стенам.

Самый старый, дедушка Коста, сидел, скрестив ноги, прямо у костра и курил коротенькую трубочку. В серых глазах его плясало отражение пламени, мечтательное сухое лицо озаряли блаженные мысли.

Он с увлечением рассказывал о баснословном богатстве, скрытом в земле. Он не сомневался, что сумеет это богатство найти. Множество признаков указывает на то, что оно почти в его руках. Остатки стены, черепки посуды, кости неизвестных животных, кости человека, окаменелые отпечатки человеческих ног — все это говорит о том, что богатство — тут!

Надо только молчать и работать. От ударов заступа земля гудит: значит, близко пустота, где таится богатство, где конец бедности, где начинается счастье!

Я спросил его, откуда он узнал об этом богатстве.

Он устремил взгляд на огонь, помолчал и ответил тоном волхва:

— Знаю!

И по лицам его товарищей, при моем вопросе уставившихся на старика в ожидании сто раз уже слышанного ответа, скользнула сияющая надеждой и верой в неизвестное счастье улыбка.

— Ну, а если завтра вы это богатство, эти семьдесят буйволовых шкур, полных золота, найдете, что вы будете делать, что станется с вами?

На этот вопрос никто не ответил прямо. Все наперебой пустились рассказывать чудесные, пленительные легенды о скрытом богатстве: это их увлекло, и они забыли о границе, отделяющей правду от иллюзии, разум от фантазии.

Я оставил их поздно ночью, счастливыми, возбужденными страстным желанием, и мне казалось, что над головой у каждого горит голубой пламень духа божьего...

Будут ли эти люди так же счастливы, если завтра найдут богатство и утратят прекрасную, упоительную мечту?

1921

ЛЕТО

Кончился праздник цветов, ожиданий и надежд. Коса прошлась по лугам, душистый клевер лежит мертвый, и адское солнце безжалостно сушит его. Лысые пятна на горах побурели, леса немеют в истоме. Кукушка тихо вздыхает, и горькие ее жалобы наполняют ущелья. Злорадно тараторит сорока, подсмеивается, кричит:

— Вот видите!

Над полем, будто в печи, колышется марево. Всюду царят тяжкий зной и ленивая тишина. В полях видны работники, напоминающие опустившихся на землю странных больших птиц. Они работают молча и кажутся издали неподвижными, прикованными к месту жарой.

Среди полей тянется широкое белое раскаленное шоссе. Оно безлюдно. Выстроившиеся по обе стороны старые вербы посерели от пыли, истомились от жажды, унылы и подавлены, словно возвращающиеся из тяжелого похода солдаты. Порой там вздымается тонкой, высокой столбушкой вихрь, похожий на женщину с ребенком на руках; быстро крутясь, он медленно исчезает в пространстве.

Зной долит. Вот где-то в полях вспыхнул было, как пламя, громкий, дружный девичий смех — и умолк.

Где ты, веселая, цветущая, улыбчивая весна?

Посеянные тобой богатые надежды всходили в душе вместе с первой травой, и небо орошало их верой! Где жажда обновления, наполнившая весь мир с первым дыханьем весны? Сбылись ли малые и великие чаяния тысяч влюбленных сердец, так жаждавших майских ночей и соловьев? Что сталось с искрами, которые зажгла весна,— с подаренными цветами, венками, ароматом роз? Где птен-

чики, высиженные в скрытых от враждебного взгляда гнездах? Родители их уже больше не дружат между собою, летают порознь и не ищут друг друга.

Зной. Никто ни к чему не стремится. Душа сыта. Зреют, перезревают плоды, падают и гниют.

Завтра дохнет осень, холодная, сдержанная, благоразумная, встреченная без восторгов. Потому что лето выжгло их все.

1921

СОБАКА

Охотник остался совсем один в маленькой землянке у болота. Уже несколько дней собака его находилась в городе. Нынче, провожая двух своих товарищей, он поручил им взять ее и, при возвращении через два дня, привезти обратно.

Зимняя ночь была страшная, и душу охотника мучила тревога. Он лежал на спине в маленькой темной могиле, курил папиросу за папиросой и не мог уснуть. Среди пустого, мертвого поля, где теперь ни души, он был как крот под этим маленьким холмиком, отделенный от всего мира толстым слоем земли.

Он думал о смерти, и мысли у него были темные, безвыходные, как гробница, в которой он лежал. Им не было простора, куда лететь, и они ползли тяжко, медленно, наполняя маленькую кротóвину и киша, как черви, что пожирают тлеющий в могиле труп.

Вдруг откуда-то, словно из недр земли, донесся далекий шум. Снаружи что-то вскрикнуло. Одно из маленьких, заткнутых соломой окошек отворилось, и в него словно заглянуло бледное, полное ужаса лицо. Шум оборвался, но тут же повторился опять. На кровлю землянки налетели темные силы. Бешеная конница злых духов протопотала и унеслась вдаль.

Охотник оцепенел. Мысли о смерти вырвались из темного затвора на волю. Страх наполнил душу.

Он приподнялся, глянул в грязное окошко. Ничего не видать. Небо и земля слились в хаос мрака, и в хаосе этом шел странный бой невидимых сил. По льду болота и покрывавшему поле снежному насту с тонким визгом стремительно скользили пускаемые наступающими со всех сторон чудовищами ледяные пули. Кое-где слышался сухой плач падающих и обламывающихся деревьев. Бешеная

стихия хватала их за верхушки и с ожесточением волочила по равнине. Неистовые силы, словно невидимые кони, в испуге метались во все стороны, и холодное пламя вырывалось из их ноздрей.

Охотник покрепче закрыл окошки, в которые с грозным шипеньем вползали холодные воздушные змеи, накрылся с головой кожухом, чтобы не слышать, как рушится земля, и забился в уголок могилы.

Но земля дрожала и ходила ходуном. На нее обвалились огромные куски разрушенных небес, и душе человека нигде уже не было опоры. Охваченный ужасом, он начал креститься и шептать бессвязные слова, обращаясь к давным-давно позабытому богу. Душа его, смятая ужасом перед сверхъестественным, то выпрямлялась в таинственной святости молитвы, то поникала, как ветка, под тяжестью страха, который был выше сил.

Вдруг возле замаскированной и крепко запертой на засов маленькой двери послышался тихий визг, слабый глухой лай. Несколько раз сильно царапнули острые когти; какое-то тяжелое, но гибкое тело с тяжким вздохом свалилось на землю.

— Пан! Пан! — воскликнул охотник и, вскочив, открыл дверь.

Словно камень свалился с души его, и она озарилась, будто кто зажег в ней лампаду.

Человек с собакой обнялись в темноте землянки. Собака устала. Тело ее было горячее. Тяжело дыша, прижималась она к хозяину. Положив голову ему на плечо, радостно трепетала всей своей темной душой.

А хозяин забыл ужас бури. Ощущение близости, взаимности, которой мы в одиночестве страстно жаждем, влило в его охладелое от ужаса сердце тепло. Он гладил бедное усталое животное, говорил ему ласково и понимал его.

Собака, увидев в городе друзей хозяина, поняла, что в эту страшную бурю он здесь один, и, борясь со стихией, преодолела пятнадцать километров, чтоб быть с ним. Сбиваемая с ног бурей, исхлестанная ледяными пулями, затерянная в темной бездне ночи, она прибежала к своему близкому, который дрожал, затерянный в этой пустыне.

В эту минуту встречи раскрылся таинственный смысл всего ее существованья, и она лежала счастливая, не имея сил даже на то, чтоб лизнуть руку, дружески ее обнимавшую.

1921

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

Недавно над городом прошла гроза. Черные тучи, маленькие, большие, клубящиеся, разорванные, полные грозных замыслов, собрались со всех сторон на страшный совет. Жалобно зашумели, зашатались под ударами разнузданной стихии деревья. Люди побежали в укрытия. На соседней кровле две вороны, растерянные, перепуганные, прижались к дымовой трубе. Тучи сгустились. Потемнело. Засверкала молния. Гром потряс небеса.

Шумя и неистовствуя, гроза удалилась.

Это было недавно.

А сейчас — небо чистое, спокойное, высокое, озарено широкой улыбкой заходящего солнца. В ясной лазури привольно купается белый голубь. Вдали прихотливо вычерчен смелый контур Витоши, девственной, свежей, прекрасной, погруженной в мечты. Все спокойно. Как будто ничего не случилось.

И однако — на всем виден след могучей игры стихий. Деревья бодро воспрянули, и освеженная листва их блестит. Всюду отворяются окна; люди выходят на улицу, полные оживленья. Шаг их стал тверже, и взгляд обращен к небу, на которое они давно уже не смотрели.

1921

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ФОНТАН

Бродя на охоте по темным чащобам букового леса, где не было никаких тропинок, где едва ли когда ступала нога человека, в самом недоступном месте я вдруг увидел фонтан.

Он был сделан из красивого обтесанного камня. Вода широкой струей текла по медной трубе и, весело журча, наполняла круглый каменный бассейн. На маленьком выступе стояла деревянная кружка.

Кто устроил этот фонтан с такой заботой и для кого он устроил его здесь, где никогда не проходит человек?

Наверно, какой-нибудь любитель природы, друг одиночества и самодив. Какой-нибудь созерцатель, чистая, влюбленная душа. Какой-нибудь поэт.

Да, конечно, какой-то поэт устроил этот прекрасный фонтан в непроходимой чаще букового леса.

Только поэт способен создать нечто прекрасное и бесполезное.

1921

МЕРТВОЕ ПОЛЕ

Люблю поле, эту широкую, просторную равнину, обведенную круглой чертой горизонта. Много раз я наблюдал и описывал его, много раз шагал по нему взад и вперед, всякий раз находя в нем что-нибудь прекрасное, что-нибудь особенно ласковое.

Вчера первый раз оно мне не понравилось. На увядшей траве, сквозь которую чернела земля, там и тут лежали ледяные струпья. Сырой туман пал на него, как тлетворное испарение. Порой попадался развалившийся шалаш. Вот большая черная птица пролетела низко, медленно, одиноко. Она была похожа не на живое существо, а на какой-то маленький железный механизм, от которого воздух становился еще студеней. У мельницы два крестьянина рубили большую иву, и это напоминало клинику, где режут человеческие тела.

Всюду — безобразно, уныло, холодно. Поле было мертво.

1921

СКОШЕННЫЕ ЦВЕТЫ

Как жаль, что я не могу писать стихи. Иду нынче по полю — луга скошены, нивы сжаты. Сено наполняет воздух приятным запахом, бодрящим и заставляющим думать о молодости, о любви. Но в лежащих валках я увидел бесчисленное количество цветков, названий которых не знаю, и мне становится жаль их. Глаза их мертвы, листья завяли, краски померкли. Шевелю валки тростью — снизу показывается еще много, много таких безыменных цветочков, радостно появившихся на свет, быстро распустившихся и неожиданно, бессмысленно скошенных.

Если б я умел писать стихи, я посвятил бы каждому нежное, печальное стихотворение. Проза бессильна передать то, что я думаю, то, что чувствую, глядя на эти мертвые цветы. Только чеканная форма стиха, только гармония ритма и музыка рифмы способны придать бессильным словам живое тепло чувств, которые меня волнуют, мыслей, что приходят ко мне, легкие, неуловимые и быстрые, как еле заметный ветерок над полем.

На этом самом поле ранней весной я встретил стайку девушек. Говорю «стайку», потому что они были такие

молодые и резвые, такие шалуньи и так пестро одеты, что походили скорей на птичек. Они бегали, гонялись друг за другом, кричали, а потом вольно и беззаботно запели:

Коль роз потерян аромат,
Зато пусть девушки порой
Мне поцелуй свой подарят.

Бессмысленный набор слов, но что же было в этих словах, что они так волновали?

Наверно, свежесть и молодость девушек придавали им особый смысл и особенную власть вызывать восхитительные, неясные надежды...

Девушки бегали по лугам, и хорошенькие легкие ножки их топтали милые цветки, умиравшие потом, может быть, с этим чудным воспоминанием.

Коль роз потерян аромат...

Этот обрывок фразы навязчиво вертелся у меня в мозгу, и я не мог прогнать его.

В воспоминании, в слове, в цветах, в молодости есть что-то, чего не описал ни один поэт...

Я думаю об этом, когда гляжу на маленькие скошенные цветы. Думаю о их короткой благоуханной жизни, о их безмолвной смерти, о их страданиях, о их последних мыслях, о их прощании с высоким небом, на которое они так любили смотреть.

Зачем не умею я писать стихи! С помощью этой таинственной музыкальной словесной одежды я, быть может, уловил бы и выразил все-все о маленьких скошенных цветах, которые топтал сегодня на широком лугу.

1922

СОДЕРЖАНИЕ

Аистовы гнезда

Под монастырскими лозами

Перевод Д. Горбова

Я, ты, он

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

Черные розы

Перевод Д. Горбова

Елин Пелин

Е 51 Избранное: Пер. с болг. / Предисл. Д. Маркова; Худож. О. Пархаев.— М.: Худож. лит., 1986.— 367 с., портр., ил.

В книгу избранных произведений классика болгарской литературы Елина Пелина (1878—1949), уже известного советскому читателю, включены его повести и рассказы, посвященные главным образом жизни болгарской деревни и провинции. Рассказы Елина Пелина реалистически точны и одновременно лиричны, многие из них окрашены мягким юмором.

Е $\frac{4703000000-204}{028(01)-86}$ 115-86 **ББК 84.4Бл**

ЕЛИН ПЕЛИН

Избранное

Редактор *М. Ярославская*

Художественный редактор *Т. Самигулин*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *Г. Верхогляд, Н. Пехтерева*

ИБ № 4216

Сдано в набор 21.08.85. Подписано к печати 24.01.86. Бумага типографская № 1. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32+1 вкл.=19,37. Усл. кр.-отт. 19,79. Уч.-изд. л. 20,59+1 вкл.=20,63. Тираж 100 000 экз. Изд. № V-2036. Заказ № 539. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано во Владимирской типографии Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

2р. 10к.

ЕЛИН ПЕЛИН